

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

---

# ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ПО ОБЩЕМУ  
И СРАВНИТЕЛЬНОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

5

СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ

---

«НАУКА»

МОСКВА — 1992

**Главный редактор: Т.В. ГАМКРЕЛИДЗЕ**

**Заместители главного редактора:**

**Ю.С. СТЕПАНОВ, Н.И. ТОЛСТОЙ**

**РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:**

АБАЕВ В. И.  
БАНЕР В. (ФРГ)  
БЕРНШТЕЙН С. Б.  
БИРНБАУМ Х. (США)  
БОГОЛЮБОВ М. Н.  
БУДАГОВ Р. А.  
ВАРДУЛЬ И. Ф.  
ВАХЕК (ЧСФР)  
ВИНТЕР В. (ФРГ)  
ГРИНБЕРГ ДЖ. (США)  
ДЖАУКЯН Г. Б.  
ДОМАШНЕВ А. И.  
ДРЕССЛЕР В. (Австрия)  
ДУРИДАНОВ И. (Болгария)  
ЗИНДЕР Л. Р.  
ИВИЧ П. (Югославия)  
КЁРНЕР К. (Канада)  
КОМРИ Б. (США)  
КОСЕРИУ Э. (ФРГ)  
ЛЕМАН У. (США)  
МАЖЮЛИС В. П.

МАЙРХОФЕР М. (Австрия)  
МАРТИНЕ А. (Франция)  
МЕЛЬНИЧУК А. С.  
НЕРОЗНАК В. П.  
ПИЛЬХ Г. (ФРГ)  
ПОЛОМЕ Э. (США)  
РАСТОРГУЕВА В. С.  
РОБИНС Р. (Великобритания)  
СЕМЕРЕНЬИ О. (ФРГ)  
СЛЮСАРЕВА Н. А.  
ТЕНИШЕВ Э. Р.  
ТРУБАЧЕВ О. Н.  
УОТКИНС К. (США)  
ФИШЬЯК Я. (Польша)  
ХАТТОРИ СИРО (Япония)  
ХЕМП Э. (США)  
ШВЕДОВА Н. Ю.  
ШМАЛЬСТИГ В. (США)  
ШМЕЛЕВ Д. Н.  
ШМИДТ К. Х. (ФРГ)  
ШМИТТ Р. (ФРГ)  
ЯРЦЕВА В. Н.

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:**

АЛПАТОВ В. М.  
АПРЕСЯН Ю. Д.  
БАСКАКОВ А. Н.  
БОНДАРКО А. В.  
ВАРБОТ Ж. Ж.  
ВИНОГРАДОВ В. А.  
ГЕРЦЕНБЕРГ Л. Г.  
ГАЗ В. Г.  
ДЫБО В. А.  
ЖУРАВЛЕВ В. К.  
ЗАЛИЗНЯК А. А.  
ЗЕМСКАЯ Е. А.  
ИВАНОВ ВЯЧ. ВС.  
КАРАУЛОВ Ю. Н.  
КИБРИК А. Е.  
КЛИМОВ Г. А. (отв. секретарь)  
КОЦАСОВ С. В.

ЛЕОНТЬЕВ А. А.  
МАКОВСКИЙ М. М.  
НГДЯЛКОВ В. П.  
НИКОЛАЕВА Т. М.  
ОТКУПИЩИКОВ Ю. В.  
СОБОЛЕВА И. В. (зам. отв. секретаря)  
СОЛНЦЕВ В. М.  
СТАРОСТИН С. А.  
ТОПОРОВ В. Н.  
УСПЕНСКИЙ Б. А.  
ХЕЛИМСКИЙ Е. А.  
ХРАКОВСКИЙ В. С.  
ШАРБАТОВ Г. Ш.  
ШВЕЙЦЕР А. Д.  
ШИРОКОВ О. С.  
ЩЕРБАК А. М.

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка  
редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 201-74-42

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Десницкая А. В.</b> Внутренние тенденции и социальные факторы в истории албанских диалектов .....	5
Дункель Г. Э. (Цюрих). Грамматика частиц .....	13
Шмидт К. Х. (Бонн). Об имперфекте в индоевропейских и картвельских языках ....	34
Климов Г. А. (Москва). Из истории имени прилагательного (Картвельские данные) .....	40
Витчак К. Т. (Лодзь). Скифский язык: опыт описания .....	50
Красухин К. Г. (Москва). К вопросу о происхождении латинских герундиев-герундиев и сопоставлении их с другими отглагольными наречиями .....	60
Улуханов И. С. (Москва). О степенях словообразовательной мотивированности слов .....	74
Шапир М. И. (Москва). "Горе от ума": семантика поэтической формы (Опыт практической философии стиха) .....	90
Ли Тоан Тханг (Ханой). "Форма", "размер" и "расположение объекта" в познании и в языке (на материале вьетнамского языка) .....	106
Щека Ю. В. (Москва). Элементы теории синтаксической связи и интонологии в синхроническом и диахроническом освещении (на материале турецкого языка) .....	118

### ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Аничков И. Идиоматика и семантика (Заметки, представленные А. Мейе, 1927) ....	136
--	-----

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

#### Рецензии

Фалилеев А. И. (С.-Петербург), Сизова И. А. (Москва), Britain 400—600: Language and history .....	151
Зекко У. С. (Майкоп). <i>Кумахов М. А.</i> Сравнительно-историческая грамматика адыгских (черкесских) языков .....	157
Плунгян В. А. (Москва). <i>Kilani-Schoch M.</i> Introduction à la morphologie naturelle ....	162
Куркина Л. В. (Москва). <i>Croatica. Slavica. Indoeuropaea.</i> .....	165
Аникин А. Е. (Москва). <i>Holzer G.</i> Entlehnungen aus einer bisher unbekannten indogermanischen Sprache im Urslavischen und Urbaltischen .....	169
Потапов В. В. (Москва). <i>Modern Icelandic syntax</i> .....	173
Добровольский Д. О. (Москва). <i>Soták M.</i> Slovní fond slovenských a ruských frazém .....	177

#### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки .....	179
----------------------------	-----

## CONTENTS

**Desnickaja A. V.** The inner trends and social factors in the history of the Albanian dialects; Dunkel G. E. (Zürich). The grammar of particles; Schmidt K. H. (Bonn). Imperfect in the Indo-European and Kartvelian languages; Klimov G. A. (Moscow). From the history of adjectives (Kartvelian data); Witczak K. T. (Lodz). The Scythian language: an essay of description; Krasuxin K. G. (Moscow). On the origin of Latin gerunds-gerundives and their comparison with other verbal adverbs; Uluxanov I. S. (Moscow). On the degrees of motivation in word-formation; Šapir M. I. (Moscow). "Wit works woe": semantics of poetic form (An essay on the practical philosophy of versification); Li Toang Txang (Hanoi). "Form", "size" and "place of objects" in cognition and language (based on Vietnamese data); Ščeka Yu. V. (Moscow). Elements of the theory of syntactic relationship and intonology in synchrony and diachrony (based on Turkish data); From the history of science: Aničkov I. Idiomatics and semantics (Notes sent to A. Meillet, 1927); Reviews: Falileev A. I. (St.-Petersburg), Sizova I. A. (Moscow). Britain 400—600: Language and history; Zekox U. C. (Maikop), Kumaxov M. A. Comparative grammar of the Adyghian (Cherkessian) languages; Plungian V. A. (Moscow). *Kilani-Schoch M.* Introduction à la morphologie naturelle; Kurkina L. V. (Moscow). Croatica. Slavica. Indoeuropaea; Anikin A. E. (Moscow). *Holzer G.* Entlehnungen aus einer bisher unbekanntem indogermanischen Sprache im Urslavischen und Urbaltischen; Potapov V. V. (Moscow) Modern Icelandic syntax; Dobrovol'skij D. O. (Moscow). *Soták M.* Slovní fond slovenských a ruských frazém; **Scientific life.**

© 1992 г. ДЕСНИЦКАЯ А.В.

**ВНУТРЕННИЕ ТЕНДЕНЦИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ  
В ИСТОРИИ АЛБАНСКИХ ДИАЛЕКТОВ**

Диалекты албанского языка, которые еще несколько десятилетий назад были известны лишь фрагментарно, в настоящее время благодаря усилиям абланских языковедов систематически описаны в серии специальных монографий. В качестве завершения этой научной программы ожидается создание диалектологического атласа.

На основе имеющихся описаний уже теперь можно составить отчетливое представление о диалектном членении албаноязычной территории и об исторических процессах развития албанского языка. Методика исторического сравнения, использующая помимо фактов современных диалектов также данные письменных памятников раннеалбанского периода, позволяет составить достаточно полную картину образования и эволюции диалектной дифференциации албанской речи на протяжении последних четырех-пяти столетий.

На фонетическом уровне в истории албанских диалектов обнаруживается действие и взаимодействие разного рода внутренних и внешних факторов. К первым относятся: развитие определенных тенденций, связанных со специфической установкой артикуляционной базы, сдвиги и перераспределения оппозиций внутри фонологических систем отдельных говоров, а также разного рода спорадические явления, возникающие в разговорной речи неформального характера. К числу внешних факторов следует отнести: переселения больших или мелких групп носителей албанского языка, контакты и смешения их с иноязычным населением, а также очень важные для лингвистической истории албанцев факты образования обобщенных и до известной степени нормированных типов устной речи, иначе говоря, разного рода койне (народно-разговорных, устно-поэтических и др.), противостоявших спонтанной речи локального характера. За последнее столетие, и особенно за недавние десятилетия, значительную силу воздействия на направление языковых процессов получили нормы литературного языка, с их широкой сферой влияния в условиях современной цивилизации.

Темой настоящей статьи является проблема взаимодействия некоторых внутренних тенденций фонетической эволюции албанских диалектов и сдерживающих эту эволюцию факторов социально-исторического характера.

\*

В отдельных албанских говорах, притом в разных частях албаноязычной территории, проявляется общая тенденция к передвижению в заднюю часть речевой полости артикуляции некоторых фонем, что, по-видимому, связано с общей установкой артикуляционной базы. В особенности это характерно для повседневно-разговорного речевого стиля, вообще отличающегося некоторой вялостью произносительных движений. Областью наиболее яркого проявления указанной тенденции являются говоры на северо-западе и на северо-востоке гегского (северноалбанского) диалектного ареала.

В говорах горцев западной части Северноалбанских Альп, в городском го-

воре Шкодры, жители которой в разное время переселились из близлежащих горных районов (Malsija e Mbishkodrës), а также в речи жителей окружающей Шкодру низменности (так называемая Gropa e Shkodrës) широко распространенное в гегском диалекте сильно отодвинутое назад произношение ударенного *a* — носового [ã] и простого [a] — дополняется более или менее ярко выраженной лабиализацией вплоть до перехода в открытое заднее [ɔ]. Так, например, в говоре местности Шкрель (названной так по имени племени Shckreli) отмечаются следующие варианты произношения: *shullâ*, *shullâ'ni* "солнцепек", *hâ'na* (лит. гег. *hâna*, тоск. *hëna*) "луна", *hâ'gër*, *hôger* аор. от *hâ* "есть", *â'sht*, *ô'sht* (лит. гег. *âsht*, тоск. *ëshîë*), *ist*, *nâ'tën* "ночью" и др. [1].

Эти типичные для всего указанного района варианты произношения не укладываются в жесткие рамки зависимости от характера слога и от фонетического окружения. В речи жителей Шкодры я отметила зависимость от стиля речи, притом часто в произношении одного и того же лица.

Отодвижение артикуляции к задней части ротовой полости затрагивает и произношение некоторых согласных, вызывая, в качестве добавочного признака, их веляризацию. Лабиализации сильно отодвинутого назад *a* ([ã], [a]) часто сопутствует смещение фонем *ll* [l] и *dh* [d̪], выражающееся во взаимозаменяемости их произношения. Акустически сходство, вызывающее эти замены, в целом обусловленное знаком веляризации, усиливается благодаря вялости артикуляции, характерной для повседневной разговорной речи. Преобладает замена *dh* > *ll* ([d̪] > [l]): *i madh* > *i mall*, *i mâll* "большой", *dhallë* > *llâll* "сыворотка", *dhomë* > *llôm* "комната", *udha* > *ulla* "дорога".

При этом, как и при лабиализации ударенного *a*, не приходится говорить о завершении фонологического сдвига. Постоянно наблюдаются колебания в произношении, при которых главное различие двух фонем — [d̪] и [l] — в основном сохраняется. Однако граница между их реализациями фактически размывается, особенно в связи с тем, что вариантность произношения часто наблюдается в речи одного и того же лица не только при различии фонетических позиций, но и в тождественных условиях. Можно заметить, что в очень точной фонетической записи фольклорных текстов, произведенной в свое время М. Ламберцем, в одном и том же тексте зафиксированы варианты: *e m'ave* — *e m'ale* "большая", *idnim* — *inim* "досада", *e'e* — *e'e* союз "и" [2].

Обратная замена, т.е. произношение /d̪/ вместо /l/, тоже встречается, но значительно реже. Так, в говоре Край (Крайë) — горного района, лежащего между Шкодранским озером и Адриатическим морем, Ю. Рота в свое время зафиксировал замены: *fëllanzat* > *fëdhanzat* "куропатки", *molla* > *modha* "яблоко", *i gjallë* > *i gjadhë* "живой" [3]. Однако позднее И. Айети там же зафиксировал более обычную для гегских говоров замену /d̪/ > /l/, например, *udha* > *ulla* "дорога", *pesdhet* > *peslet* "50".

Для западной части северногегских говоров тенденция к веляризации некоторых согласных вообще является существенной особенностью произношения. Дж. Лоумен, исследовавший 60 лет назад шкодранский говор, отметил "темный" (dark) или веляризованный характер не только звуков /l/ и /d̪/, но также и носовых *m* /m/ и *n* /n/, развившихся из *mb*, *nd*.

Тенденция к нейтрализации различительных признаков фонем *dh* /d̪/ и *ll* /l/, проявляющаяся преимущественно в замене *dh* > *ll* и обычно сопутствующая явлению лабиализации ударенного *a* (носового и простого), интенсивно, хотя и не регулярно, действует также в некоторых говорах восточной стороны Североалбанских Альп. Так, в говоре района Никай и Мертури находим: *dhallë* > *llâll* "сыворотка", *dhomë* > *llôm* "комната" и др. [4].

В говорах южногегской зоны, в частности в говоре старой Тираны, при общей отодвинутой назад и вялости артикуляции довольно отчетливо представлена лабиализация ударенного *a*. Тенденция к смещению фонем /d̪/ и /l/ проявляется лишь спорадически. В записанных Ламберцем сказочных текстах встречаются единичные случаи, например, *kište not* (*ndodh*) "случилось". Когда я

прислушивалась к речи стариков, у меня складывалось впечатление как бы "затемненности" звучания. Как и на севере, характер произношения здесь определяется комплексом таких моментов, как вялость артикуляций (в разговорной речи), отодвижение назад ударенного *a*, наличие назальных гласных, а также дополнительный признак велярности, присущий артикуляции некоторых согласных.

Южная часть албаноязычной территории, преобладающую часть которой занимает обширная область "собственно тоскской" речи, составившей основу литературного языка современной Албании, почти не затронута указанным выше типом фонетических инноваций, если не считать смешанных пограничных с гегскими говорами, в которых наблюдается явление, аналогичное гегской лабиализации ударенного *a*.

Заметное исключение составляет лишь говор одного изолированного района в юго-западной части диалектного ареала, в котором обнаруживается весь комплекс явлений, обусловленных действием тенденции к сдвигу артикуляций к задней части ротовой полости. Речь идет о ляберийских говорах, которые несмотря на отсутствие территориальных или исторических контактов с говорами северной половины страны сближаются с гегским типом речи благодаря интенсивному действию тенденции к фонетическим инновациям, обусловленным отодвижением назад артикуляционной базы. При существенном различии систем вокализма, связанном с отсутствием в ляберийском диалекте, как и во всех южноалбанских говорах, назальных гласных, действие вышеуказанной тенденции обуславливает несомненное сходство с гегским общего типа ляберийского произношения. Если для части гегских говоров характерна лабиализация сильно отодвинутого назад носового *ã*, то в ляберийском гласный *ë* /œ/, исторически соответствующий гегскому *ã* в ударенных слогах, оказывается значительно более отодвинутым назад, чем в севернотоскском, и также проявляет тенденцию к лабиализации, с переходом в открытое *o* /ɔ/. Это, в частности, характерно для говора селения Вунó, лежащего на побережье Ионического моря. Ср. *u bo* "он сделался", чему в севернотоскском соответствует *u bë*, но в северногегских говорах *u bã* и *bo*.

В области консонантизма так же, как в гегских говорах, в ляберийском диалектном районе проявляется тенденция к веляризации, создающая, в частности, и здесь условия для смешения фонем *dh* /ð/ и *ll* /ʎ/. С тенденцией к веляризации в ляберийском также, по-видимому, связана такая важная, общая с гегским диалектом, инновация, как изменение *mb* > *m̃* > *m*, *nd* > *ñ* > *n*. Между тем Ляберия отделена от гегской диалектной области большим расстоянием.

Перечисленные инновации, характерные для ляберийских говоров, резко выделяют последние из их диалектного окружения. Можно полагать, что в этих говорах выявляются внутренние тенденции фонетической эволюции, сходные с теми, которые действуют в гегском ареале.

В отношении конкретной реализации тенденции к смешению фонем /ð/ и /ʎ/ можно заметить, что в тех ляберийских говорах, где это явление отмечено, преобладает, в отличие от гегских, замена произношения *ll* /ʎ/ произношением *dh* /ð/. Так, в говоре Гьирокастры: *molla* > *modha* "яблоко", *llampa* > *dhamba* "лампа", *përalla* > *pradha* "сказка", но также: *i madh* > *i mall* [5].

Иная реализация той же тенденции обнаруживается в некоторых итало-албанских говорах. Так, в говоре села Pallagorio, расположенного изолированно от основного ареала албаноязычных поселений Калабрии, можно наблюдать подмену велярного плавного /ʎ/ заднеязычным звонким щелевым /ɣ/: *Nikollë* > *Nikogh*, *i gjallë* > *i jagh* "живой". Это же явление наблюдается и в говоре *Piana degli Albanesi* в Сицилии. Для обеспечения сходства нет нужды прибегать к предположению о переселении носителей соответствующих говоров в Южной Италии. Можно отметить лишь общность происхождения всех итало-албанских поселений из Южной Албании, в частности и из Ляберии. Сходство фонетических инноваций определяется и здесь реализацией общих внутренних тенденций фонетической эволюции, связанных с установкой артикуляционной базы.

Произведенный обзор фактов говорит о том, что сходство фонетических инноваций, наблюдаемых в различных точках албаноязычного ареала, не может рассматриваться как результат распространения определенных типов произношения на смежных территориях. Его надлежит рассматривать как спонтанно возникший результат проявления внутренних тенденций фонетической эволюции, действующих независимо в определенном направлении.

Можно было бы сказать, что мы имеем здесь дело со звуковым законом, находящимся в процессе становления, однако не достигающим той степени регулярности, которая позволила бы назвать его действительно "законом". И явление лабиализации сильно отодвинутого назад ударенного *a*, и тенденция к нейтрализации различия сильно веляризованных фонем *ll* /*l*/ и *dh* /*ɖ*/ (или /*l*/ и /*ɣ*/ в итало-албанских говорах) представляют собой фонетические инновации, обычно осуществляющиеся в виде факультативных вариантов произношения, реализация которых может зависеть от стиля речи, от социального статуса и от возраста говорящего. Лишь в отдельных, относительно изолированных говорах, по-видимому, можно говорить о полной нейтрализации различия фонем /*l*/ и /*ɖ*/. Так, например, И. Айети предполагает, что это произошло в говоре сел Бриско и Шестани, лежащих в горном районе к западу от Шкодранского озера [6]. Примечательно, что жители села Arbanas на севере Далмации, эмигрировавшие из сел Бриско и Шестани в начале XVIII в., уже не имеют в системе говора велярного /*l*/, перешедшего (возможно, под влиянием итальянской речи) в среднее, или европейское *l*. Равным образом они произносят этот звук на месте исторических *ll* /*l*/ и *dh* /*ɖ*/. Ср. *molla* > *mola* "яблоко", *udha* > *ula* "дорога", *edhe* > *ele* союз "и", *i bardh* > *i barl* "белый".

Возникают вопросы: почему действие обусловленной внутренними факторами тенденции к лабиализации ударенного *a* и к сопутствующему явлению смещения сильно веляризованных фонем *dh* и *ll* не охватило весь гегский ареал и не приобрело абсолютного характера, свойственного звуковым законам? Почему в Южной Албании весь основной, "собственно тоскский" ареал оказался совсем не затронутым этой тенденцией и действие ее проявилось лишь на крайнем юго-западе — в небольшой группе ляберийских говоров? Наконец, почему в итало-албанских говорах действие аналогичной тенденции к смещению сильно веляризованных согласных *t* и *ɣ* независимо проявляется лишь в двух сильно отдаленных одна от другой точках албанской колонизации?

Каковы были факторы внешнего порядка, затормозившие спонтанную фонетическую эволюцию албанских диалектов и вообще албанского языка в том направлении, какое предопределялось внутренними причинами, связанными с установкой артикуляционной базы, ориентация которой на заднюю часть ротовой полости довольно отчетливо обнаруживается в североалбанских (гегских) говорах? Для ответа на эти вопросы должны быть приняты во внимание социально-исторические условия, в которых складывались языковые отношения в различных частях албаноязычного ареала. Основным фактором, сдерживавшим развитие и закрепление фонетических инноваций, возникавших в непринужденной разговорной речи на уровне повседневного общения, было, как я полагаю, влияние нормированных типов устной речи.

В старой Албании на протяжении столетий турецкого владычества, возможно, и в более ранние периоды, при отсутствии единого экономического, политического и культурного центра страны движение к языковой концентрации длительное время осуществлялось путем создания региональных устных койне. Каждое из этих койне имело в большей или меньшей мере наддиалектный характер. Их функциональная значимость и престиж должны были зависеть от социального уровня обслуживавшейся ими коммуникации, от территориальной распространенности, а также от жанровых особенностей. Конечно, должны были качественно различаться между собой койне, слагавшиеся в условиях родо-племенного общественного устройства, длительно сохранявшегося в горных районах,

городские койне, а также народно-разговорные койне, слагавшиеся в пределах экономически более развитых и относительно более обширных регионов.

Определенные различия вносились самим характером речевых стилей. Специфическими особенностями обладал не только язык высоких жанров фольклора — эпической поэзии и надгробных причитаний, но и язык публичной речи, связанной с различными формами социального общения (народные собрания, судопроизводство) на высших уровнях, — как в коллективах горцев, живших по законам обычного права, так и в условиях городской среды с ее цеховыми организациями. Стиль публичной речи, так же как и стиль устной поэзии высокого уровня, предполагал отчетливость артикуляций, соблюдение основных фонологических различий, сохранение устойчивости элементов фонологической системы.

Для процесса сложения обобщенных и более или менее унифицированных форм устной речи особенно большое значение должны были иметь речевые стили, связанные с более высокими функциональными уровнями общения, так как именно они давали образцы своего рода нормы, согласно которой осуществлялись процессы выравнивания произношения, восстановления единства языка, нарушавшегося спонтанно возникавшей вариативностью, характерной главным образом для небрежного, неполного стиля языковой коммуникации в условиях повседневного бытового общения.

Этапом развития такого рода процессов, которые, с одной стороны, способствовали консервации основных элементов унаследованного единства языка, а с другой стороны, закрепляли некоторые закономерные и широко распространенные инновации, было создание в периоды экономической, политической и культурной раздробленности, характерные в прошлом для Албании, нескольких региональных койне, обладавших значительным престижем и сыгравших определенную роль в истории языкового объединения страны.

Для истории албанского языка в ее доступные изучению периоды большое значение имели: а) северногегское койне, созданное родоплеменным обществом североалбанских горцев; б) южногегское койне, сложившееся и распространившееся в городах и равнинных областях центральной Албании; в) общегосское койне, распространившееся на большей части южноалбанской территории.

Северногегское койне, сложившееся и использовавшееся как форма публичной речи в общественно-ритуальной сфере, а также как язык эпической поэзии, вероятно, уже на протяжении нескольких столетий существовало в его дошедшем до нашего времени виде. Можно предполагать, что эта наддиалектная форма устной речи возникла и приобрела социальный престиж уже в эпоху, предшествовавшую появлению первых памятников североалбанской письменности (XVI—XVII вв.), и была использована их авторами (Гьон Бузук, П. Буди, Фр. Барди, П. Богдани). В фонетическом отношении норма северногегского койне (общественно-ритуального и эпического) соответствует старогегскому состоянию, засвидетельствованному в этих текстах, которое можно рассматривать и как общегегское. Для него характерно устойчивое сохранение основных фонематических различий, упорядоченность фонологической системы. В отношении рассмотренных выше фонетических изменений, спонтанно возникающих преимущественно на периферии северногегского ареала, можно заметить следующее: а) норме койне не соответствует лабиализация ударенных *a* (назального и протого); б) в койне четко различается произношение фонем *dh* /d̪/ и *ll* /l̪/.

Нормативный характер фонологических различий, закрепленных в произносительных образцах наддиалектной речи, обладавшей на протяжении столетий высоким социальным престижем в родоплеменном обществе горцев, и огромная популярность такой сублимированной формы народной культуры, как эпическая поэзия, являлись мощным фактором, тормозившим закрепление в фонетической системе спонтанных инноваций, возникавших в небрежной речи, характерной для разговорно-бытового уровня коммуникации. Фактически каждый

говорящий мог в случае необходимости "исправить" свое произношение, ориентируясь на идеальную норму койне, которая предписывала определенную систему произносительных инвариантов. Социальному престижу этой консервативной нормы способствовало длительное существование институтов родоплеменной организации, сохранившей свою жизненность еще в начале нынешнего столетия.

В новое время влияние койне в Северной Албании сменилось влиянием литературного языка, гегский вариант которого исторически сложился на основе той же фонетической нормы северногегского койне, соответствовавшей старогегскому или общегегскому состоянию фонетической системы.

Географическая дистрибуция рассмотренных выше фонетических инноваций в пределах северногегского диалектного ареала отражает различие степеней отдаления современных говоров от старогегского состояния, закрепленного в фонетической системе койне. На периферии ареала — в его западной и восточной частях — унаследованная фонетическая система оказалась сильнее размыта инновациями, в частности в том, что касается лабиализации ударенного *a* и смешения, отмечаемого в реализации фонем // *l*/ и *dh* /*ð*/. В отличие от периферии говоры центральной части Североалбанских Альп (к северу от течения Большого Дрина) до сих пор обладают фонетическими признаками старогегского типа и тем самым обнаруживают состояние, более близкое к нормам эпического и общественно-ритуального койне, престиж которого в этой высокогорной области был особенно высок. Наряду с другими консервативными чертами говоры этих мест в основном четко дифференцируют произношение *dh* и // и не проявляют тенденции к лабиализации *a*: *hāna* "луна", *i madh* "большой".

Характерно, что и в фольклоре именно этих районов (Никай-Мертури, Шаля, Шоши) отмечаются наибольшие последовательность и чистота эпической традиции.

Темой настоящей статьи не является рассмотрение проблемы региональных койне, сыгравших ту или иную роль в истории албанского языка. Поэтому я не останавливаюсь на фонетических проблемах, связанных с влиянием южногегского койне на эволюцию фонетической системы гегского диалекта. В заключение я кратко останавлиюсь лишь на затронутом выше вопросе особого положения ляберийских говоров, составляющих часть южноалбанской диалектной группы, но вместе с тем обнаруживающих комплекс фонетических инноваций, сходных с инновациями гегского ареала. Эти инновации подлежат рассмотрению в их соотношении с общетоскским состоянием, основные признаки которого отражены в фонетической системе относительно единообразных севернотоскских говоров [7].

Можно полагать, что севернотоскская, или "собственно тоскская", диалектная зона представляет собой область распространения давно сложившегося и консервативного по своим фонетическим признакам наддиалектного койне. В настоящее время трудно реконструировать конкретные социально-исторические условия создания языкового единства, характерного для северной и юго-восточной частей южноалбанского ареала. Внутри этого единства отмечаются некоторые локальные варианты, признаки которых в целом мало значимы для процесса коммуникации в пределах южной части албаноязычной территории. Система "собственно тоскского" койне (в ее основных фонетических и морфологических компонентах), по-видимому, уже в течение ряда столетий выступала и продолжает выступать в качестве наддиалектной нормы — идеального инварианта.

На этом фоне фонетические инновации ляберийских говоров, имеющие спонтанный характер и при этом очень сходные со столь же спонтанными инновациями северногегских говоров, поражают своей неожиданностью. Видимо, и здесь приходится усматривать действие внутренних тенденций фонетической эволюции, обусловленных определенной установкой артикуляционной базы.

Почему же действие этих внутренних тенденций проявилось лишь в ляберийских говорах, но не дало о себе знать на всем остальном пространстве распространения южноалбанского типа речи? Как я уже писала более подробно [7], представляется возможным сопоставить указанное диалектное различие с известным фактом славяно-албанского симбиоза на территории Албании, завершившегося языковой ассимиляцией славянской части населения. Как показывают данные топонимии [8], очень густая сеть славянских топонимов покрывает северную и юго-восточную части территории Южной Албании, которые и составляют область распространения "собственно-тоосского" диалектного типа. На юго-западе территории можно заметить убывание славянских топонимов, причем особенно малое их количество приходится на горную Ляберию (плато Курвелеш) и побережье Ионического моря. Можно предполагать, что волна расселения славян, некогда охватившая значительную часть южноалбанской территории, не докатилась до гор Акрокераунии. Ляберийские горцы, подобно гегским, продолжали жить своими родовыми общинами и не смешивались со славянами в той мере, как это было, по-видимому, характерно для жителей "собственно Тоскери". Особое положение Ляберии, по сравнению с остальными областями Южной Албании, отразилось и в названиях этого района *Labëri*, *Arbëri*, образованных от корня *\*alb-/\*arb-*. В этих названиях сохранилось древнее самоназвание албанцев. Житель Ляберии и сейчас именуется *lab* (< *\*lba*), т.е. "собственно албанец". В изменении *\*alb- > lab* проявилась характерная для славянской речи метатеза. Другой вариант древнего самоназвания — *arbër*, *arbëresh* сохраняется у албанских поселенцев Южной Италии и Греции.

Можно полагать, что в менее затронутой некогда славяно-албанским двуязычием горной Ляберии более свободно могли действовать (подобно тому, как это происходило в говорах северноалбанских горцев) внутренние тенденции фонетической эволюции, хотя и здесь они оставались на уровне спорадических изменений, связанных со стилем разговорной речи, характерными признаками которого являются такие качества, как ненапряженность, вялость артикуляций и общее понижение тембра.

В "собственно тоосском", в отличие от ляберийского, действие таких тенденций не наблюдается; оно как бы подавлено, благодаря чему система северно-тоосского койне может быть характеризована как исторически консервативная. Тот факт, что в ней оказалось заторможенным действие тех внутренних тенденций фонетической эволюции албанского языка, которые видоизменили в определенном направлении фонетическую систему ляберийского говора, мог быть связан с тем, что на севере и юго-востоке южноалбанской территории длительное время существовала славяно-албанская двуязычная среда. Переходившие на албанский язык славяне усваивали нормированный тип старотоскской речи, имевший характер наддиалектного койне. Они усваивали старотоскскую систему фонем в ее инвариантах, но, вероятно, не усваивали возможных колебаний в произношении, тех отклонений от нормы, которые могли бы стать исходными для развития специфических инноваций. Спорадичность проявления такого рода колебаний, хотя и обусловленных характерным для коренных албанцев укладом произносительных органов, а также нефонологичность вызывавшихся ими изменений, делали для славян необязательной полноту усвоения всех вариантов, не соответствовавших норме. Славянское влияние на ход исторической эволюции тоосского типа речи выразилось, таким образом, не в особом направлении фонетических изменений, но наоборот, в консервации основных признаков старотоскской фонетической системы. Что касается ляберийских говоров, то в них, как и в северногегских, могли более свободно действовать внутренние тенденции фонетической эволюции.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Beci B.* E folmja e Shkreelit // Dialektologjia shqiptara. I. Tiranë, 1971. S. 274.
2. *Lambertz M.* Albanische Märchen. Wien, 1922. f. 183 flg.
3. *Brota G.* Letratyra Shqype. Shkoder, 1934. f. 19.
4. *Lafe E.* E folmja e Nikaj-Merturit // Studime Filologjike. 1964. f. 3.
5. *Gjinari J.* Dialektologjia shqiptare. Prishtinë, 1970. f. 45.
6. *Ajeti I.* Istorijски razvitok gegijskog govora Arbanasa Kod Zadra. Sarajevo, 1961. f. 148.
7. *Desnitskaja A.V.* Language interferences and historical dialectology // Linguistics. 1973. 113.
8. *Селище А.М.* Славянское население в Албании. София, 1931 (карта "Славянская топографическая номенклатура Албании").

© 1992 г. ДУНКЕЛЬ Г.

## ГРАММАТИКА ЧАСТИЦ

Праиндоевропейские частицы с точки зрения их этимологии, формальных признаков и исходного значения в массе своей остаются в большей или меньшей степени неясными...

К. Бругман

### 1. Лексикон: Классы морфем.

1а. К индоевропейским классам морфем, которым в специальной литературе уделяется наибольшее внимание, относятся, как известно, корни (К), суффиксы (С) и окончания (О). Необходимо, однако, признать существование и четвертого класса морфем — неизменяемых морфем, или частиц. Настоящая статья посвящена именно этой сравнительно мало изученной категории. Цель статьи — показать важность частиц для индоевропейской морфологии и стимулировать их дальнейшую разработку.

Частицы нередко не являются самостоятельным объектом исследования, а привлекаются лишь в связи с необходимостью дать объяснение тем образованиям, которые остаются после вычета всех морфологически ясных элементов корня. Лучшим описанием частиц вплоть до настоящего времени остаются работы К. Бругмана [1]. В последующих стандартных работах лишь повторяется то, что уже содержится в работе К. Бругмана. Отдельные новые (по сравнению с работой Бругмана) идеи в рассматриваемой области стали появляться только в пятидесятых годах.

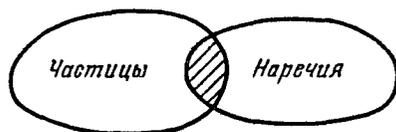
Некоторые концепции в лингвистике, построенные прежде всего на материале анатолийских языков, ставят традиционную грамматику перед необходимостью подвергнуть коренной переработке существующие грамматические пособия. Во-первых, в настоящее время эти пособия можно пополнить новыми, не содержащимися в работе Бругмана, частицами. Во-вторых, многие уже известные частицы сейчас следует интерпретировать иначе — не только морфологически, но и семантически и фонологически. И, наконец, следует подойти к изучению совершенно новой проблемы — разработке принципов комбинирования частиц между собой в праязыке.

Для того чтобы дать ясное представление о тех параметрах, которые подлежат исследованию, я ограничил материал, рассматриваемый в моей статье, рамками грамматики. В этой связи показательно следующее. Анализ такой узкой области, как местоимение *\*so/to-*, может показать, что даже в тех областях изучения языка-основы, которые кажутся хорошо исследованными, возникают новые проблемы, как только мы начинаем рассматривать частицы не в качестве простых "остатков" морфологического анализа, а как самостоятельный класс морфем.

1б. Частицы и другие классы морфем. Чисто семантические частицы в широком смысле ближе всего к наречиям, хотя могут иметь и дейктическое значение, в том числе указательное и местоименное (*\*ke/ki*, *\*e/i*, *\*gho/ghi-*); конъюнктивное значение, включая дизъюнктивное и адверсативное (*\*k<sup>u</sup>e-*, *\*-h<sub>2</sub>o/u*, *\*-ye*, *\*át*); модальное значение, в том числе ирреальное и обобщающее (*\*-k<sup>u</sup>e*), непосредственно модальное (*\*ken*), мелиоративное/пейоративное

(\**dus-*), негативное (*né, mē*) и вопросительное, а также эмфатическое (\**ómi/-em*), включая побудительное (\**h<sub>1</sub>éǵ*) и утвердительное (\**mǵn*); далее можно выделить локальное значение, в частности пространственное или временное (\**nú, \*soǵ, \*pró, \*ápo, \*dúis*). Эту группу частиц можно обозначить индексом Ч (в настоящее время мы полностью оставляем в стороне проблему соотношения частиц и гипотаксиса).

Однако класс частиц не просто идентичен наречиям, поскольку последние могут быть морфологическими производными (падежные формы, цепи частиц и адвербиальные суффиксы). Скорее можно сказать, что эти два класса пересекаются:



К сожалению, все семантические классификации, предпринятые до сих пор, пересекаются друг с другом, что затрудняет исследование. Намного продуктивнее положить в основу анализа формальные признаки.

Как и три других морфемных класса, частицы обнаруживают явление аблаута (аблаут полного и нулевого гласного, а также аблаут гласных \**o* и \**e*). Подобно суффиксам и окончаниям, частицы в отличие от корневых морфем не подчиняются каким-либо закономерностям с точки зрения возможных звуковых комбинаций. К тому же частицы всегда односложны.

Тот факт, что частицы как семантически, так и функционально образуют независимый класс морфем, следует из принципиальных различий, которые наблюдаются между частицами, с одной стороны, и между корневыми, суффиксальными морфемами и окончаниями, с другой.

Во-первых, распределение частиц в морфемных цепях, весьма своеобразное, не совпадает с делением и распределением трех других морфемных классов. Иными словами, между частицами и другими классами морфем невозможна взаимозаменяемость. Феномен супплетивации на \**-i* и \**-u* возможен только в классе частиц (включая и местоименные корни). Но прежде всего следует иметь в виду, что лишь частицы, в отличие от других морфемных классов, могут образовывать самостоятельные слова. К рассмотрению всех этих особенностей мы еще вернемся.

1с. Значительных успехов в исследовании частиц можно достичь лишь в том случае, если полностью сконцентрировать внимание на изучении взаимосвязей специфических форм со специфическими значениями, а не заниматься рассмотрением недоказуемых комбинаций. Это не слишком жесткое требование; ведь стремление к максимально точному семантическому и морфологическому анализу в области морфологии само по себе ни у кого не вызывает сомнений. Те или иные формы, неоправданно причислявшиеся ранее к классу частиц, должны перепроверяться и, в случае необходимости, исключаться из этого класса как "ghost-words" (с соответствующими коррективами в специальной литературе)<sup>1</sup>.

Но когда речь идет о частицах, в лингвистике все еще действуют по формуле "anything goes": бытуют редуccionистские взгляды на сегментацию в духе П. Перссона. Мнимые частицы, как и многие мнимые глагольные формы, часто упоминаются в грамматиках и цитируются. И многие из этих форм,

<sup>1</sup> Примеры методик такого анализа даются Й. Партеном [2]. Например, не испытавшие аблаута окончания дат. п. ед. ч. \**-ei* или им.п. мн. ч. \**-es*, в корне отличные от способных к аблауту форм род.п. ед. ч. \**-est/-ost-* и локатива ед. ч. \**-i*, обычно не подпадают под единый знаменатель.

как и мнимые глагольные формы, необходимо подвергнуть тщательному анализу и исправлению.

Прежде всего необходимо возразить против смешения в "одну кучу" совершенно различных частиц. Так, например, если \**pér(H)i* "через", хотя и с некоторыми натяжками, можно вывести из глагольного корня \**perH-* "пронзать, проникать", то вряд ли оправданно по аналогии из того же глагольного корня выводить превербы \**pró-* "вперед" и \**próti/preti* "против", несмотря на все их формальные и семантические отличия ([1, II, 2, с. 864—888, этимологическое гнездо \**per-*]; Покорный [3, с. 810—815], Фриск [4, s.v. *prós*] считают возможным соотношение с *pró*. Иного мнения Майрхофер [5, s.v. *práti*], хотя s.v. *puráh* он говорит, что здесь речь идет "как и в случае с *purá*, об этимологическом гнезде *paráh, pári, prá* и т.д."). Подобным же образом именно вследствие полного несовпадения формы и содержания невозможно выводить преверб \**próti* из формы \**po* (нулевой ступени от \**ápo* "назад, прочь"), хотя я вполне согласен с тем, что \**próti* можно разделить на \**pró-ti*. А вот образования типа *po-i* (хет. *pe-* "прочь") и \**po-s* "позади" могут рассматриваться как дериваты от \**po*, что вполне соответствует семантическому наполнению этих слов. Но есть еще одна возможность — в хеттской форме *appa* усматривать слияние \**ápo* "назад, прочь" и \**épi* "потом"; первое допущение вполне корректно, второе же фонологически абсолютно невозможно [6].

С другой стороны, следует четко различать почти омонимичные формы, например, местоименные \**bho/l.bhi* "оба" и локативное 2.\**bhi* "при" [7, примеч. 115] — с одной стороны, и локативные \**e/o-ti* "сверх этого" — с другой, а также противительное-эмоциональное \**át* [8].

## 2. Фонология.

2а. Согласные: *i*. Ларингальные и частицы. Частицы, имеющие грамматический вид "гласный + \**u*", очень часто смешиваются учеными [9]. Однако более тщательный анализ приводит к необходимости выделения трех различных формально-семантических групп таких частиц. Необходимо дейктическое \**oц/v* — возможно, без ларингального (ср. и.-е. императив \**-t-u* и местоимения — вед. *at-ú-m*, греч. *δ-ῦ-τος*) — отличать от конъюнктивного \**h<sub>2</sub>u* (вед. *u*, греч. *αῦ*) — последний с ларингальным, что непосредственно видно из продолжения супплетивной формы \**h<sub>2</sub>o* в лувийском (*-ha*) и ведийском (*át-ha*). Обе эти формы восходят к локальному \**au* (лат. *au-*, хет. *u-*), которое представляет собой стяжение из *áui*, опять-таки супплетивное по отношению к \**áyo* "прочь" (инд.-иран. *áva*) [10].

2аii. Упрощение групп согласных (это, безусловно, касается не только частиц): \**yi-* "врозь" было образовано от \**dui-* "пополам", причем довольно рано, о чем свидетельствует происхождение нового корня \**uidh* "разрубать", но в то же время это позднейшеевропейское образование, так как в анатолийском не отмечена форма \**yi*<sup>2</sup>. В связи с тем, что явление упрощения все же не было всеобщим (не затронутой им осталась сама адвербиальная форма \**dui* "дважды"), можно полагать, что перед нами не подчиняющийся определенным закономерностям фонологический процесс [как в \**kmtóm* < \*\*(*d*)*kmt-o*], а скорее специфическая диссимилиация в синтагме \**dui-dheh<sub>1</sub>* "раскладывать, разделять". Можно сравнить образование \*(*d*)*ui-(d)kmti* "двадцать" с более простым наречным \**duf+s* "дважды".

Еще одним хорошим примером упрощения групп согласных может служить форма *sub* < \*(*ek*)*s-upo*.

2б. Гласные: Безусловно, детальное исследование альтернации долгих и кратких гласных в пределах частиц и местоимений (например, \**pró:pro*, вин. падеж \**mē:me*) было бы очень кстати. Если в той или иной форме представлен краткий гласный, то мы наблюдаем явление удлинения гласного, но каковы причины, ко-

<sup>2</sup> Хет. *wida(i)* "принести" семантически легче вывести из \**yedh-eh<sub>2</sub>-je* "привести", чем из \**yi-dhh<sub>1</sub>-eh<sub>2</sub>-ie-* "разделить" [11].

торые обуславливают это удлинение? Объяснимо ли это явление, как предлагает Бругман, законами ауслаута [12, с. 496] или же, следуя за Готьё, можно считать это своеобразием односложных форм [13, с. 63 и сл.; 165 и сл.]? Может быть удлинение ограничено метрически короткими односложными формами, как утверждает Ф. Шпехт<sup>3</sup> [15]? Но в конце концов можно принять на вооружение и точку зрения Э. Зебольда, утверждающего, что, "имея дело с личными местоимениями, мы должны считаться с явлением фонологического удлинения" [16].

Если же изначально мы имеем дело с долгим гласным, то необходимо допустить укорочение гласного (как вследствие утраты ларингального или по иным причинам) [17]. Однако неясно, почему мы имеем дело с этим явлением, например, в прономинальном аккузативе \**meh*<sub>1</sub>, но не в запретительной (прогитивной) частице \**meh*<sub>1</sub>. Совсем недавно О. Семереньи попытался скомбинировать эти два вида анализа; он предложил считать явление удлинения в односложных морфемах обусловленным аналогией после укорочения элемента, предшествующего гласному [18]. Так, например, \**prō*, \**mē* (если они восходят к \**proH*, \**meH*) > \**pro*, \**me* подверглись фонологическому укорочению, а \**po* (без ларингального) > \**pō* — аналогическому удлинению.

Само собой разумеется, что необходимо различать специфически метрическое удлинение (в арийском только в ауслауте, а в греческом языке — в каждом слоге) от удлинения гласных, которое представлено в неметрических текстах [19], хотя первые можно истолковать как результат совокупного действия различных языковых тенденций [19, с. 338—355]. Необходимо отделять друг от друга и удлинения, которые возможны в каждом слове (ср. постулируемую Соссюром "слоγο-ритмическую" тенденцию, т.е. стремление избежать тройного укорочения [20]), от удлинения, возможного лишь в некоторых, специфических видах слов или процессах; речь идет о морфологически обусловленных функциональных (композиционных) удлинениях, а также об удлинении как морфологическом средстве деривации (*vrd̥dhi*) ([22, с. 360—371]; исходный пункт — *nd̥ri*; [23]). Их можно понимать либо как результат аналогии первоначальному стяжению [21, II, с. 897 и сл.; 20, с. 398], либо как результат удлинения ларингала (*sūnara-*: [19]).

### 3. Морфология: Частицы и парадигмы.

За. Частицы чаще сохраняют древние грамматические формы, чем парадигмы. Очень многие несклоняемые части речи, как известно, являются застывшими парадигматическими именными или глагольными формами. Примеры: атт. ἄλλὰ "но" resp. εἰ "ладно" [24] и лат. *gratia* resp. *igitur*.

Вследствие изоляции от влияния родственных форм такие слова, как и другие внепарадигматические образования (ср. соответствующие звуковым законам производные *eculeus*, *parum*, *secundus* наряду с восстановленными парадигматическими — *equus*, *parvum*, *sequendus*), особенно сопротивляются малейшим изменениям в языке и долго сохраняют архаичные формы, которые в парадигмах давно заменены инновациями. Можно в этой связи указать на следующие греческие примеры: побудительное εἰ (ῥ' ἄγε) vs. парадигматическое ἴδι; отрицательное οὐ vs. парадигматическое ἄίών; восклицательное εἴεν vs. парадигматическое εἴεν; локальное λέδα vs. парадигматическое πόδα; эмфатическое τοι vs. парадигматическое σοί. В древнеиндийском: побудительная форма *hanta* vs. императивная форма *hata*; неопределенное *clā* vs. вопросительное *klm*; эмфатическое *īd* — в противовес дейктическому *idām*; эмфатическое *tū* — в противовес местоименному *ivām*; конъюнктивное *dd* — в противовес дейктическому *asmdd*. В хеттском: квотативная форма *-wa(r)* (< \**werh<sub>1</sub>t*) в противовес парадигматической *tet*. В латинском: дизъюнктивная форма *vel* в противовес парадигмати-

<sup>3</sup> Например, *drōs* наряду с *droci*, *kim* наряду с *nakis*. Остофф [14], наоборот, исходил из наличия долгого гласного со слабой степенью чередования и с второстепенным ударением. Этот гласный впоследствии, после полной утраты ударения, стал кратким [15, с. 281 и сл.; с. 351 и сл.]. Обе эти теории не дают возможности объяснения форм типа \**duis* и \**tris*.

ческой *vī*; изолированная форма сандхи в связанной морфеме *leg-* в противовес несвязанной морфеме *nes-*; можно указать также на след действительного причастия прошедшего времени в изолированной форме *apud*.

Таким образом, многие частицы сохраняют более старые, по сравнению с представленными синхронно, формы. Иными словами, частицы никогда не становятся источником новообразований в языке.

Отсюда вытекает важный методический принцип нашего исследования: если налицо различия между частицей и парадигмой, необходимо проверить, не сохраняет ли частица более древнюю, исконную форму.

В праиндоевропейском положении вряд ли было иным. Это означает, во-первых, что индоевропейские частицы возникли отчасти из парадигматических форм, и, во-вторых, что они могли сохранять более раннее состояние флексий по сравнению с теми, которые можно вывести на основе индоевропейских парадигм. Мейе очень убедительно показал это<sup>4</sup>. Мы считаем чистым преувеличением полное отрицание Швицером унитарного постулата ("Для развития древнейших частиц более поздние частицы, которые явно представляют собой окаменевшие падежные и глагольные формы, не могут служить аналогией" [20, II. с. 554]).

На практике это означает, что необходимо выделить четыре разные по численности группы частиц, которые отражали бы ступени развития этого класса морфем в языке. Первую, наиболее позднюю по образованию группу составляют частицы, возникшие из позднейиндоевропейских застывших падежных форм древних частиц, главным образом наречных: *\*epi*, *\*perHut*. Вторую группу составляют изолированные формы флексий более раннего уровня развития языка (*\*ápo*; *\*eghs*). Третью группу составляют неясные по своему строению, но безусловно сложные частицы [*\*(s)h<sub>2</sub>en-ey*, *\*ñ-dh-er*]. И в последнюю группу войдут все оставшиеся, совершенно не поддающиеся анализу формы (*\*r*, *\*gho*, *\*nd/ne*). Именно здесь мы доходим до наиболее раннего языкового пласта.

3b. Частицы как явные номинативные формы (первая группа). i. В хеттском языке можно найти достаточно синтаксических фактов, подтверждающих происхождение некоторых наречий места и частиц из падежных форм (это было отмечено еще младограмматиками). Наиболее удачными примерами являются производные от *\*ped-* "нога" и от *\*h<sub>2</sub>enti* "передняя сторона"; *h<sub>1</sub>su-* и *\*dus* — также номинативны по происхождению. Но дело все же обстоит совсем не так просто: в хеттском языке так называемые "корреспондирующие" наречия на *-an* (*kattian*, *appan*) обнаруживают конгруэнцию им.-вин. падежа ср. рода ед.ч., (как будто *\*-an* восходит к *\*-om*), но тем не менее они имеют ясную семантику локатива (как будто *\*-an* произошло от *\*-en*) [26].

Сходным же образом обстоит дело, когда исследователь принимается за реконструкцию частиц на основе морфологического анализа. Необходимо рассмотреть не только удачные примеры, но и те случаи, которые абсолютно не удовлетворяют требованию соответствия падежных окончаний значениям частиц.

3bii. Локатив единственного числа. Истолкование часто встречающегося окончания *\*-i* как маркера локатива ед.ч. вполне оправдано в отношении многих наречий места, например, *\*épi* "затем" [греч. ἐπί χθονός, таким образом, должно рассматриваться в рамках чисто именного синтаксиса, а имеющее то же значение (!) ἐπί χθονί представляет собой партитивное приложение (Apposition)], *\*éni* "внутри", *\*h<sub>2</sub>éni* "напрстив", *\*pérHi* "сквозь", *\*upéri* "над", *\*préhi* "перед" [27].

Но это окончание употребляется далеко не всегда, так как не все предлоги,

<sup>4</sup> "В индоевропейском есть неизменяемые слова, некоторые из которых представляют собой застывшие формы ранее склоняемых слов, хотя другие из этих неизменяемых слов безусловно никогда не имели флексий" [25, с. 192] и далее: "... многие [наречия] не относятся ни к одной из известных склоняемых форм" [25, с. 193]; см. также с 349—354.

оканчивающиеся на *\*-i*, могут осмыслиться как локативы. Так, греч.  $\acute{\alpha}\mu\phi\acute{\iota}$  "вокруг" и вед. *abhi* "против, к" восходят не к единой для обеих форм локатива *h<sub>2</sub>mbh-i*, а к различным, не локативным формам, как *h<sub>2</sub>ṛ-bbī* "по обеим сторонам" (при *\*bho/l.bhi* "оба, обе") и соответственно *\*e/o-bhī* "туда" (при 2. *\*bhi* "у") [14, с. 228].

Многие частицы на *\*-ti* [*\*e-ti* "сверх этого", *\*k<sup>u</sup>ó-ti/\*to-ti* "сколько, столько", *\*pó-ti* (контаминация с *pró* дала *pró-ti*), *\*km-ti*, *\*po-s-ti*] вряд ли можно считать локативами.

Спорным является вопрос о том, является ли локативной формой *\*-i* в хет. *pe* "прочь" (*\*po-i*) и в греч.  $\lambda\alpha\rho\acute{\alpha}\iota$ ,  $\kappa\alpha\tau\acute{\alpha}\iota$ .

Итак, подводя итоги, следует указать, что лишь некоторые, но далеко не все частицы на *\*-i* могут считаться формами локатива. Но, с другой стороны, полнозначные формы без окончания имеют частично локативное значение, например, *\*perH* "через" (к примеру, в *\*pérH-ut* "последний год") или *\*én* "внутри", но часты и случаи, когда они этого значения не имеют: *\*sóm* "вместе", *\*ken* (модальная частица). И снова перед нами случай лишь частичного совпадения формы и функции исследуемых классов морфем, а это нельзя сбрасывать со счетов.

3с. Формы флексий более ранней стадии развития языка (вторая группа): два примера. *i*. Какую падежную форму представляет собой часто встречаемое в наречиях факультативное конечное *\*-s*? Несмотря на то, что кажется логичным определить эти формы как показатель им. или род. падежей ед. числа одушевленных существительных, эти функции не совпадают со значением названных наречий. Формы (с *\*-s* после согласного) типа *\*eghs* "наружу", *\*aps* "прочь, назад", *uds* "наверх" или же (с поствокальным *\*-s*) *\*po-s* "сзади", *\*(a)ṛe-s* "вниз" не имеют синтаксического значения номинатива или генитива.

Однако *\*-s* может быть связанным, а не факультативным, например, в *\*āyis* "явно, очевидно", *\*trHṛs* "через". Элемент *\*-s* не является пустым морфем, а служит для отграничения друг от друга различных форм, например, *\*ni* "вниз" vs. *vis* "снаружи".

Поэтому нам кажется, что целесообразнее считать *\*-s* элементом особой группы наречных окончаний, таких, как *\*-ti*, *\*-dhi*, *\*-ter*, *\*-tos* и *r*, которые не соотносятся с именными окончаниями. Морф *\*-bhi-* — это случай особого совпадения: в дв. числе он восходит к местоименному *\*bho/l.bhi* "оба", во мн. числе — к наречному 2. *\*bhi* "при".

3сii. Часто встречаемое превербиальное окончание *-o*, в формах типа *\*ápo*, *\*pró*, *\*anó*, *\*áco*, *\*úpo*, вед. *kvà* < *\*k<sup>u</sup>ú-o*, не соотносится однозначно с именными окончаниями, которые поддаются реконструкции. Гипотеза о том, что существовал некий "неопределенный падеж", представляется нам слишком шаткой и ненадежной. С большой долей определенности можно лишь сказать, что *\*-o* существовало уже на очень ранних этапах развития языка и вряд ли могло образовывать супплетивные формы с *\*-и*.

Если же принять во внимание значения "прочь, вперед, вдоль, вниз, сюда, куда" упомянутых наречий, то их анализ как форм директива (по крайней мере семантически) представляется вполне уместным. Однако формы директива сами остаются спорными. Некоторые формы скорее говорят в пользу окончания на долгий гласный (греч.  $\acute{\alpha}\nu\omega$ ,  $\pi\rho\acute{\iota}\sigma\omega$ , лат. *quō*, *eō*, хет. *-a-a*), а другие — скорее в пользу окончания на *-a*. В соответствии с нашим новым принципом исследования мы должны исходить из того, что реконструируемые группы частиц сохранили более древнюю форму падежных окончаний по сравнению с теми, которые представлены в отдельных языках. Другие формы являются по существу более поздними дериватами исконного краткого *\*-o*. Сходные процессы можно проследить и при исследовании модифицированных и подвергшихся дальнейшим преобразованиям форм тематических локатива и генитива.

Попытки восстановить полные парадигмы [25, примеч. 23; 28] типа:

Им. пад. (от одушевл. существительных)	<i>*en-s</i>	<i>*ap-s</i>	от неодушевл. существительных	<i>próh<sub>2</sub></i>
Местн. пад.	<i>*en, *en-i</i>	<i>*ep-i</i>		<i>préh<sub>2</sub>-i</i>
Род. пад.		<i>*p-es</i>		<i>*prh<sub>2</sub>-és</i>
Директив		<i>*ap-e</i>		<i>*prh<sub>2</sub>-ó</i>

носят чисто формальный характер, но не отвечают ни семантическим, ни синтаксическим требованиям, если функции частиц не согласуются с их постулируемой морфонологической структурой.

3д. Частицы как глагольные формы. Становление окаменелых глагольных форм и превращение их в частицы в исторически засвидетельствованных языках наблюдается реже, чем образование окаменелых именных форм; это касается и праиндоевропейского. Можно с достаточным основанием привести лишь один пример такой застывшей глагольной формы — запретительная частица *\*mē*. По происхождению она является императивом полной степени без окончания того же корня, который можно видеть в хет. *mimmai* "отказавшийся" [29], с морфологической стороны эта частица близка греч. побудительному  $\epsilon\iota$ .

Некоторые частицы, без сомнения, образованы от глагольных корней, но не с помощью типичных глагольных окончаний (до сих пор никто не предложил рассматривать наречия на *\*-ti* как активные формы индикатива 3 л. ед.ч.), как это имеет место в отношении форм с значением "через" от корней *\*perH-*, *\*terH-* "проникать".

3е. Но прежде всего необходимо отметить, что не все частицы возникли из тех или иных парадигм, от имен, глаголов, или корней. Многие из них не обнаруживают никакой общности с этими группами, но на синхронном уровне такие группы частиц образуют различные морфемные классы, а на диахронном — множество морфемных классов.

Таким образом: вместо того, чтобы пытаться втиснуть все частицы в прокрустово ложе позднеиндоевропейских флективных парадигм, следует просто допустить, что по крайней мере некоторые частицы не могут быть исследованы таким образом. Учитывая тот факт, что частицы очень часто сохраняют древние грамматические формы в качестве парадигматических, надо признать, что существуют другие, новые модели парадигм, которые время от времени проявляются в языке. Именно эти модели и следует использовать при анализе: они важны для понимания среднеиндоевропейской именной флексии.

#### 4. Морфофонемика: комбинаторные варианты.

Обратимся к двум последним, наиболее древним группам частиц. Несколько лет назад я попытался разработать пять формальных категорий частиц: три аблаутных чередования (полная и нулевая степени чередования, *\*ó/e* и без аблаута) и два супплетивных типа (на *\*i* и *\*u*) [30]. В настоящее время я бы мог представить дополнительный материал, иллюстрирующий каждое из этих явлений:

4а. Мои первоначальные примеры супплетивации *\*-u*: локальное *\*prō/pru* "вперед"<sup>5</sup>, *\*ápo/apu* "прочь, назад", *\*áno/anu* "вдоль"<sup>6</sup>, вопросительные *\*k<sup>u</sup>o/k<sup>u</sup>u* (по Г. Кронассеру, *\*k<sup>u</sup>u-* находим также в хет. *kuššan* "теплый" [33, с. 357]), конъюнктивное *\*-h<sub>2</sub>o/h<sub>2</sub>u* и отрицательное *\*nō/nu* (др.-хет. *natta*, др.-перс. *nach-*, лат. *non*, хет. *niwan* "никогда").

<sup>5</sup> Наряду с *\*pro* форма *\*pra* засвидетельствована не только в греческом ( $\pi\rho\upsilon\nu\acute{o}\varsigma$   $\pi\rho\lambda\acute{\epsilon}\epsilon\varsigma$   $\delta\iota\alpha\kappa\rho\beta\acute{o}\varsigma$ ), но и в итальянском (оскск. *pru-* наряду с *prú-*; *pruter*). Внутригреческое повышение (*protasis*) *\*pro* не является необходимым для этих форм [3, с. 814; 4, s.v.  $\pi\rho\beta\alpha\nu\acute{\iota}\varsigma$ ; 31, с. 14 и сл.; 32, с. 71—74].

<sup>6</sup> См. [30, примеч. 31, § 11b]. Из других возможных примеров укажем дейктическое *\*gho/ghu* (вед. *ha*, греч.  $\pi\acute{\alpha}\gamma\text{-}\chi\upsilon$ , хет. *kāš-kūn*) и хет. *apāš: apūn ašī : uni*.

С тех пор мы обнаружили еще локальное *\*áyo/açu (> \*aç)* "вниз" (инд.-иран. *áva/* лат. *au-*, хет. *u-*) [30, примеч. 9]. В этой морфеме нет ларингального, и она не является родственной ни союзу *\*-h<sub>2</sub>u*, ни дейксису *\*oç/u*.

Еще один, более надежный и важный случай супплетивации *\*u-* встречается в местоимениях *\*so/to-*. Греч. *ὅ* и инд.-иран. *sá* предполагают, без сомнения, поздней.-е. *\*só*. Но хеттская вводная частица *šū*, начинающая предложение, которая также является одной из частиц рассматриваемой группы, может быть только продолжением *\*su*. Это говорит в пользу существования средней.-е. *\*só/su* (частиц, вводящих предложение), которые представлены в синтаксисе параллельно с формами *\*to/te* и *\*nú* и подчиняется законам вокализма этих последних.

4b. Мои прежние примеры супплетивации *\*-i-*: локативные формы *\*pro/pri*, вопросительные *\*k<sup>o</sup>/k<sup>i</sup>* (причем эти формы обнаруживают и супплетивацию на *\*-u*) и дейксисты *\*e/(e)i-*; *\*ke/ki*; *\*gho/ghi*.

С тех пор мной были выявлены еще два дополнительных случая: числительное *\*duo/dçi-* "два, дважды" и местоименный элемент *\*-bho/l.-bhi* "оба" (как в греч. *ἄμφω/ἀμφί*: [30, примеч. 6]).

В отличие от супплетивации на *\*u* супплетивация на *\*i* встречается только в односложных формах. Особенно часто она встречается у частиц на *\*ó/e*, а также в группах частиц, не подвергающихся аблауту. Как мы уже видели, у некоторых частиц встречаются оба вида супплетивации — на *\*-i* и на *-u*.

Еще один случай супплетивации на *\*-i* обнаруживается у местоимений на *\*so/to-*. Наряду с известной формой жен. рода *\*sā* (*\*seh<sub>2</sub>*) приводимый ниже материал призван показать существование формы *\*sih<sub>2</sub>*: *\*sí* в кельтском и германском [др.-иран. (*h*)*ési* (*h*)*éd* [34, § 358, 35, § 450], гот. *is si* (с сокращением в противоположность неукороченному указательному местоимению жен. рода *so*) *ita*; в этих двух ветвях языков форма *\*sih<sub>2</sub>* заменила первоначальную форму жен. рода *\*ih<sub>2</sub>* парадигмы *\*ei/i-*]; вед. *śim*, которое обычно не связывается ни с какой парадигмой и рассматривается как безразличное к категориям рода и числа (это в определенной мере неверно, о чем см. ниже § 7dii). Греч. *ἴ* у Софокла и *ἴν* у Гезихия, к сожалению, с формальной и синтаксической точек зрения слишком неясны, чтобы на их основе можно было делать какие-либо выводы. У Софокла *ἴ* "еа", очевидно, было долгим и являлось производным от *\*sih<sub>2</sub>*. Проблематичным, однако, остается отсутствие вокализации ларингала: закономерным было бы *ἴ̄*. Эту проблему не разрешает предложение М. Петерса соотнести *ἴ* с *\*ei/i-* [праформа *\*(h<sub>1</sub>)ih<sub>2</sub>*] [36, с. 102, примеч. 48]. Встречаемые у Гезихия *ἴν*: *αὐτῆν*, *αὐτόν* *Κύπριοι* обычно соотносят с корнем *\*ei/i-*. Зебольд [16, с. 76 и сл.] взвешивает возможность соотнесения с *\*sí-*.

Если форму жен. рода *\*sí* (*\*si: h<sub>2</sub>*) действительно следует соотносить с *\*só*<sup>7</sup>, то в вводной синтаксической частице *\*só* следует усматривать оба супплетивных типа — на *\*-i* и на *\*-u*, подобно *\*k<sup>o</sup> vs. \*k<sup>i</sup>* и *\*k<sup>u</sup>* (*resp. \*pró vs. \*pri* и *\*pru*).

4с. Моими прежними примерами чередования *\*ó/e* были: аллативная форма *\*dō/-de*, конъюнктивная (союзная) *\*k<sup>o</sup>/-ku<sup>e</sup>*, форма сравнительной степени *\*uó/-çe* и отрицательная форма *\*nō/ne* (среднеиндоевропейский). Я высказал мнение, что альтернацию *\*ó/e* следует связывать с именными корнями, имеющими значение "ночь", "нога" и т.д., как это понимает Шиндлер, или с хеттским *hi-*спряжением, как это предлагает Бэрес и Язанофф. В этих случаях частицы, видимо, снова сохраняют более раннее, по сравнению с именами, состояние<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> В то время как *\*sā* разлагается только на *\*se-h<sub>2</sub>*, частица *\*sí* может анализироваться либо как *\*s-ih<sub>2</sub>*, либо как *\*si-h<sub>2</sub>*. Следует предпочесть сегментацию *\*si-h<sub>2</sub>*; простое *\*-h<sub>2</sub>* было продуктивным маркером жен. рода вплоть до того времени, когда оно было замещено сложным *\*ih<sub>2</sub>-*. Тезис, согласно которому местоимение *\*si-h<sub>2</sub>* было образцом для производных форм жен. рода на *\*-ih<sub>2</sub>-*, более вероятен, чем обратный.

<sup>8</sup> Форма *2.\*kóm* "в пользу к-л." с дат. падежом — редкое синтаксическое явление; модальное *\*-ken* встречается в *\*nú ken*. Этимология Пальмера—Форбса, согласно которой ю.-греч. *ὄν* является результатом сегментации *οὐκάν*, неприемлема, так как *ὄν* следует сравнивать с др.-хет. *-an*, а не с лат. *an*, как утверждает Д.Дж. Ли [38].

Имеются также и другие примеры подобного типа. Помимо акцентуированной вводной частицы *\*só* есть основания допустить существование безударного алломорфа *\*-se*. Ср., например, германское местоимение со значением "этот" (руническое *sa-si su-si pat-si*, др.-англ. *þes* < *\*te-se*; Г. Клингеншмитт [37, с. 185 и сл.] исходит из редуцированного *\*sa(i)-sa(i)* и т.д.), лат. *ipse* (из *\*is-se* < *eum(p)se*) и лат. *ille* (из *\*ol-se*; ср. также форму галльского вин. падежа ед.ч. ср. рода *so-siv*). Уже в праязыке были представлены формы энклитического аккузатива ед. числа *\*se* от местоимения 3 л. Эти формы выполняли частично анафорические, а частично рефлексивные функции.

Итак, основными формами частиц были — в ударном положении *\*só*, в безударном — *\*se*; можно также допустить существование двух супплетивных алломорфов *\*si*, *\*sí*. Таким образом, поздней.-е. *\*só/-se* как с формальной, так и с функциональной точек зрения существовало параллельно с *\*tó/te* [праформу *\*so-se*, лежащую в основе рунич. *sasi* и галльск. *so-siv*, очевидно, можно считать параллельной по отношению к микен. *do-de*, лат. *nōn* < *nō-ne*, *quoque* и греч. *тó-те* (в связи с параллелизмом *\*sól/-se* и *\*tó/-te*)]. Видимо, здесь мы имеем дело лишь со сближением изначально конкурирующих элементов.

Другими членами этого класса, на которых мы здесь не будем специально останавливаться, являются эмфатическое *\*óm/-em*, часто встречаемое после местоимений, и модальное 2. *\*kóm/-ken* (отличное от частично омофонного 1. *\*kóm* "с", которое относится к полному/нулевому классу: ср. *\*kṛ-ti*; это разделение можно найти уже у Бругмана [1, II, с. 851—856]).

4d. Аблаут полной/нулевой ступени был установлен очень давно и поэтому считается само собой разумеющимся. Однако многие часто цитируемые примеры чередований в наши дни следует коренным образом пересмотреть.

4di. Важными для нашего исследования являются локативные наречия *ep-i/p-i*, *áp-o/p-o* (соответствующее *\*ti* < *\*é-ti* не существует в связи с различиями в морфемной границе), *\*sóm/sm* "вместе с"; 1. *\*kóm/kṛ-* "(вместе) с" *\*én/ṇ-* "внутри"; конечно, сюда же относится поздней.-е. отрицательная частица *\*né/ṇ* (из средне.-е. *\*nō/ne*).

4dii. То, что лингвист исключает из рамок своего исследования, для заключительных стадий анализа может быть в той же степени полезным, как и то, что он в свой анализ включает. Некоторые мнимые частицы, которые часто приводятся в научной литературе как примеры количественного аблаута, следует исключить из нашего материала. К примеру: инд.-иран. *ádhi/dhi* (эпическое *dkṛṣṭhita-*) или *abhi/bhi* (вед. *bhiśáj*); в этих формах не представлен полный/нулевой аблаут; налицо лишь различия между цепочкой частиц и простой частицей, т.е. *\*e/o-dhi* и *\*e/o-2.bhi*. Построение В. Шульце *\*éni/ni* также должно быть исключено, так как *\*én/ṇ-* обозначает "внутри", в то время как *\*nej/ni* значит "прочь". Несмотря на тот факт, что первое, без сомнения, может расширяться посредством *\*-i* (греч. *ἐνί*, вед. *ánika-*), семантика "внутри" все же существенным образом отличается от семантики "прочь", что не дает возможности подвести эти частицы под один знаменатель [25, с. 350—351]. В то время как *\*po*, нулевая ступень чередования от *\*ápo*, по всей вероятности, встречается в хет. *pe-* "прочь" (*\*po-i*) и в форме *\*po-s-* "позади", все же ее нельзя вывести из *\*pó-ti* "против, прочь" (форма *\*proti* возникла в результате контаминации с *\*pró*).

4diii. Качественный аблаут. От вышеупомянутых сильных форм аблаута на *\*ó/e* чередования на *-o* отличаются ударением и местом в парадигме. Примерами безударного аблаута на *-o* могут служить формы *\*opi*, *\*opo*, *\*sóm*.

## 5. Синтаксис: Комбинации частиц друг с другом.

5a. Структура слова. Обычно говорят, что грамматически правильно образованное и.-е. слово должно обязательно содержать корень и окончание (окончание может быть и нулевым); в его составе могут также быть один или более суффиксов. Итак, мы подходим к классической формуле структуры

слова:

$$\text{СЛОВО} = \text{K}(\text{C}_{1..x}) + \text{O}$$

Но эта известная формула является неполной, потому что в языке, как мы уже видели, существуют частицы. Дистрибуция частиц весьма своеобразна: они никогда не могут замещать в слове ни один из трех других классов морфем, но могут быть либо в начале, либо в конце слова. Практически это означает, что частицы стоят либо перед корнем, либо после окончания. Таким образом, они не взаимозаменяемы с другими классами морфем. Поэтому более полную формулу можно представить в следующем виде:

$$\text{СЛОВО} = (\text{Ч}+) \text{K}(\text{C}_{1..x}) + \text{O}(\text{Ч})$$

Эта каноническая последовательность морфем для существительных, прилагательных и глаголов позволяет сделать выводы относительно возможностей, метаанализа. Например: вследствие своего центрального положения в слове класс С чаще остальных классов участвует в процессах переосмысления значения слова и передвижения границ между морфемами в слове.

5б. Цепочки частиц. Частицы отличаются от других классов морфем главным образом тем, что, попадая в положение под ударением (в отличие от корней, суффиксов и окончаний), они могут сами по себе образовывать самостоятельные полнозначные слова (например, \**pró*). Именно поэтому следует привести еще одну, совершенно отличную от приведенных выше, формулу структуры слова:

$$\text{СЛОВО} = \text{Ч}$$

Класс Ч может обладать рекурсивностью, т.е. повторяться, — это свойство, кроме частиц, отмечается лишь у суффиксов (весьма частотна последовательность "окончание + серия окончаний"; однако эта последовательность восходит к гиперхарактеризации, сопровождающейся утратой части значения). Одна и та же частица может повторяться:

$$\text{СЛОВО} = \text{Ч}_1 + \text{Ч}_1,$$

к примеру, у Гомера *própro*, вед. *prá-pra*, хет. *parā parā*. Если ударной является только первая часть слова, то такое построение называется итеративным композитом (*āmređita*). Наиболее древние конструкции *āmređita* еще подвергаются аблауту (\**apo-po*, \**nd-ne*), более поздние, однако, аблауту не подвергаются (\**própro*). Если бы этот тип композитов восходил к наречиям, мы имели бы дело с переходом формулы  $\text{СЛОВО} = \text{Ч}_1 + \text{Ч}_1$  в  $\text{СЛОВО} = \text{СЛОВО} + \text{СЛОВО}$ .

Но та или иная частица может комбинироваться и с совершенно другими частицами, а также с уже упоминавшимися выше группами особых неизменных окончаний (\**-dhi*, \**-ti*, \**-tos*, \**-ter*, \**-s-*, \**-r*, \**-o*). Мы имеем здесь дело с весьма своеобразной, недостаточно исследованной структурой слова, которую можно назвать цепочкой частиц:

$$\text{СЛОВО} = (\text{Ч}+) \text{Ч}(\text{O}_2)(\text{Ч})$$

Наиболее известными примерами являются: вводная частица \**nú ken* и конъюнктивные (союзные) частицы \**h<sub>2</sub>u-te*, \**h<sub>2</sub>u-k<sup>e</sup>e*; \**át-k<sup>e</sup>e* и \**át-h<sub>2</sub>o* [вед. *at-ha*, греч. (гом.) *át-ár*, лат. *at* < \**ata*]; местоименная частица *so/to(o)u-* (без ларингала). Структура  $\text{Ч} = \text{O}_2 = \text{Ч}$  встречается в хет. *kā-r-u* < \**ko-ru*, гот. *hiri* < *kī-r-ej*, др.-инд. *makṣú* < \**mok-s-u*, максимальная структура представлена в греч. *δε-ῶ-ρ-ο*.

Длина подобных цепочек не ограничена. До тех пор, пока хотя бы одна из частиц находилась в положении под ударением, все остальные могли оставаться энклитками, так как в индоевропейском число следующих друг за другом безударных слогов было неограниченным (целое и.-е. предложение должно было содержать лишь один ударный слог).

Число слогов, возможных в пределах одной частицы, также не является определенным. С чисто описательной точки зрения многие частицы являются односложными, но некоторые бывают и двусложными. Трехсложные несклоняемые формы нередко встречаются лишь в отдельных диалектах, однако не представляется возможным проследить их историю в индоевропейском: большинство из них являются по сути комбинациями из нескольких частиц, т.е. вторичного происхождения. Гипотеза об изначальной односложной структуре частиц привела бы к необходимости признать, что все двусложные частицы являются фактически производными (т.е. представляют собой цепочку частиц). Это, однако, будет преувеличением; двусложные частицы, не поддающиеся анализу, встречаются редко.

Среднеиндоевропейский период был особенно продуктивным в образовании агглютинирующих цепочек частиц. В анатолийском вводные цепочки частиц были еще довольно жизнеспособными, и потому их анализ не представляет больших затруднений: хет. *nu=wa=šmaš=(š)ta*, *mānn=a=wa=mu*, *kinun=ma=wa=tu=za...* Сопоставимые формы встречаются в позднейиндоевропейском в большинстве случаев в виде окаменелых местоименных корней [39, с. 266—275; 40; 16; 37, примеч. 42, с. 169 и сл.] или наречий. С другой стороны, в отдельных языках появилось новое "поколение" цепей частиц, например, в греч. (гом.) *εἰ δέ, ἐνθ' ἧ τοι τοὺς μὲν, ὄφρ' ἄν μὲν κεν, ἧ ῥάνυ, ὅβ γάρ πώ ποτέ μοι*; вед. *acha sma nah, dd id u, mo sú, tvāná < tú vaí evá* и т.д. О некоторых принципах комбинирования частиц друг с другом писали, в частности, Д. Монро, Й. Вакернагель и Э. Ларош; однако тема эта до сих пор полностью не исчерпана. Только на основе детального и кропотливого исследования каждого отдельного случая можно добиться успеха.

Сравнение этих независимо развившихся друг от друга и весьма различных в отдельных языках цепочек частиц возвращает нас назад к очень древним группам типа: *\*nú ken*, *\*át nu*, *\*át egh₂*, *\*át tuH*. Однако если обратиться к некоторым комбинациям местоименных основ и наречий в позднейиндоевропейском (в настоящее время вне рассмотрения должны остаться цепочки частиц, которые представлены в виде окаменелых союзов: лат. *denique, don, cum*, греч. *μεσποδι, ἔμπροσθεν, αὐτάρ, διαμλερές*, хет. *ma-an > mān, kuit-man, mahh-an-da, katt-an-da*; скр. *tāddā-n-īm* и т.д.), принадлежность их к среднеиндоевропейскому становится сомнительной. Если мы не ограничим исследование рассмотрением только форм, поддающихся сравнительной реконструкции, но примем во внимание также и "спроецированные в обратном направлении" последовательности частиц, то исследуемые структуры существенно расширятся. Особенно интересна последовательность рядов с измененным положением членов.

Местоимение / Частица + *\*ke/i* осск.  
*iz-i-k, id-l-k, f. fū-k*  
лат. *hi-ce*

*\*ke/i* + Местоимение / Частица прагерм.  
*\*xai- < \*ko(i)-i* прагерм. *\*xina- < ke-no* [37, примеч. 42, с. 173, 177] греч. *ἐκεῖνος < \*e +*  
*+ ke(i)-eno* осск. *eks-, ex < \*e + ke-so* литов.  
*štas < \*ki-to-*

(Наречия)

лат. *si-c < \*sej-ce*; др.-лвт. *sā-c(e)*  
лат. *nun-c(e)*

лат. *ce-do*  
хет. *ki-nun*

Местоимение / Частица + *\*tō/-te*

греч. *ὄν-τος τοῦ-το < \*so-h₂-to-*  
мик. *to-to (āmredita)*  
лат. *is-te*; 2 л. ед.ч. *tū-te*  
литов. *štas < \*ki-to*

*\*tō/-te* + Местоимение / Частица

греч. *tḗνος < \*te-eno*

(Наречия)

хет. *na-tta < \*\*nō-te*  
др.-инд. *utá*, греч. *αὐ-τε < \*h₂u-te*  
греч. *δ-τε, πό-τε*

хет. *ta-kku < \*tō-k²e*  
гот. *þau < \*tō-h₂u*  
греч. *τό-τε < \*tō-te*

Местоимение / Частица + *só/-se*:  
лат. *ip-se* < \**is-se*, *ille* < \**ol-se*  
рун. *sa-si pat-si*, др.-англ. *pes* < \**so/to-se*

\**só/-se* + Местоимение / Частица  
греч. *ο-ὄτος*

галльск. *so-ov*  
оскск. \**e-ke-so-*  
хет. *našši*

прагерм. *sa-i* [37, примеч. 47, с. 182 и сл.]

5с. Сети частиц (сосюровские "ассоциативные и парадигматические отношения"). Анализ сетей частиц или их "вертикального и горизонтального сцепления" дает возможность выявить точки соприкосновения частиц, их эквивалентные формы, взаимозаменяемость частиц, а также значения этих морфем, трудно поддающихся исследованию. Приведем два примера.

5с1. Соединения вводных частиц с союзными:

"нет"	* <i>ne-kʷe</i>	* <i>ne-h₂u</i>	* <i>ne-h₂ukʷe</i> (нем. <i>noch1</i> )
"сейчас"	* <i>nú-kuʷe</i>	* <i>nú-h₂u</i> (в Ригведе <i>ná</i> )	* <i>nú-h₂ukʷe</i> (нем. <i>noch2</i> )
"тогда"	<i>tó-kʷe</i> (хет. <i>takku</i> )	* <i>tó-h₂u</i>	* <i>tó-h₂u-kʷe</i> (нем. <i>doch</i> )

Случай, отклоняющиеся от общего правила:

(запретит).	* <i>mé-kʷe</i>	* <i>mé-h₂u</i>	* <i>mé-r</i>
"но"	* <i>át-kʷe</i>	* <i>at-h₂o</i>	* <i>at-r</i>
"и"	* <i>kʷó-kʷe</i>	* <i>kʷe-h₂u</i>	* <i>kʷe-r</i> (или * <i>kʷó-r</i> ??)

дают возможность допустить существование союзного \**r* (ср. палайское эмфатическое *-kuwar* и греч. *átar* [37, примеч. 7]), совершенно отличного от наречного или локативного \**-r* (лат. *quor, sur*, литов. *kuř* и герм. *hī-r* [41, с. 139]). Она также позволяет, вопреки мнению Хэмпса о происхождении литов. *if* (дейктическое \**-i* плюс локативное \**-r*), истолковать его согласно более старой этимологии — непосредственно из союзного \**r*. Естественно, ни локативное, ни союзное \**r* не имеют никакого отношения к \**-r* в медиальных окончаниях.

5с11. Наречное 0: \**-s*: \**-n*. Не все возможные сети частиц на синхронном уровне следует принимать всерьез. Приведенный ниже материал показывает, что можно говорить об отношениях эквивалентности между наречными расширителями нуль, \**-s* и \**-n*:

Локативное наречие	лат. <i>pri-or</i>	<i>pri-s-cus</i>	πριν
* <i>ni</i>	вед. <i>ni, vo</i>	---	<i>nūn-ām, vūn</i>
Мультипликат. суф.	- <i>aki</i> * <i>dʷi-</i>	- <i>akis</i> * <i>dʷis</i>	* <i>akiv</i>
Окончание I л. мн. числа актива	* <i>-me</i>	лат. <i>-mes</i>	др.-инд. ( <i>dʷim-sat-</i> )
Твор. пад. мн. числа	- <i>φi</i>	- <i>bhis</i>	греч. <i>-μεν</i>
Местоимение в дат. пад.	ἄμιν	---	- <i>φιν</i>
мн. числа I л.			ἄμιν
* <i>h₂oju-</i>	ἄνυ, οἷ	<i>dʷyus-</i>	ἀεί, ἀιές, αἰών, αἰέν

Наречное \**s* присоединяется не только к частицам, но и к именным и глагольным окончаниям; как в ранние, так и в более поздние периоды развития языка оно является довольно продуктивной морфемой. Материал же, иллюстрирующий параллельное наречное расширение \**-n*, далеко не однозначен. Например, \**nun* является обратным образованием от прилагательного \**nū-nō* [41, примеч. 6, 59], греч. *αἰών, αἰέν* также являются обратными образованиями от локатива на \**-en*. В чередующемся окончании I л. мн. ч. \**men*/\**-mṇ* элемент \**-n* был постоянным, ср. хет. *-tanī* др.-инд. *ta*. Вывод: для индоевропейского можно постулировать наречное *s*, но не наречное \**-n*.

## 6. Относительная хронология.

К сожалению, рамки нашего исследования не позволяют заняться подробным анализом хронологии развития частиц. Мы имеем в виду вопросы типа: относительная хронология различных связочных процессов; поддающихся датировке

универбизации, касающиеся частиц (*dividere, reciprocus...*); возникновение тройного деления функций наречий места (наречие, преверб, адноминал); перераспределение аблаутных классов отдельных частиц; переосмысления значений, произошедшие уже в индоевропейскую эпоху, и т.д. Все это совершенно самостоятельные вопросы, каждый из которых требует детального изучения.

Приведем лишь один пример. В рамках дейксиса *\*i/u* значения *\*-i* "hic et nunc" и *\*-u* "ibi et tunc" в результате флективных и словообразовательных процессов довольно далеко разошлось. Здесь мы имеем дело не со свободной цепью частиц, а с агглютинирующими морфемами-окончаниями типа форм род. п. мн. ч. *\*-o-n-s* и местн. п. мн. ч. *\*-o-i-s*. Эта подсистема должна была существовать в среднеиндоевропейский период, так как ее следы отмечаются в анатолийском индикативе/императиве (а также в хеттском локативе мн. ч. (*-as < \*-osi* [42, с. 193])).

	Нейтр.	Hic et nunc	Ibi et tunc
3 л. ед. числа	<i>*-i</i>	<i>*-i-i</i> (индикатив)	<i>*-i-u</i> (императив)
Тематич. локатив мн. числа	<i>*-ojs</i>	<i>*-ojs-u</i>	<i>*-ojs-u</i>
Наречие на <i>*-s</i>	лат. <i>tox</i>	греч. <i>βο-ι</i>	др.-инд. <i>maks-ú</i>
Наречие на <i>*-r</i>	лат. <i>cúr</i>	гот. <i>hir-i</i>	хет. <i>kár-u</i>
Местоимения	<i>*ós?</i>	хет. <i>aš-i/un-i</i>	вед. <i>as-áú/am-ú + m</i>
	<i>*só</i>	зап.-герм. <i>*sa-i</i>	греч. <i>ὀ-ῥ-τοϛ</i>

На этом можно было бы закончить наш краткий обзор грамматики частиц. В качестве практического применения нашей концепции мы остановимся на одной из все еще не решенных проблем в области грамматики местоимений.

## 7. Местоимение *\*so/to-*.

7а. Утрата в анатолийском или позднеиндоевропейское новообразование? Парадигма *\*só sá tod* со своеобразным распределением согласных *\*s, \*t* не встречается в анатолийском. Если исходить из концепции Стертеванта [43—44] о том, что мы имеем здесь дело с универбацией (по его терминологии, "конгломератом") вводящих предложение частиц, *\*só/se* и *\*tó* с энклитическим местоимением *\*-e/o-*, то отсутствие этой парадигмы в анатолийском было бы столь же убедительным, как и, наоборот, сохранение *kuenzi/kunanzi*. Если бы *só sá tod* было общей инновацией в позднеиндоевропейском, то это являлось бы неопровержимым аргументом в пользу раннего расщепления анатолийского<sup>9</sup>. Однако Коугилл, будучи сторонником индохеттской гипотезы, все же отклонил теорию Стертеванта в пользу гипотезы утраты местоимения *\*so/to* в анатолийском. Он писал: "Я не вижу никаких оснований считать, как это делает Стертевант, что неанатолийское указательное местоимение *\*só, \*sá, \*tód* возникло в результате комбинации вводных синтаксических частиц с энклитическими местоимениями, которые были сохранены без изменений в хеттском. В равной мере возможно, что местоимение *\*so/to-* существовало в праанатолийском, но было там утрачено, и что вводные синтаксические частицы в хеттском не имеют никакого отношения к его генезису" [47, с. 562].

Но все же обе эти гипотезы не равнозначны. Коугилл, в частности, не может объяснить ограничение на употребление местоименных корней *ša, ta* и *na* исключительно в позиции начала предложения. Но, с другой стороны, уже давно Вакернагель и Хирт предложили считать неизменяемое ведийское *sá* одной из разновидностей наречия, не имеющей никакого отношения к хеттскому [21, с. 258 и сл., с. 976, примеч.; 48, III, с. 13 и сл.; 26; 32, IV, с. 140 и сл.]. Против утвер-

<sup>9</sup> Это хорошо исследовано А. Гётце [45, с. 53]. Он писал: "До тех пор, пока не будет доказана ошибочность его [Стертеванта] аргументации, я считаю его доводы решающими для обоснования индохеттской гипотезы". В [46, с. 60] читаем: "От этой аргументации не следует так легко отказываться, как это до сих пор делалось".

ждения Коугилла говорит также и появление самостоятельных форм *ta* и *ži* без каких-либо местоимений (тип *ta=še žarniki* "он заменяет [это] для него"), опять-таки только в начале предложения. Таким образом, парадигму *\*so/to* нельзя, с нашей точки зрения, рассматривать ни как единую, ни как не подпадающую анализу: мы имеем здесь дело с цепочкой частиц. Многообразие форм частицы *\*so* мы уже установили выше.

7б. Энклитика *\*e/o-* в формах именительного-винительного? Большой проблемой при разработке теории Стертеванта в ее первоначальном виде был тот факт, что местоименный корень *e/o* поддается реконструкции не в прямых, а лишь в косвенных падежах, в тех случаях, когда этот корень функционирует в качестве супплетивной формы к *\*eḷ/i: \*eḷ \*im \*esḷo \*esmēḷ*. Можно попытаться разрешить эту проблему разными способами. Можно, в частности, восстановить среднеевропейскую парадигму *\*os \*om \*od* на основе хеттских форм *aš-an-at* (энклитики), *aš-i un-i* (ортотон); вед. *as-áu am-ú + m* "ad-ás" (собственно *\*ad-áu*, ср. иран. *\*au-at*) и др.-лат. аккузатив *em*, с усилением (*verstärkt em-em* (как *id-em*). В связи с этим Стертевант указывал, что "нет ничего странного в том, что индоевропейский утратил энклитическое *\*-os*. В связи с тем, что *\*so \*sā \*tod* взяли на себя функцию местоимения, необходимость в соответствующей энклитике отпала" [43, с. 17]. Однако как в таком случае следует понимать отношение этого местоимения в *\*eḷ \*im \*id* и его функциональное отличие от них?

Другой трудностью объяснения *\*-e/o* в форме прямого падежа является необходимость привлечения для этого различных параллельных гипотез в целях объяснения возникновения краткого корневого гласного в *\*so/to-*: ни элизия, ни сокращение, например, не могли обусловить переход стяженного *\*íḷ + om* в краткое *\*íḷm*.

Я считаю, что этот краткий гласный — не следствие элизии, стяжения или сокращения, а результат непосредственного присоединения окончания к частице: вин. п. ед. ч. муж. р. *\*to + m*, им. п. ед. ч., ср. р. *\*to + d*, им. п. мн. ч., муж. р. *\*íḷ + j*, им.п. ед. ч., муж. р. *\*so + 0*; вин.п. ед.ч. муж. р. *\*se + 0*; дат. п. ед.ч. *\*so + j*, им. п. ед. ч. жен. р. *\*se + h<sub>2</sub>, \*si + h<sub>2</sub>* и т.п. Именно поэтому добавление местоимения *\*e/o* в формах им.-вин. падежа является совершенно излишним<sup>10</sup>. В данном случае теория Стертеванта упрощается: не возникает необходимости в новом местоимении или в стяжении, наличие которых требует дополнительных гипотез.

7с. Позднеиндоевропейское распределение *\*s, \*z* нельзя считать таким абсолютным, как может показаться при рассмотрении формулы *\*sḷ šḷ íḷd*. Отклонения в отдельных языках не могут поколебать эту реконструкцию. Обобщение корня *\*t* в косвенных формах и в среднем роде представлено в балтославянских формах муж. и жен. рода им. падежа ед. числа: *\*tos, tā*, в лат. *is-te* по аналогии с *is-tud*<sup>11</sup>; в зап.-герм. *der, die* (др.-в.-нем. *der, diu*). Обобщенный корень *\*z* встречается часто, несмотря на то, что *\*s-* не очень частотен в парадигме: в греческом (кроме дорийского и северо-западного диалектов) представ-

<sup>10</sup> Я бы скорее объяснил *\*os* на основе аналогии. Если исходить из хеттского наречия *kuwat* (в противоположность парадигматическому *kuit*), то в соответствии с нашими исследовательскими принципами *\*k<sup>h</sup>od* нужно признать исконным. В этом случае *\*k<sup>h</sup>id* можно истолковать как аналогическую форму к корню *\*k<sup>h</sup>i-*, выражающему одушевленность. Вопросительно-неопределенное *\*k<sup>h</sup>o/k<sup>h</sup>i* было в основном параллельным дейктическому *\*eḷ/i-* (ср. оформленный подобным же образом им. п. ед. ч. *\*eḷ* и *\*k<sup>h</sup>oi*). Подобно тому, как *\*k<sup>h</sup>od* соотносится с *\*k<sup>h</sup>is \*k<sup>h</sup>im*, могла, видимо, существовать и форма ср. р. *\*od* наряду с *\*is \*im*. По аналогии к этому *\*od* были образованы формы муж. р. *\*os \*om* в хеттском и ведийском.

<sup>11</sup> Или *iste* < *\*is-te*, ср. — с обычным параллелизмом *\*sḷ* и *\*íḷ-*, *\*is-se* < *ipse* (с промежуточной формой *eum-p-se*)?

лены формы им. падежа мн. числа *oi, ai* ([20, с. 610 и сл.]<sup>12</sup>, в кельтском находим \**s-* во всех родах и падежах указательных и эмфатических местоимений [34, § 368—370; 35, § 482; 50, с. 219—223].

Важным представляется материал лытыни и ведийского. Встречаемые девять раз в Ригведе *sásmín áhan údhan* в "Altindische Grammatik" [52, III, с. 542 и сл.] объясняются как "индивидуальные подражания" форме *tásmín* (встречается 22 раза). Однако с одной стороны, эту форму можно рассматривать как тмезис от "*samásmin*" (т.е. первоначально "в тот же день") [51, с. 204, примеч. 189: ссылка на Ригведу 10.95.11], а с другой стороны, это форма, должно быть, очень древняя. Таким образом, необходимо принять во внимание все источники возможного происхождения формы *sásmín*: она является одновременно как унаследованной, так и инновацией (среднеиндийскую форму им. падежа мн. числа *se* "té" (при *tāo*="tās") Вакернагель объяснял на основе обобщения форм ед. числа: *se* возникло из *sáh* [21, с. 391 и сл.]).

Древнелатинские формы вин. падежа *sum sam sōs sās* (Ennius. Annales; XII Tabulae) прежде также толковались как новообразования. В "Древнеиндийской грамматике" [53, III, с. 543] говорится, что эти формы "наверняка не имеют ничего общего с лат. *sum sōs sās*". Но я, впрочем, не особенно в этом уверен (см. об этом ниже § 7e).

7d. Выше мы подробно остановились на особенностях различных частиц в отдельных языках, существуют и очень древние формы на \**s*. Помимо сохранившейся формы им. падежа \**só, \*sd* (категория одушевленности) в праязыке существовали, по всей вероятности, и другие формы с начальным \**s-* [53, с. 471, 481; 1, II, 2, с. 390; 40, с. 146 и сл., 164 и сл.; 50, с. 224 и сл.; 16, с. 75 и сл.]. Моя точка зрения совпадает с основными концепциями названных ученых по двум главным пунктам: 1) существовало личное местоимение 3 л. ед. числа, безразличное к категории рода и начинавшееся на \**s-*; 2) возвратная функция этого местоимения, и в частности возвратная форма на \**su-*, развились из этого последнего местоимения [Только Вакернагель придерживался обратного мнения, считая возвратное \**syē/o-* исконным, а его переосмысление в анафору (как и упрощение анлаута \**syē* > \**se*) — вторичным [21, с. 555 и сл.], Дельбрюк [53, с. 470 и сл.; с. 478 и сл.] придерживался мнения, что анафорическое \**so* и рефлексивное \**syō* являются первичными (uralt) и не родственными друг другу.] Безусловно, не исключены были и различного рода поздние контаминации, как, например, в латинском и греческом.

Моя точка зрения, однако, существенно расходится со взглядами вышеупомянутых ученых в следующих двух пунктах: 1) характер парадигмы указанного местоимения 3 л. ед. числа на *s-* и 2) его "соотношения" с указательными формами \**so/to*.

7di. На основе следующих фактов можно постулировать наличие энклитической формы дат. падежа ед. числа \**soj* [53, с. 470 и сл.; 478 и сл.; 1, II, 2, с. 319 и сл.; 40, с. 146—147; 16, с. 75]; греч. анафорич. *oi* (в основном энклитическое и без дигаммы) наряду с возвратным *foi* (в большинстве случаев ортоническим и с дигаммой) [53, с. 481 и сл.; 20, с. 607, прим. 6; 40, с. 146]; иранские формы анафорического дат.-вин. падежей \**haij* (др.-авест. *hōi*, нов.-авест. *hē/šē*, др.-перс. *saiy*); праkrit. *se*. Последнюю форму можно рассматривать, конечно, и как внутренне-индийскую ([52, с. 484 и сл.]; Шеллер придерживается старой концепции, согласно которой праkrit. *se* выводится из формы род. п. *asya*, но ничего не говорит о греческих или хеттских соответствиях [54]); мне кажется, однако, что этого делать не следует. С точки зрения сравнительного анализа мне представляется нецелесообразным полностью исключать возможность существования инд.-иран. \**saij*. Наконец, хет. *-šī* (по аналогии с *-šī* в хеттском образованы

<sup>12</sup> Риш считает географическую классификацию Швицера "нудной" ("irritierend") [49, с. 281, примеч. 34]).

формы род. п. *śel*, дат.-местн. *śetani*, аблат. *śez* [55, с. 63—67; 40, с. 162]) выступает в функции дат. п. ед. числа по отношению к энклитической форме *-aś, -an, -at*<sup>13</sup>.

Таким образом, форма *\*soj* функционировала как энклитическая анафорическая форма, т.е. как безразличная к падежу форма дат. падежа к форме *\*só* [53, с. 471; 1. с. 319 и сл.]. Наряду с ортогонической формой *\*tósmēi* она в определенной мере была параллельна форме *\*moj*, существовавшей бок о бок с более протяженными ударными формами *\*mé-ghī* и *\*ioj vs. \*tū-bhi*. Аблатив местоимения *\*so/to* обладал как расширенной формой *\*tósmōd*, так и сокращенной *\*tōd*, хотя оба варианта начинались на *t-* и были под ударением.

7dii. Формы им. падежа ед. числа жен. рода *\*si-h₂* (параллельно с формой *\*se-h₂* [53, с. 469 и сл.; 1, с. 321; 54, примеч. 73; 40, с. 147; 16, с. 76 и сл.], гот. *is si ita* и др.-иран. *(h)és st (h)ed*) обнаруживают, как это уже отмечалось в § 4b, форму *\*sī*, проникшую на место формы жен. рода *\*ih₂* (вед. *iy-ám*) в парадигме *\*eī-/i-*.

Форма *sīm* в Ригведе по происхождению является формой вин. падежа ед. числа жен. рода. По образованию она параллельна *īm*, но восходит к тому же корню, что и *sā*. Утверждения о том, что эта форма "безразлична к роду и числу" [56, s.v.; 52, с. 482 и сл.], сильно преувеличены. Из 49 достаточно ясных случаев видно, что подавляющее большинство из них — формы жен. рода<sup>14</sup>:

	Муж. род	Жен. род	Ср. род
Ед. число	14	11	3
Мн. число	2	10	1
Дв. число	—	8	—
Всего	16	29	4 (неясных случаев 3)

Гораздо более важным, чем чисто статистические подсчеты, представляется тот факт, что использование форм жен. рода является исходным пунктом расширения сферы "безразличного к роду и числу" употребления. Неразличение числа берет свое начало с форм двойственного числа жен. рода: семь мест восходят к *ródasī* или *dyāvārṣthivī*, один случай — к *usásā* [в значении "утро (и ночь)"], т.е. к форме жен. рода дв. числа. Вследствие развития подобных процессов и форма *sīm* расширяет диапазон своего употребления и начинает использоваться в языке сначала как форма жен. рода мн. числа (реки, гимны, богини), а потом — и как формы других родов.

Мы рассмотрели происхождение и распространение формы *sīm*; однако эта форма в синхронии парадигматически и формально соотносится с *sā*. Встречаются трансформации, в которых *sīm* в активе замещается формой *sā* в пассиве, например: "они ведут его (Агни) вокруг" параллельно с "он обводится вокруг" (в гимнах Агни):

1.95.2d *virócamānam pári sīm nayanti*

3.2.7c *só adhvardya pári ṇīyate kavīr*

4.9.3a *sā sādma pári ṇīyate*

Форма *sīm* одновременно является и энклитическим вариантом в неначальных позициях слова, начинающегося на *ta-*.

6.48. 4c. *arvācaḥ sīm kṛṇuhy agnē 'vase* (а Агни) "Склоните их (богов: в стихе *a*) к (сотворению) помощи"

1. 164. 19b *yé párdhīcas, tdn' u arvāca dhuh* (к Висве Девас): "Кто уклонился, тех называют склонившимися"

<sup>13</sup> Весьма сомнительно утверждение, что *śe* могло выступать в качестве простого местоимения, т.е. *ta-śe* как *ta-aś, ta-an* и *śa-śe* как *śa-aś, śa-an*; согласно гипотезе Стертеванта, речь здесь может идти о сочетании частицы с местоимением (или, согласно моей концепции, частицы с окончанием). Универбиация и энклитический характер формы *\*so-ī* в этом случае, видимо, относятся к очень раннему периоду.

<sup>14</sup> Я критически пересмотрел приводимые Грассманом [52] примеры, поскольку его интерпретация в какой-то части весьма спорна.

10. 38. 4cd *t á m...srutám náram / ar v.ñcam índram dvase karāmahe* (к Индре) "Этого ... великого героя Индру мы склоним к [сотворению] помощи".

Нечто подобное можно наблюдать и в Авесте: везде можно встретить ударные вводные формы на *ta-*, перемежающиеся с энклитическими формами на *hi-*:

Yt. 5. 17—18: *təm [= arəduuīm sūrəm anāhitəm] yazata yō daduuā ahurō mardā ... āaṭ hīm jaiḍiiaṭ* "Ей [Ардвисур Анахите] создатель принес в жертву... И он попросил ее..."

Yt. 15. 39—40: *təm yazənta kainina ... āaṭ hīm jaiḍiian* "Ему (успеху) приносят в жертву девушек... И они попросили его..."

Yt.8.40: *tā tištriūō tauruuaiieiti, vīuuāiti hiš zraiiṇḥaṭ haca vouru. kasāt* "Он (Пайрикас) пересиливается Тистрия, он преследует их от моря Воурукаса"

В одном из мест Ригведы, видимо, обнаруживается даже энклитический им.п. *\*sī*, хотя и в испорченной форме:

4.30.11 *etād asyā ānaḥ śaye  
sūsampistam vīpāsy d  
sasdra śim parāvātaḥ*

большинство переводчиков передают *śim* как эмфатический номинатив: "Эта ваша повозка лежит вся раздробленная и разрушенная в Випаш. Она убежала вдаль..." (К. Хофман); "... она (сама) убежала вдаль" (Гельднер); "... сама она исчезла вдали" (Х. Ольденберг).

Для того чтобы получить удовлетворительное описание и.-е. формы *\*siH-*, необходимо четко ответить на три вопроса. Два первых — откуда начальное *\*s-* и корень *-i-* — обычно рассматриваются вместе.

Бругман высказал предположение, что *\*sī* чередуется с *\*sīā* корня *\*sjo/tjo-*. Это не исключено, но все же представляется маловероятным, так как хорошо сохранившийся в индийском (ср. встречающуюся в Ригведе форму *śya/tya-*; сюда не относятся *haya*, *taya*, которые следует понимать как двусложные [49, с. 655 и сл.]), германском (иначе у Г. Клингеншмитта [37, примеч. 42, 183]), литовском и древнеирландском корень *\*sjo/tjo* никогда не обнаруживает подобного аблаута. По своей этимологической структуре (адъективное производное на *\*-jo-* от корня *\*so/to-*) он был невозможен.

Некоторые ученые полагают, что в ведийском протетическое *\*s-* присоединялось к указательному *\*ej/i-* либо вследствие перемещения границы слова (*nis im > niśim*) (как в авест. *dim* или греч.  $\mu\nu$ ; об этом ясно сказано у М. Шеллера [54, примеч. 73]), либо вследствие контаминации (*im*  $\times$  дат. пад. *\*se=sim*) [5, s.v. *sim*]; это явление возможно уже в праязыке, причем реализовывалось оно опять-таки посредством контаминации (*\*-ih<sub>2</sub>-*  $\times$  *\*sō=sih<sub>2</sub>-*) [16, с. 77 и сл., 82; 50, с. 212, 223]. В последнем случае слишком большое внимание уделяется германскому и кельтскому синкретизму (*\*sī* в парадигме *\*ej/i-*) и оставляются без внимания другие формы на *\*s-*.

Некоторые другой путь решения этой проблемы предложил Г. Шмидт; он восстанавливает парадигму им. падежа *\*siH* и вин. падежа *\*ti* на основе анатолийских возвратных частиц и утверждает, что эта парадигма отдаленно родственна форме *\*sō \*tōtm* [40, с. 149 и сл., 164]. Но его подход оставляет без рассмотрения вопрос о том, почему форма *\*sī* всегда жен. рода.

Третий вопрос — почему *\*-ī-* долгое — также по-разному решается разными исследователями. Ф. Шпехт предположил удлинение односложной формы (*\*sim > \*sūm*). Но краткое *\*i* представлено только в древнеперсидском. Бругман предполагает существование *\*h<sub>2</sub>-* с собирательным значением. Однако неразличение рода и числа, на котором основан этот тезис, как мы видели, является хронологически достаточно новым. Г. Шмидт полагал, что *\*-H* — это окончание им. падежа, как в формах *\*eḡH* и *\*tuH*. Но это предположение также не дает ответа на вопрос — почему *\*sī* жен. рода. Ларингальный, таким образом, является одним из показателей жен. рода — *\*-h<sub>2</sub>* (так у Дельбрюка, Вакернагеля и Зебольда), а не *\*-h<sub>3</sub>*, как у слов со значением "я" и "ты".

Свою собственную точку зрения я могу кратко сформулировать следующим образом: форму *\*sih<sub>2</sub>* надо рассматривать как изначальную форму жен. рода указательного корня *\*si-*, которая супплетивна по отношению к *\*só*. Моя точка зрения существенно отличается от всех вышеизложенных. Я считаю, что форма *\*si-h<sub>2</sub>-* непосредственно соотносится с *\*so*, подобно тому, как это наблюдается в отношении *\*k<sub>1</sub>i-* и *\*k<sub>2</sub>o-* [40, с. 148].

7diii. Форма аккузатива *\*se* соотносится с греч.  $\acute{\epsilon}$  (в отличие от возвратного  $\acute{\epsilon}$ ) и представлена в различных образованиях с расширителями типа др.-лат. *sē-d*, оскск. *siom* < *\*se-om* *\*sē-om*, русск. *-ся*, церк.-слав. *se* < *\*sē-m*, гот. *si-k* < *\*se-ge*.

Большинство исследователей единодушно считает, что возвратные функции этих форм являются вторичными и развились из 'исто анафорических [такого мнения придерживались Дельбрюк, Бругман, Г. Шмидт, Зебольд; только Вакернагель высказывал противоположную точку зрения (см. выше)]. Но анафорическая форма — это на самом деле лишь ослабленная указательная. Именно поэтому мы пытаемся рассматривать эти *s*-формы вместе с местоимением на *\*so/to*.

Представляется, что аккузатив *\*se* находился в акцентно-трансформационном соотношении с *\*tom*. То, что мы выше говорили об арийском *sīm* наряду с *sá*, *tām* и *tám*, вполне относится и к гомеровскому греческому  $\acute{\epsilon}$ , существовавшему бок о бок с  $\tau\acute{o}\nu$  и  $\tau\omicron\upsilon\varsigma$ . Приведем примеры из "Илиады": энклитика в 2.197  $\phi\acute{\iota}\lambda\epsilon\tau\ \delta\acute{\epsilon}\ \acute{\epsilon}\ \mu\eta\tau\acute{\iota}\epsilon\tau\alpha\ \epsilon\upsilon\varsigma$  и 10.245:  $\phi\acute{\iota}\lambda\epsilon\tau\ \delta\acute{\epsilon}\ \acute{\epsilon}\ \text{Παλλ}\acute{\alpha}\varsigma\ \text{Ἀθ}\acute{\eta}\nu\eta$  представлена вместе с находящимся под ударением местоимением в 16.94:  $\eta\ \mu\acute{\alpha}\lambda\alpha\ \tau\omicron\upsilon\varsigma\ \gamma\epsilon\ \phi\acute{\iota}\lambda\epsilon\tau\ \acute{\epsilon}\kappa\ \acute{\alpha}\epsilon\rho\gamma\omicron\varsigma\ \text{Ἀπ}\acute{o}\lambda\lambda\omega\nu$ . Подобно этому 18.119:  $\acute{\alpha}\lambda\lambda\acute{\alpha}\ \acute{\epsilon}\ \mu\omicron\tau\rho\alpha\ \delta\acute{\alpha}\mu\alpha\sigma\sigma\epsilon\ \dots$  наряду с 5.106:  $\dots\ \tau\acute{o}\nu\ \delta\ \acute{o}\upsilon\ \beta\acute{\epsilon}\lambda\omicron\varsigma\ \acute{\omega}\kappa\upsilon\ \delta\acute{\alpha}\mu\alpha\sigma\sigma\epsilon\nu$  или опять 22.172—173:  $\dots\ \nu\upsilon\nu\ \alpha\upsilon\tau\acute{\epsilon}\ \acute{\epsilon}\ \delta\acute{\iota}\omicron\varsigma\ \text{Ἀχ}\acute{\eta}\lambda\lambda\epsilon\upsilon\varsigma\ / \acute{\alpha}\sigma\tau\upsilon\ \mu\acute{\epsilon}\rho\iota\ \mu\acute{\rho}\acute{\iota}\alpha\mu\omicron\iota\omicron\ \mu\omicron\sigma\acute{\iota}\nu\ \tau\acute{\alpha}\chi\epsilon\epsilon\sigma\sigma\iota\ \delta\acute{\iota}\omega\kappa\epsilon\iota$  наряду с 21.3:  $\dots\ \tau\omicron\upsilon\varsigma\ \mu\acute{\epsilon}\nu\ \mu\epsilon\delta\acute{\iota}\omicron\nu\delta\epsilon\ \delta\acute{\iota}\omega\kappa\epsilon\iota$ ; далее: 4.534:  $\omicron\acute{\iota}\ \acute{\epsilon}\ \mu\acute{\epsilon}\gamma\alpha\nu\ \mu\epsilon\rho\ \acute{\epsilon}\acute{o}\nu\tau\alpha\ \kappa\alpha\acute{\iota}\ \acute{\iota}\phi\theta\mu\omicron\nu\ \kappa\alpha\acute{\iota}\ \acute{\alpha}\gamma\alpha\upsilon\delta\acute{o}\nu\ / \acute{\omega}\sigma\alpha\nu\ \acute{\alpha}\mu\acute{o}\sigma\phi\epsilon\acute{\iota}\omega\nu\dots$  наряду с 2.744:  $\tau\omicron\upsilon\varsigma\ \delta\ \acute{\epsilon}\kappa\ \text{Π}\eta\lambda\acute{\iota}\omicron\upsilon\ \acute{\omega}\sigma\epsilon$ ; или 11.249—250:  $\dots\ \kappa\rho\alpha\tau\epsilon\rho\acute{o}\nu\ \rho\acute{\alpha}\ \acute{\epsilon}\ \mu\epsilon\nu\theta\omicron\varsigma\ / \delta\phi\theta\alpha\lambda\mu\omicron\upsilon\varsigma\ \acute{\epsilon}\kappa\acute{\alpha}\lambda\upsilon\psi\epsilon\ \kappa\alpha\sigma\acute{\iota}\gamma\eta\eta\tau\omicron\iota\omicron\ \mu\epsilon\sigma\acute{o}\nu\tau\omicron\varsigma$  наряду с 5.659:  $\tau\acute{o}\nu\ \delta\ \acute{\epsilon}\ \kappa\alpha\tau\ \acute{o}\phi\theta\alpha\lambda\mu\acute{o}\nu\ \acute{\epsilon}\rho\epsilon\beta\epsilon\nu\eta\ \nu\upsilon\zeta\ \acute{\epsilon}\kappa\alpha\lambda\upsilon\psi\epsilon\ \kappa\alpha\sigma\acute{\iota}\gamma\eta\eta\tau\omicron\iota\omicron\ \mu\epsilon\sigma\acute{o}\nu\tau\omicron\varsigma$  и 7.591:  $\tau\acute{o}\nu\ \delta\ \acute{\alpha}\chi\epsilon\upsilon\varsigma\ \nu\epsilon\phi\acute{\epsilon}\lambda\eta\ \acute{\epsilon}\kappa\acute{\alpha}\lambda\upsilon\psi\epsilon\ \mu\epsilon\lambda\alpha\iota\nu\alpha$  и т.д.

Если длина гласного является феноменом вторичным, то форма *\*se* очень напоминает безударный алломорф формы *\*só*. Частичная парадигма Зебольда — им. п. *\*só*, род. п. *\*se* [16] — имеет под собой, таким образом, серьезные основания.

7e. Комментарий. Противопоставление *\*s-*, *\*t-* не является ни непосредственно фонологическим (*\*t-* > *\*s-* или наоборот [57, с. 7 и сл.]), ни семантическим (противопоставление сильного дейксиса слабому [1, с. 314; 39, с. 267] или категории одушевленности — категории неодушевленности ([58, с. 188]; такое соотношение действительно существует, но носит не прямой, а косвенный характер [58, примеч. 94]); нельзя также привлекать для сравнения формы причастия активного перфекта *\*uos/ȳot* или слово *\*mēnos/t-* "луна".

Таким образом, возможным остается лишь противопоставление ортотонических и энклитических форм. Для указательных форм это не является показательным и характерным, но для личных местоимений это достаточно типично, как, к примеру, в ведийском аккузативе *tvām* наряду с *tvā*, в дативе *tū bhuyam* наряду с *te* и т.д.

За пределами номинатива основа распределения форм на *\*s-* и *\*t-* вполне ясен:

	Ортотонические формы	Энклитики/проклитики
Аккузатив ед. ч. муж. р.	<i>*tó-m</i>	<i>*se</i>
Аккузатив ед. ч. жен. р.	<i>*tḗ-h<sub>2</sub>-m</i>	<i>*si-h<sub>2</sub>-m</i>
Датив ед. ч.	<i>*tṓ-smo-ei</i>	<i>*so-i</i>
Аблатив ед. ч.	<i>*to-ad</i> , <i>*tṓ-smo-ad</i>	[лат. <i>sēd</i> ?

Коэффициент распределения этих форм действительно фонологический, но неожиданно обнаруживает супraseгментный характер: корень \*t- встречается в ударных слогах, а корень \*s, наоборот, при энклизе.

Если снова обратиться к древнелатинской форме аккузатива на s, то мы вынуждены будем отметить, что предложение с этой формы никогда не начинается; чаще всего эта форма следует в предложении сразу же за предлогом. По сравнению с *eum eam eōs eāg* она носит явно безударный характер, что, конечно, объясняется особенностями ее употребления на более ранних этапах языкового развития.

XII. Tab. 77: *ni sam delapidassint, quae volet iumenta agito*  
 Enn. Ann. 22: *constitit inde loci propter sos dia dearum*  
 Enn. Ann. 101: *nam sibi quisque domi Romanus halet sas*  
 Enn. Ann. 151: *circum sos quae sunt magnae gentes opulentae*  
 Enn. Ann. 219: *in somnis vidit priusquam sam discere coepit*  
 Enn. Ann. 356: *graios memorare solent sos*  
 Enn. Var. 3—4: ... *animo benigno circum sum*

Таким образом, мы окончили обзор форм косвенных падежей<sup>15</sup>. Однако формы им. падежа ед. числа на \*s, выражающие одушевленность, не укладываются в эту схему, так как они являются ударными. Тем не менее материал указывает на отдельные случаи безударности и у форм \*so, \*sā. Речь идет не столько о греческих формах ὁ, ἡ — они, естественно, являются проклитиками, — а скорее о форме τό и всей остальной парадигме<sup>16</sup>. Более важным представляется факт возможной церебрализации начальных согласных в ведийских формах: *sá, sá* [52, с. 54]. Не говорят *hí sómam*, а говорят *hí su, hí sim, hí sá*. Это свидетельствует в пользу существования более ранней энклитики. Древне-северная форма жен. рода *si* также указывает на развитие, которое возможно лишь в безударном положении.

Внутренняя реконструкция интересующих нас форм приводит к следующему выводу: и.-е. форма \*sā могла (с точки зрения ларингальной теории) произойти только из \*seh<sub>2</sub>, а не из \*soh<sub>2</sub>; форма \*se, как мы видели, является энклитическим алломорфом к \*só.

Изначально формы им.п. \*so, \*sā, \*sī, выражавшие одушевленность, были, по всей вероятности, безударными:

	Ортотонич. формы	Энклитики/проклитики
Им. пад. ед. числа муж. рода	—	*so
I'м. пад. ед. числа жен. рода	—	*se-h <sub>2</sub> *si-h <sub>2</sub>

В ударных формах им. падежа просто не было никакой надобности, так как на субъект в достаточной мере указывалось глагольными окончаниями. В позднейноиндоевропейский период долгие варианты форм \*so, \*sā были "инкорпорированы" парадигмой \*tō, а формы \*sī в диалектах — и парадигмой \*eī/i и в этих парадигмах уже вторично получили ударение.

Но почему возникла ударная форма на \*t- для ср. рода? Как только мы задаемся таким вопросом, мы тотчас же приходим к ответу: неодушевленные формы очень редко выступали в функции субъектов при переходных глаголах [60, с. 23 и сл.; 49, с. 734 и сл.]. Но если это все-таки происходило, то возникал уси-

<sup>15</sup> Некоторые наречия восходят к \*to-основе: речь идет о цепочках частиц типа \*tō-k<sup>h</sup>e (хет. *takku* "если", ср. \*dt-k<sup>h</sup>e) и \*tō-i "столько", а также падежных формах типа аккузатива \*tō-m "длящийся в течение определенного промежутка времени" (лат. *tum*, гот. *þan*), твор. п. \*tō-h<sub>1</sub> "так" (гом. τῆ), аблатива \*tō-ad "тогда" [гом. ὀτῶ(ς)]. Наречия на \*s, однако, также представлены [40, с. 160 и сл.], прежде всего в формах локатива \*se-i "в этом (случае)" и твор. п. \*sō-h<sub>1</sub> "так" [умбр. *zuzur* < \*sō-sō-r; др.-лат. *sōs*, греч. указательное ὅς, ὅδε наряду с относительным ὅς < \*jō- и сравнительным ἕως (< \*yo к \*ye- в др.-инд. *i-va* и лат. *se-u* < \*ke-iye); возможно, сюда же относится и микен. форма o-, вводящая предложение, если она обнаруживает частичное указательное значение].

<sup>16</sup> Ср. [20, с. 387]: различие носит чисто графический характер. Кипрское написание "нередко непостоянно" [59, с. 269].

ленный (ударный) дейксис. Неодушевленные формы, однако, употреблялись лишь со слабым (безударным) дейксисом (то, что Семереньи связывает \*s- с одушевленностью, а \*t- — с неодушевленностью [58, с. 188], с дескриптивной точки зрения вполне приемлемо, но с исторической выступает как вторичное явление). Это можно суммировать следующим образом: \*s- в эргативе, \*t- в среднем роде, во всех остальных случаях — обе формы.

Подведем итоги: там, где корни на \*s- встречаются в изолированном виде, они являются энклитиками (особенно в случаях типа: \*sīm, \*soj \*se), лишь только парадигматические формы \*sō, \*sđ бывают ударными. По всей вероятности, в какое-то время указательные формы имели энклитический эргатив, однако впоследствии (за исключением форм ср. рода ед. числа) существовал выбор: либо полная парадигма ударных форм на \*t-, либо частичная парадигма безударных форм на \*s-. Таким образом, ранние указательные формы стоят скорее ближе к системе личных местоимений.

7f. Еще некоторые нерешенные вопросы. Связь \*s- с энклизой, а \*t- с ортотонией — позднее явление в индоевропейском. В среднеиндоевропейский период \*sō и \*tō были контрастирующими частицами, употреблявшимися как вводные в предложении; они были так же семантически различны между собой, как \*né \*mē \*at \*jō. Согласно утверждению Стертеванта, \*sō употреблялось в том случае, когда не происходило перемены субъекта, а \*tō — в случае перемены субъекта. Еще один нерешенный вопрос: каким образом \*sō и \*tō семантически совпали и потом были переосмыслены как два варианта одной и той же формы, обусловленные лишь положением ударения? Предстоит еще исследовать сущность различий между энклитиками \*sā и \*sī.

Если моя небольшая работа привлечет внимание языковедов, особенно молодых, к той многообещающей области лингвистики, которой она посвящена, моя цель будет достигнута. Vivant, crescant, floreat investigationes indeclinabilium.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Brugmann K. Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. 2. Aufl. Bd II. 2. Leipzig, 1911; Bd II. 3. Leipzig, 1916.
2. Narten J. Das altindische Verb in der Sprachwissenschaft // Die Sprache. 1968. 14.
3. Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. 1. Bd. Bern—München, 1959.
4. Frisk H. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1960—1972.
5. Mayrhofer M. Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Heidelberg, 1956—1976.
6. Dunkel G. πρόσωα και όπισσω // KZ. 1982—1983. 96.
7. Dunkel G. A typology of metanalysis in Indo-European // Studies in Memory of Warren Cowgill/Hrsg. von Watkins C. B., 1987.
8. Dunkel G. Indogermanisch \*dt, vedisch dtha // Historische Sprachforschung. 1988. Bd 101.
9. Klein J. Toward a discourse grammar of the Rigveda. V. I. Pt. 2. Heidelberg, 1985.
10. Dunkel G. Laryngeals and particles: \*h<sub>2</sub>u, \*u, and \*au // Die Laryngaltheorie / Hrsg. von Bammesberger A. Heidelberg, 1988.
11. Melchert H.C. Studies in Hittite historical phonology. Göttingen, 1984.
12. Brugmann K. Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. 2. Aufl. Bd I. Strassburg, 1893.
13. Gauthiot R. La fin de mot en indo-européen. P., 1913.
14. Osthoff H. Morphologische Untersuchungen auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen. IV. Leipzig, 1881.
15. Specht F. Die Flexion der n-Stämme im Baltisch-Slavischen und Verwandtes. Exkurs II: Ein indogermanisches Dehnungsgesetz // KZ. 1931. 59.
16. Seebold E. Das System der Personalpronomina in den frühgermanischen Sprachen. Göttingen, 1984.
17. Kuiper F.B.J. The shortening of final vowels in the Rgveda. Amsterdam, 1955.
18. Szemerényi O. Syntax, meaning and origin of the Indo-European particle \*k<sup>w</sup>e // Festschrift für Gipper H. / Hrsg. von Heintz G. und Schmitter P. Baden-Baden, 1985.
19. Kurylowicz J. L'apophonie en indo-européen. Wrocław, 1956.
20. Schwyzler E. Griechische Grammatik. München, I — 1939; II — 1950.
21. Wackernagel J. Kleine Schriften. Göttingen, 1953.
22. Leumann M. Kleine Schriften. Zürich; Stuttgart, 1959.
23. Darms G. Schwäher und Schwager, Hahn und Huhn, München, 1978.

24. Dunkel G. IE hortatory \*ei, eite // Münchener Studien zur Sprachwissenschaft. 1985. 46.
25. Meillet A. Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes. 8. Aufl. P., 1937.
26. Starke F. Die Funktionen der dimensionalen Kasus und Adverbien im Althethitischen. Wiesbaden, 1977.
27. Beekes R.S.P. Lat. *prae* and other supposed datives in *-ai* // KZ. 1973. 87.
28. Hamp E. Avestan *aī, aīčā* // IJ. 1984. 27. S. 290.
29. Oettinger N. Stammbildung des hethitischen Verbms. Nürnberg, 1979.
30. Dunkel G. IE conjunctions: pleonasm, ablaut, suppletion // KZ. 1982—1983. 96.
31. Forssman B. Gr. πρόμνη, ai. *nimná-* und Verwandtes // KZ. 1965. 79.
32. Hamp. E.C. πρόμνη, προμνός and the rounding of \*o // Münchener Studien zur Sprachwissenschaft. 1971. 29. P. 71—74.
33. Kronasser H. Etymologie der hethitischen Sprache. Bd I. Wiesbaden, 1966.
34. Lewis H. — Pedersen H. A concise comparative Celtic grammar. Göttingen, 1961.
35. Thurneysen R. Grammar of Old Irish. Dublin, 1946.
36. Peters M. Untersuchungen zur Vertretung der indogermanischen Laryngale im Griechischen. Wien, 1980.
37. Klingenschmitt G. Erbe und Neuerung beim germanischen Demonstrativpronomen // Althochdeutsch. Bd 1: Grammatik. Glossen und Texte / Hrsg. von Bergmann R. et al. Heidelberg, 1987.
38. Lee D.J.N. The modal particles *ūv, kē(v), ka* // American Journal of Philology. 1967. 88.
39. Prokosch E. A comparative Germanic grammar. Baltimore, 1938.
40. Schmidt G. Stammbildung und Elexion der indogermanischen Personalpronomina. Wiesbaden, 1978.
41. Ringe D. Germanic *e<sup>2</sup>* and \*r // Die Sprache. 1984. 30.
42. Neu E. Einige Ueberlegungen zu den hethitischen Kasusendungen, in Hethitisch und Indogermanisch / Hrsg. von Meid W. und Neu E. Innsbruck, 1979.
43. Sturtevant E.H. The pronoun \*so, \*sā, \*tod and the Indo-Hittite Hypothesis // Language. 1939. 15.
44. Sturtevant E.H. The prehistory of Indo-European // Language. 1952. 28.
45. Goetze A. Hittite and the IE languages // Journal of the American Oriental Society. 1945. 65.
46. Goetze A. Kleinasien // Handbuch der Altertumswissenschaften. Bd 3: Kulturgeschichte des alten Orients. München 1957.
47. Gowgill W. More evidence for Indo-Hittite: The tense-aspect system // Proc. of the 11th International Congress of linguists (Bologna-Firenze, Aug. 28-Sept. 2, 1972). V. II. / Ed. by Heilmann L. Bologna 1974.
48. Hirt H. Indogermanische Grammatik. Heidelberg, III — 1972; IV — 1934.
49. Risch E. Kleine Schriften / Hrsg. von Etter. A., Looser M. B.; N.Y., 1981.
50. Beekes R.S.P. On laryngeals and pronouns // KZ. 1982—1983. 96.
51. Hoffmann K. Der Injunktiv im Veda. Eine synchronische Funktionsuntersuchung. Heidelberg, 1967.
52. Wackernagel J., Debrunner A. Altindische Grammatik. Bd III. Göttingen, 1930.
53. Delbrück B. Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen. I: Nominalflexion—Zahlwort—Pronomen. Strassburg, 1893.
54. Scheller M. Das mittelindische Enklitikum *se* // KZ. 1967, 81.
55. Pedersen H. Hittitisch und die anderen indoeuropäischen Sprachen. Kopenhagen, 1938.
56. Grassman H. Wörterbuch zum Rig-Veda. Leipzig, 1873.
57. Heller L. The I.E. *so-/to-* demonstrative: Suppletion or phonetic differentiation // Word. 1956. 12.
58. Szemerényi O. Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. Darmstadt, 1970.
59. Lejeune M. Phonétique historique du mycénien et du grec ancien. P., 1972.
60. Laroche E. Un "ergatif" en indo-européen d'Asie-Mineure // BSLP. 1962. 57. 23—43.

Перевели с немецкого Маковский М.М., Николаева Е.К.

© 1992 г. ШМИДТ К.Х.

## ОБ ИМПЕРФЕКТЕ В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ И КАРТВЕЛЬСКИХ<sup>1</sup> ЯЗЫКАХ

Если не учитывать хеттский и германские языки, в которых категория имперфекта, образуемого синтетически, отсутствует<sup>2</sup>, то имперфекты прочих и.-е. языков можно разделить на два класса, отличающиеся по времени возникновения: 1) имперфект, связанный по происхождению с системой видов (А-имперфект), и 2) имперфект, связанный по происхождению с системой времен (Т-имперфект).

Класс 1 восходит к инъюнктиву, или "примитиву", — категории, которая дала (а) при конфектных корнях, употребляемых перфективно — (сильный) аорист; (б) при инфектных корнях, употребляемых имперфективно, — имперфект; имперфект всегда совпадает по виду с презенсом; это верно и тогда, когда в случае (а) происходит образование новой, маркированной инфектной основы (= маркированный имперфектив<sup>3</sup>). По поводу дифференциации имперфекта и аориста Швицер [3] замечает: «При формальной идентичности решающим для интерпретации является место-в системе: так, др.-греч.  $\epsilon\phi\alpha$  и  $\epsilon\sigma\tau\alpha$  образованы одинаково от глагольных корней  $\phi\alpha$  и  $\sigma\tau\alpha$ , но  $\epsilon\phi\alpha$  представляет собой имперфект по отношению к презенсу  $\phi\alpha\tau\iota$ ,  $\epsilon\sigma\tau\alpha$  — аорист (аналогично др.-инд.  $\acute{a}sth\ddot{a}t$ ) по отношению к презенсу  $\acute{y}tatai$  (имперфект  $\acute{e}statai$ );  $\acute{e}y\acute{e}veto$  — аорист к  $\acute{y}ivetai$  (имперфект  $\acute{e}yiveto$ ); формально совпадающая с  $\acute{e}y\acute{e}veto$  др.-инд. форма  $\acute{a}j\acute{a}nata$  представляет собой имперфект от  $\acute{j}anate$  (ср. арх.-лат.  $g\acute{e}nit$ ); аналогично дор.  $\acute{e}lete$  (атт.  $\acute{e}lece$ ): презенс  $\acute{e}l\acute{e}te$  при имперфекте  $\acute{e}l\acute{e}te$  (но др.-инд. имперфект  $\acute{á}patat$  "упал", през.  $\acute{p}atati$ ; лат.  $petit$ ); так древние формы "претерита" в результате противопоставления вновь образованным презентным формам часто превращались в формы аориста (при этом имперфектные функции бывшего претерита взял на себя вновь образовавшийся имперфект)». А-имперфект, отличающийся от презенса только набором личных окончаний и при определенных условиях также наличием аугмента, сохранился в индоиранских и греческих языках; его существование в древнеармянском, кельтском и праславянском можно подтвердить с помощью реконструкции: арм. АОР  $eber$  "он принес, нес" < ИМПФ \* $ebheret$  (др.-инд.  $abharat$ , греч.  $\epsilon\phi\epsilon\rho\epsilon$ ) vs.  $elik'$  "он оставил" < АОР (др.-инд.  $aricat$ , греч.  $\acute{e}l\acute{e}te$ ); др.-ирл. ИМПФ  $-bered$  "он родил" < \* $bhereto$ ; ст.-слав.  $ide$  "он шел" < ИМПФ: ПРЕЗ  $idetъ$ ,  $nese$  "он нес" < ИМПФ: ПРЕЗ  $nesetъ$ .

В отличие от А-имперфекта (класс 1) при образовании в отдельных языках Т-имперфекта (класс 2) основы презенса и имперфекта не совпадают; основа им-

<sup>1</sup> В оригинале здесь и в дальнейшем используется термин "южнокавказские (Südkaucasische) языки" — Примечание переводчика

<sup>2</sup> Ср. однако, в хеттском итеративные формы на  $-ik-$  (mi-спряжение, класс 6), среди которых различаются формы презенса (ПРЕЗ) и претерита (ПРЕТ) [1, с. 95] например, 1, 2, 3 ЕД  $daškim$  "я много раз беру",  $daškiši$ ,  $daškizzi$ ; они могут быть образованы от основы любого глагола [1, с. 74]. См. также претерит слабых глаголов в германских языках (ср. гот.  $nasjan$  "спасти", 1, 2, 3 ЕД  $nāsida$ ,  $nāsides$ ,  $nāsidede$ ), интерпретируемый с диахронической точки зрения в [2] как "результат вербализации отлагательного прилагательного на  $-ia-$ , приводящий к образованию претерита".

<sup>3</sup> Случай (б), наоборот, требует маркированного перфекта.

<sup>4</sup> См. [4, с. 42 и сл.; 5—8]

перфекта является при этом производной от некоторой основы, которую не всегда можно ясно установить: например, лат. *amā-ba-t*,<sup>3</sup> оскск. *fu-fa-ns* (ср. [9, 10]); от основы инфинитива образованы литов. *dary-davo* "он делал, они двое делали, они делали": ИНФ *dary-ti*, 3 л. ПРЕЗ *dāro*, ПРЕТ *dārė*, ФУТ *darys*; ст.-слав. *zna-aħь* "я знал": ИНФ *znati*, ПРЕЗ *znaje-*; в албанском имперфект представляет собой аналитическую форму со связкой в имперфекте: *jam* "я есмь": ИМПФ *ishe (ishem)*; *vij* "я прихожу": ИМПФ *vijshem*. Для других языков (тохарского, армянского, британской ветви кельтского языка) обсуждается образование имперфекта из опатива<sup>4</sup>.

Что касается картвельских языков, то в них существует общий для грузинского (груз.), лазского (лаз.) и мегрельского (мегр.) вариант образования имперфекта, который типологически сопоставим с упомянутым выше и.-е. имперфектом класса 2: "От основы презенса образуется с помощью суф. *-d* общекартвельская основа имперфекта, к которой восходят две временные формы: имперфект индикатива и имперфект конъюнктива. В сванском существуют и другие способы образования имперфекта" [13, с. 133]. Правда, на и.-е. материале, в отличие от картвельского, происхождение имперфекта от исторической основы презенса не доказано.

Анализу формообразования в сванском языке много внимания уделил Г. Мачавариани. В работе [14], основанной на материале В. Топуриа [15, с. 73 и сл.] и опубликованной посмертно, в 1980 г., выделяется шесть классов имперфекта в сванском языке.

1) Бессуфиксный имперфект (*nulsupiksiani tipi*): в верхнебальском (в.-бальск.) и лентехском (лент.) диалектах сохраняется преимущественно у непереходных аблаутных глаголов<sup>5</sup>. Присоединение формативов (*dds*) в формах 1—2 л. ед. ч. (1, 2 ЕД) и (*da*) в формах 3 л. ед. ч. (3 ЕД) и всех лиц мн. (МН) ч. является факультативным, ср. *twex-en-i* "я возвращаюсь", 1, 2, 3 ЕД: *twex-en-i*, *tex-en-i*, *tex-en-i* vs. ИМПФ *twex-en*, *tex-en*, *tex-en*. В [14] (с. 215) делается попытка свести бессуфиксный имперфект к имперфекту, образуемому с помощью суф. (*w*) (класс 6); \**twex-en-w*, \**tex-en-w*, \**tex-ni-w* с аналогичским выравниванием, формы 3 ЕД (> \**tex-en-w*) и дальнейшим исчезновением \*(*w*).

2) (*a*)-имперфект (*-a supiksiani tipi*): во всех сванских диалектах так образуется имперфект, соотносящийся с презенсом на (*-e*). В 1 и 2 л. ед. ч. морфема (*a*) заменяется другими аффиксами или нулем: в в.-бальск., лент. (*ds*), в нижнебальском (н.-бальск.) (*ds gw*) (Бечо) или (*o*) (Эцери), лашхском (лашх.) (*is*). Мачавариани интерпретирует эти морфемы как результат двух диахронических процессов: а) замены сохранившейся в 3 л. ед. ч. и во мн. ч. морфемы (*a*): ср. в.-бальск. *xwamāre* "я готовлю": ИМПФ (1, 2, 3 ЕД): \**xwamār-a*, \**xamār-a*, *amār-d* > н.-бальск. (Эцери) *xwamar*, *xamar*, *amar-a* и т.д., лашх. *xwamār-is*, *xamār-is*, *amār-a* и т.д.; б) присоединения тематических элементов презенса к формам *w*-имперфекта; тематические элементы презенса восходят к формативам \*(*esg*) или \*(*esg-i*): например, в.-бальск. *d-w-ēs-g-i* "я кладу": ИМПФ *d-w-āsg-dds*, лашх. (*ē*) < \*(*ēs-g*); *xwi-d-ēs* "я одеваюсь" и т.д.; наряду с этим (*isg*): *oxmār-isg* "я буду готовить", 2 и 3 ЕД *a-xmār-isg*, *an-mār-isg* и т.д.

Дополнительные аргументы в пользу гипотезы об исчезновении (*a*) в 1 и 2 л. ед. ч. дают теории, возводящие морфему (*a*) к форманту основы презенса (*ē*), переход от \**e* к \**a* в которой объясняется с помощью либо частичной,

<sup>3</sup> Ср. [11, 12]; для древнеармянского тем не менее подтверждается существование отдельных еще более древних имперфектных образований, которые в исторический период перешли в аорист (тематических: *eber* < \**ebheret*; сложнотематических *eharç* "он спросил" < *epřksket*; сложнотематических более высокой степени сложности: *gitac* "он знал" < \**voidāsket*; *gorceac* "он делал" < \**çorçejāket* [4, с. 42 и сл.].

<sup>4</sup> Ср. [14, с. 208]: "umtavrēsad razedreḡad gardamaval zmnebtan" ("в основном у переходных глаголов, имеющих изменяемую основу", где *gardamaval* "переходных", по предположению автора, — опечатка, вместо *gardauval* "непереходных". — Примеч. перев.)

либо полной ассимиляции под воздействием нечувшей в ауслaute морфемы соответственно (w) или (a): а) частичная ассимиляция под воздействием морфемы имперфекта (w) [16, 17]: \*amāre-w > \*amāra-w > amara (о умлаутированном а и исчезновении ауслauta); б) полная ассимиляция под воздействием морфемы имперфекта (a) [16]: ПРЕЗ *iywčar-el* "от торгует": ИМПФ *iywčar-al*.

3) (d)-имперфект: показатель (d), достаточно поздно ставший продуктивным в сванском языке (особенно в верхнебальском, лентехском диалектах и говоре Бечо) в результате присоединения его к другим морфемам или их замены идентифицируются с показателем имперфекта в грузинском и занских (лазском и мегрельском) языках. Древнейшие формы сванского языка могут быть засвидетельствованы в лахамульском говоре (нижнебальский диалект): 3 ЕД *ar-d* "был", *squr-d* "сидел", *γər-d* "шел"<sup>7</sup>. Морфема (d) особенно часто встраивается в формы имперфекта, образованные от i-презенса: например в.-бальск. *xwaqñ-i*, лент. *xwaqñn-i* "я пашу": ИМПФ 1, 2, 3 ЕД в.-бальск. *xwaqñn-d-äs*, *xaqñn-dä-s*, *aqñn-d-a*.

4) (ən, än, on)-имперфект: встречается во всех диалектах как имперфект релятивных глаголов с субъектом-экспериментером в дативе; к данной морфеме может присоединяться (da): в.-бальск. ПРЕЗ *xa-lat* "он любил" < "ему любим": ИМПФ *xa-lat-ən(da)*, ПРЕЗ *xu-γw-a* "он имеет": ИМПФ *xu-γw-än(da)*, лашх. *xu-γw-än(da)*; лашх. *xo-tr-a* "он знает": ИМПФ *xo-tr-on(da)*; образование на (on) наблюдается редко.

5) (ol)-имперфект: встречается во всех диалектах (за исключением нижнебальского, где, однако, морфема (ol) сохраняется в кондиционалисе, ср. *oxmar-ol* "я подготовил бы") как имперфект пассивных глаголов; в отдельных диалектах данная морфема встречается и в сочетании с другими показателями (в 1 и 2 ЕД (ol) + (däs), 3 ЕД (ol) + (da): в.-бальск. ПРЕЗ *i-mär-i* "готовится" = н.-бальск. *i-mär-i*, лашх. *i-mär-i*: ИМПФ 1, 2, 3 ЕД: в.-бальск. *xwimär-öl-däs*, *ximär-öl-däs*, *imär-öl(da)*, лент. *xwimar-ol-(däs)*, *ximar-ol-(däs)*, *imar-ol-(da)*, но н.-бальск. *xwimäri-dasgw*, *ximäri-dasgw*, *imäri-da* (Бечо), *xwimär*, *ximär*, *imäriw* (Эцери). В части области распространения верхнебальского диалекта (Ушгули — Ленджер) обнаруживается также вариант (öl) в функции кондиционалиса: *ädsix-öl* "сгорело бы" (неперех), *änmär-öl* "было бы подготовлено" [15, с. 189 и сл.]. Мачавариани [14, с. 212 и сл.] связывает эти варианты с архаической морфемой (alē), засвидетельствованной в поэтических текстах [15, с. 190] и имеющей широкий набор функций (презент, футурум, редко претерит, императив)<sup>8</sup>.

6) (w)-имперфект: встречается в нижнебальском диалекте (в эцерском и лахамульском говорах, а также в цхумарском и спорадически бечойском). Следы этой морфемы обнаруживаются также в 1 и 2 л. а-имперфекта (см. выше п. 2). В Эцери морфема имперфекта (w) присоединяется преимущественно к образованиям от основы презенса на (i): ПРЕЗ *ašxi* "он обносит забором" vs. ИМПФ (см. [15, с. 89; 14, с. 214]):

Ед.ч	Мн.ч
1. <i>xwašxat-w</i>	ИНКЛ <i>lašxati-w-d</i> ЭКСКЛ <i>xwašxati-w-d</i>
2. <i>xašxat-w</i>	<i>xašxati-w-d</i>
3. <i>xašxati-w</i>	<i>ašxati-w-x</i>

Другие примеры: ПРЕЗ *aläš-i* "сеет": ИМПФ ед. ч. *xwaläš*, *aläš*, *aläši-w*; ПРЕЗ *texn-i* "возвращается"; ИМПФ ед.ч. *twexen*, *te xen*, *te xni-w* и т.д.

<sup>7</sup> Неубедительной поэтому выглядит точка зрения Осидзе [18]: "Этот вариант образования имперфекта прошедшего времени (Past Imperfect) в сванском языке является вторичным, так что аффикс -d, общий для всех картвельских языков, исторически является единственным формантом имперфекта". (В пояснении к этой цитате К.Х. Шмидт указывает, что в оригинале Е. Осидзе употребляет термин Past Imperfective — прошедшее время несовершенного вида, который он произвольно заменяет термином Past Imperfect. — Примеч. перев.)

<sup>8</sup> Правда, (öl) указывает на существовавшее прежде \*(ol-i). Соотношение этой морфемы с др.-груз. (od-e) (искод-e "знал", velode "ждал") [13, с. 134, 140] также остается пока неясным.

На основании анализа шести классов сванского имперфекта Мачавариани [14, с. 215] делает целый ряд интересных и важных заключений; три из его положений необходимо прокомментировать и проверить с типологической точки зрения на основании сравнения с данными и.-е. языков.

1) В сванском имперфект образуется от презенса посредством присоединения к имперфективной основе формантов (*d*), (*n*), (*l*), (*w*); вопрос об (*a*) остается открытым [14, с. 215].

**Комментарий.** Типы 1 и 4 можно было бы также объяснить иначе. В случае 1 следовало бы (в отличие от 6) подумать об архаизме; основанием для этого могут служить следующие два обстоятельства; а) для верхнебалхского и лентехского, т.е. диалектов, в которых засвидетельствован бессуффиксный имперфект (тип 1), (*w*)-имперфект нетипичен; б) тип 1 не обнаруживает признаков, характерных для (*w*)-класса. Предложенное Мачавариани выравнивание 3 л. ед. ч. по 1 и 2 л. противоречит их частотности в текстах, в соответствии с которой более вероятна аналогия по формам 3 лица. Бессуффиксный имперфект сванского языка соответствовал бы при этом прежде всего описанному вначале и.-е. классу 1: презенс и имперфект различались бы в обеих системах только добавлением (вторичным) морфемы, маркирующей настоящее время: соотношение ИМПФ ( $\emptyset$ ) > ПРЕЗ (*i*) в сванском соответствует и.-е. соотношению вторичных и первичных окончаний (*m, s, t*) > (*mi, si, ti*). Если такая аргументация верна, то мы можем установить диахронно-типологическое тождество между картельским и индоевропейским: картельский класс 1 (использующий основу презенса) > классы 2—6 (имеющие собственную основу) = и.-е. А-имперфект > Т-имперфект.

Морфемы на (*-n*) класса 4 (в глаголах, образующих инверсивную конструкцию) могут быть возведены семантически и формально к показателю интранзитива-пассива (*n/d*), который считается общекартельским [13, с. 200 и сл.] и представлен также в морфеме \*(*en*) класса 1. Распределение \*(*en*) в имперфекте vs. \*(*en-i*) в презенсе (например, в классе 1) позволяет интерпретировать \*(*en*) как морфему, маркирующую имперфект.

2) Построение единого имперфекта на основании использования алломорфа (*d*) представляет собой новообразование грузинского и занских языков [14, с. 216].

**Комментарий.** В противном случае необходимо было бы объяснять распространение (*d*) в сванском. Древнее ядро сванского языка, которое, вероятно, ограничивается стативными и инверсивными формами типа 3 ЕД *ar-d* "был". *sgur-d* "сидел", *γər-d* "шел" (в диалектах также *arda, sgurda, γərda*: засвидетельствовано в [19]), могло бы быть близким к реконструируемой модели картельского праязыка. Происходящая совместно в грузинском и занском достройка *d*-имперфекта представляет, напротив, прекрасное подтверждение положения Лескина [20]: "Критерии тесного единства могут быть найдены только в позитивных совпадениях рассматриваемых языков, которые в то же время отличают их от прочих языков". В пределах области распространения и.-е. языков нет процесса, с которым можно было бы сравнить рассматриваемый: образование Т-имперфекта представляет собой во всех языках независимое новообразование<sup>9</sup>. (*d*)-имперфект доказывает поэтому существование особенно тесной связи между грузинским и занским.

3) Модальные употребления производных от основы имперфекта, особенно конъюнктива 1 на (*de*) (также в сванском) и императивных образований (ср. др.-груз. *vid-od-il* "перлѣтѣи, поѣѣѣѣ, блаѣѣ"; пшавск. *utxr-od-il*, хевсур. *utxr-i-d-il* "скажи ему!") привели Мачавариани к заключению, что морфемы имперфекта первоначально обозначали имперфективный вид (имеется в виду дуративный способ действия), при этом маркировка имперфекта прежде имела характер коннотации<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> В кельтской группе число отклонений (подобных тем, которые наблюдаются в сванских диалектах) увеличивается в языках-потомках — ирландском и бриттском (ср. [6]). Типологически интересным является здесь также отклонение некоторых форм от парадигмы медиума, переинтерпретированной как парадигма имперфекта (ср. в особенности др.-ирл. 1 ЕД *-berinn*, 1 МН *-bermis*): процесс напоминает процессы замены (субституции, *Substitution*) в 1 и 2 л. сванского имперфекта (например, класса 2).

<sup>10</sup> Ср. точную цитату из Мачавариани [14, с. 216]: "Прошедшее несовершенное в историческое время является в первую очередь именно прошедшим, т.е. временем. Но на древнейших этапах развития картельских языков это должно было быть формой, выражавшей прежде всего несовершенный, непрерывный аспект (точнее, какую-то разовидность такого аспекта). Значение прошедшего времени, представляло сопутствующий момент".

Комментарий. Поскольку в пракартвельском языке имелась (и сохраняется еще в диалектах грузинском) словоизменительная категория вида (*aspect flexionnel*, термин заимствован из [21, с. 34]), который характеризовался соединением показателя вида и более поздней основы времени, необходимость в развитии особой, словообразовательной категории вида (*aspect dérivatif*, термин из [21, с. 61 и сл.<sup>11</sup>]), строящейся на основе дуративного способа действия, не было. Образования от основы имперфекта модальные формы (конъюнктив I, затем императив) предназначены для выражения модальных значений группы форм, образованных от основы презенса, которая находится в оппозиции более древней, маркированной основе (АОР). В этой связи следует указать на гомоморфизм древнегрузинского и древнеармянского языков в отношении аспектуальных различий имперфективных и перфективных форм конъюнктива — будущего времени (ср. [24, с. 151 и сл.]). Построение системы маркированных имперфективных наклонений в картвельских языках создает предпосылку для развития особенного, имперфективно употребляемого способа действия, который — и в этом отношении его можно сравнить с описанным выше классом 2 и.-е. имперфекта — служил для выражения имперфекта как категории, где выступают имперфективный вид и претеритное время в комбинации. Мотивом для образования конъюнктива I как производного от основы имперфекта являлась тенденция к парадигматическому выравниванию. Данный процесс типологически близок процессу построения модальной системы в греческом и латинском (ср. также аналогичный случай образования картвельского конъюнктива III как производного от системы перфекта), при этом дифференциация между презенсом конъюнктива и имперфектом конъюнктива в латинском обгоняет аналогичный процесс в картвельских языках.

Тот факт, что до имперфекта конъюнктива [13, с. 146], или конъюнктива I, в картвельском существовал "аорист конъюнктива" [13], образовывавшийся непосредственно от корня, легко показать на материале сванского языка: образование конъюнктива на (*de*) является предпосылкой двух процессов: а) развития конъюнктива II на (*e*) как производного от бессуффиксного аориста сильных, аблаутных глаголов, например, АОР 3 ЕД *adig* "он погасил" vs. КОНЪЮН II 1, 2, 3 ЕД, 3 МН *odəg-e* (лент. *aduge*), *adəg-e*, *adəg-e-s*, *adəg-e-x* [18, с. 164]; б) экспансии морфемы (*d*), соединившейся с (*e*) в форматив (*de*), возможно, уже общекартвельский. Процесс (б) противоречит крайней ограниченности употребления (*d*) в общекартвельское время, что вытекает из данных сванского. Более вероятным является решение, при котором (*d*) интерпретируется как грузинско-занское новообразование, которое нашло свое место в сванском только в результате заимствования. Следствием из этой теории является только то, что в общекартвельский период еще не было единой морфемы для передачи конъюнктива I.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Friedrich J. Hethitisches Elementarbuch. Heidelberg, 1960.
2. Meid W. Das germanische Praeteritum. Innsbruck, 1971. S. 113.
3. Schwyzer E. Griechische Grammatik. 1. Bd. München, 1953. S. 640 (2. Bd. München, 1950).
4. Schmidt K.H. Armenian and Indo-European // First international conference on Armenian linguistics: Proceedings / Ed. by Greppin J.A.C. N.Y., 1980.
5. Thurneysen R. A grammar of Old Irish. Dublin, 1946. P. 372.
6. Schmidt K.H. Zum altirischen Imperfektum // Studia Celtica. 1968. 3.
7. Hollisfield H. The personal endings of the Celtic imperfect // KZ. 1978. 92. Hf. 1—2.
8. Szemerényi J. Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. Darmstadt. 1970. S.
9. Leumann M. Kleine Schriften. Zürich; Stuttgart, 1959. S. 275.
10. Leumann M. Lateinische Laut- und Formenlehre. München, 1977. S. 577.
11. Krause W., Thomas W. Tocharisches Elementarbuch. Heidelberg, 1960. S. 217.
12. Winter W. Die Personalendungen des Imperfects und Aorists im Armenischen // KZ, 1975. 89. Hf. 1.
13. Deeters G. Das Khartwelische Verbum. Leipzig, 1930.
14. Мачавариани Г. Прошедшее несовершенное в сванском и его место в системе спряжения картвельских языков // ИКЯ. 1980. 22. (на груз. яз.).
15. Топуриа В. Сванский язык. 1. Глагол. Тбилиси, 1931; 2-е изд. // Труды. 1. Тбилиси, 1967 (на груз. яз.).

<sup>11</sup> В новогрузинском, сванском, или русском переход от вида как словоизменительной категории (*aspect flexionnel*) к виду как синтагматической категории (*aspect syntagmatique*, термин из [21]; ср. также [22]) совпадает с вытеснением категории вида, выраженной противопоставлением перфективной основы аориста vs. имперфективной основы презенса, с образующейся в результате этого процесса категорией времени (об отношении вида к императиву/прохибитиву см. [23]).

16. *Калдани М.* К некоторым вопросам чередования *e/a* в сванском глаголе // ИКЯ. 1968. 16 (на груз. яз.).
17. *Осидзе Е.* К происхождению суффикса прошедшего несовершенного *-a* и показателя дательного падежа *-e* в сванском языке // Тр. ТГУ. 1972. 3 (142) (на груз. яз.).
18. *Осидзе Е.* К истории образования прошедшего несовершенного в сванском // Тр. ТГУ. 1976. 174 (на груз. яз.).
19. *Гагуа К.* Недостаточные в отношении времени глаголы в сванском языке. Тбилиси, 1976 (на груз. яз.).
20. *Leskien A.* Die Deklination im Slavisch-Litauischen und Germanischen. Leipzig, 1876. S. VII.
21. *Holt J.* Etudes d'aspect // Acta Jutlandica. 1943. XV. 2.
22. *Schmidt K.H.* Zu den Aspekten im Georgischen und in indogermanischen Sprachen // RK. 1963. 43—44.
23. *Schmidt K.H.* Probleme des Prohibitivsatzes // Studia classica et orientalia Antonio Pagliaro oblata. III. Roma. 1969.
24. *Schmidt K.H.* Konjunktiv und Futurum im Georgischen und in indogermanischen Sprachen // RK. 17—18. 1964.

Перевела с немецкого *Сумбатова Н.Р.*

© 1992 г. КЛИМОВ Г.А.

## ИЗ ИСТОРИИ ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО (КАРТВЕЛЬСКИЕ ДАННЫЕ)<sup>1</sup>

Картвельское языкознание располагает к настоящему времени целым рядом исследований по истории как конкретных морфологических категорий, так и целых лексико-грамматических разрядов слов в сравнительно-историческом аспекте. Если учесть особенно развитую глагольную морфологию картвельских языков, то будет нетрудно понять, почему преимущественным объектом гипотез диахронического плана в существующей литературе оказывается глагол. Ср. известные соображения об историческом соотношении распределения глагольного словаря на классы динамических и статических, с одной стороны, и транзитивных и интранзитивных, с другой, о взаимоотношении глагольных категорий аспекта и времени, версии и залога и т.п. Немало сделано и в плане сравнительно-исторического исследования именной морфологии (особенно в отношении эволюции падежной парадигмы). На этом фоне состояние разработки истории имени прилагательного в картвелистике нельзя не признать отстающим (не меняет положения неоднократно высказывавшееся мнение о вторичности имени прилагательного в картвельских языках и заметный интерес исследователей к частному вопросу об истории ступеней сравнения адъектива).

Предметом рассмотрения в настоящей статье служит история имени прилагательного в картвельских языках в свете тех данных, которые предоставляет в распоряжение исследователя их сравнительная грамматика. На фоне всей совокупности существенных для решения проблемы вопросов, так или иначе касающихся путей формирования и последующей эволюции этого класса слов, аргументация формулируемой ниже гипотезы о сравнительно поздней эпохе становления имени прилагательного в картвельских языках опирается на некоторую совокупность фактов, группирующихся вокруг двух основных. Одним из них является отсутствие в этих языках словообразовательных моделей собственно адъектива, восходящих к общекартвельскому состоянию (в лучшем случае налицо модели, объединяющие лишь грузинский и занскую ветвь, т.е. мегрельский и лазский, и отсутствующие в сванском). Другим следует считать весьма прозрачную здесь генетическую связь имени прилагательного с глаголом, с одной стороны, и с именем существительным, с другой.

В свете известных достижений картвельского языкознания в настоящее время невозможно разделить встречавшуюся еще в 40-х годах крайнюю точку зрения, согласно которой в грузинском языке по сей день имя прилагательное и существительное морфологически не разграничены. С ней не согласуется не только неоднократно подчеркивавшийся в теории грамматики факт реальной несоизмеримости одноименных морфологических категорий субстантива и адъектива, но и наличие у последнего во всех картвельских языках определенных морфологических (как словообразовательных, так и словоизменительных) харак-

<sup>1</sup> Статья представляет собой переработку доклада, прочитанного автором на состоявшейся 26—28 ноября 1991 г. в Санкт-Петербурге конференции, посвященной 100-летию со дня рождения акад. В.М. Жирмунского. Автор выражает глубокую признательность А.Е. Кибрику, ознакомившему со статьей в рукописи и высказавшему ряд ценных замечаний.

теристик, в частности, степеней сравнения, хорошо известных особенностей формы его основы при склонении в составе атрибутивной синтагмы и т.п. (не говоря уже о том, что он охватывает всю понятийную сферу, отводимую имени прилагательному в работах Р. Диксона и С. Томпсон [1, с. 25—28; 2, с. 168—169]). Все это позволяет видеть в картвельском адективе вполне сформировавшийся лексико-грамматический класс слов. Вместе с тем представляется справедливым мнение, согласно которому еще в относительно недалеком прошлом он не был здесь морфологически выделен, заслуживающее внимания в плане дополнительной аргументации сформулированной еще в конце 70-х годов гипотезы об активной типологии древнейшего общекартвельского состояния [3, с. 217—231].

С точки зрения обоснования защищаемого здесь тезиса весьма показательным представляется факт отсутствия общих для всех картвельских языков моделей собственно адективного словообразования. Наиболее древние аффиксы имен прилагательных, к тому же обычно совпадающие с аффиксами деривации субстантивов, объединяют лишь грузинский и языки занской ветви — мегрельский и лазский — и не прослеживаются в сванском. Если проанализировать совокупность адективов корневого ("непроизводного") типа, встречающихся во всех этих языках, то будет нетрудно увидеть, что они представляют гетерогенным материалом, который ни в одном случае не позволяет реконструировать соответствующие пракартвельские архетипы. Даже для значительно более позднего исторического этапа грузинско-занского единства общим оказывается единственный адектив корневого типа *didi* "большой" (в сванском в его роли выступает иной материал). Вообще складывается впечатление, что корневой тип адективов в картвельских языках едва ли способен претендовать на сколь-нибудь глубокую хронологию, и его основной состав образуют продукты распада долго сохранившегося здесь именно синкретизма, с одной стороны, и различные заимствования (например, груз. *patara* "маленький", *lamazi* "красивый", *šavi* "черный"), с другой.

Несколько производных имен прилагательных могут быть реконструированы лишь для более позднего грузинско-занского состояния. Об этом свидетельствует некоторый минимум грузинских и занских форм, обнаруживающих четкое материальное и семантическое соответствие и, следовательно, отмеченных исторически единой словообразовательной аффиксацией. Бросается в глаза, что всё это качественные адективы, с одной стороны, здесь следует назвать несколько форм с суф. *\*-el*: ср. груз.-зан. *\*grɔz-el-* "длинный, высокий", *\*wɔc<sub>2</sub>-el-* "широкий", *\*sɔw-el-* "мокрый", *\*ɔw-el-* "старый (о вещах)", *\*çit-el-* "красный", с другой стороны, это единичные лексемы с афф. *-il* (груз.-зан. *\*ms<sub>1</sub>xw-il-* "толстый, крупный", *\*ip-il-* "теплый"), одна с коаффиксацией *sa-* — *-e* (груз.-зан. *\*(s)a-ws-e* "полный") и некот. др., вероятно, отражающие процесс адективации древних атрибутивных причастий. При этом, во всяком случае в первой группе случаев, в качестве производящих основ выступают основы статических глаголов. Хотя функциональная природа присоединяемого к ним аффиксального элемента остается в настоящее время неясной, естественно предположить, что исторически это некоторый словоизменительный глагольный аффикс с минимальной предикативной силой, лишь в дальнейшем специализировавшийся в роли деривационного элемента имен прилагательных. В пользу такой направленности развития говорит диахронически прослеживающаяся на материале многих языковых семей, в частности, на индоевропейском, тенденция к трансформации так называемых полупредикативных связей в синтагме в атрибутивные.

На ступени истории картвельских языков, характеризующейся сохранением грузинско-занского единства, целому ряду архетипов, послуживших источниками современных адективов, приходится приписывать статус именно синкретизма. Свидетельствами такого положения вещей являются известные сравнительной грамматике картвельских языков факты закономерной эквивалентности грузинских имен прилагательных занским субстантивам и, напротив, случаи, когда

занскому адъективу столь же закономерно отвечает грузинский субстантив; ср. груз. *pičx-* "вспыльчивый" при мегр., лаз. *pičx-* "сухой хворост", груз. *γṛta-* "глубокий" при лаз. *γorta-* "дыра, яма", мегр. *(eno)γorta-* "углубление", но груз. *mxse-* "седина" при лаз. *χсе-*, мегр. *(r)če-* "белый, светлый". Характерно, что и здесь речь идет, как правило, о качественных прилагательных.

В настоящее время существует возможность проследить процесс адъективации некоторых первоначальных синкретических именных лексем, мотивировавшийся их изменявшимися синтаксическими функциями и протекавший путем подлинной безаффиксальной транспозиции. О преимущественно субстантивном или адъективном функционировании слова с гласным исходом основы на грузинско-занском хронологическом уровне свидетельствует известная из сравнительной грамматики картвельских языков фонетическая закономерность сандхального характера. Согласно последней, так называемый занский сдвиг гласных, т.е. передвижение  $a > o$  и  $e > a$  (последнее, впрочем, представляется менее регулярным), реализовался в исходе основ лексем адъективного употребления и, напротив, не происходил в аналогичной позиции в словах субстантивного функционирования (гласный исхода основы адъектива, обычно предшествовавшего своему определяемому, в отличие от исхода субстантива неизменно оказывался в срединном положении в синтагме и поэтому подчинялся характерной для этой позиции фонетической закономерности [4]).

В соответствии с этим правилом естественно заключить, что преимущественно субстантивная семантика была присуща на этом этапе таким грузинско-занским лексемам, как \**mɔcɛ-* (ср. груз. *mxse-* "седина" ~ лаз. *χсе-*, мегр. *če-* "белый, светлый"), \**nate-* (ср. груз. *natel-* "свет, светлый" ~ лаз., мегр. *note-* "лучина"), \**γṛta-* (ср. груз. *γṛta-* "глубокий" ~ лаз. *γorta-* "дыра, яма", мегр. *(eno)γorta-* "углубление" [5, с. 104]), \**sɪx-* (ср. груз. *sxel-* "горячий" ~ лаз. *ɕxe-* "жар", мегр. *ɕxe-* "горячий"; исторически субстантивный характер этой лексемы подтверждает ее закономерное сванское соответствие *ɕix-* "уголь"). Напротив, ввиду реализации занского передвижения гласных в исходе основы слова преимущественно адъективная семантика была, по-видимому, присуща уже на ступени грузинско-занского единства таким лексемам, как \**take-* (ср. груз. *take-* "стельная, сумная" ~ лаз., мегр. *tonka-* "тяжелый") и \**mɕle-* (ср. груз. *mɕle-* "тощий, худой" ~ мегр. *ɕkola-* т.ж.).

Яркой иллюстрацией синхронного отражения диахронического процесса формирования адъектива на базе первоначального синкретического имени может послужить следующий пример: если в остальных языках континуанты общекартвельского \**(i)aba-* "озеро, глубокий" относятся к классу имен существительных (ср. сван. *iwib-* "овраг, озеро" ~ груз. *iba-* "озеро" ~ лаз. *ɪoba-* // *ɪiba-* т.ж., хотя, как отмечают, значение прилагательного "глубокий" лазскому слову все же не чуждо [6, с. 185]), то в мегрельском имеем дело с формой *ɪoba-* "озеро", с одной стороны, и с обнаруживающей рефлекс занского передвижения гласных формой *ɪobo-* "глубокий (о водах)", с другой.

О сохранении фактов именового синкретизма еще в очень поздний период истории картвельских языков, т.е. в эпоху существования их современных представителей, особенно отчетливо свидетельствует древнегрузинский материал (интересны некоторые аналоги в составе амбивалентных имен, выявляемые между древнегрузинским и некоторыми другими, в частности, адыгскими языками). В памятниках древнегрузинского наблюдаются случаи субстантивного употребления целого ряда лексем, функционирующих в современном языке исключительно или, как правило, в адъективном значении. Сказанное относится, в частности, к таким лексемам, как *γṛta-* (ср. *azna mat vitarca γṛmisagan didisa...* "напоил их как из великой бездны..." Пс. 77<sub>13</sub>), *bnel-i* (ср. *romeli sxda bnelsa* "сидящий во тьме..." Мф. 4<sub>16</sub>), *natel-i* (ср. *ixila nateli didi...* "увидел свет великий..." Мф. 4<sub>16</sub>), *marʒuena-j* (ср. *marʒuena-j mati savse ars kṛtamita...* "которых правая рука полна мздоимства..." Пс. 25<sub>20</sub>) и некот. др. Естественно полагать, что решающий

стимул к распаду именованного синкретизма в истории этих языков мог быть за-дан лишь с того времени, когда возник класс атрибутивных слов отглагольной природы, получивший свою формальную опору в виде определенных словообразовательных элементов.

Еще одним аргументом, способным свидетельствовать в пользу относительно позднего становления класса имен прилагательных в картвельских языках, может, по-видимому, служить недостаточная развитость в них подкласса относительных прилагательных. Так, в функции относительных прилагательных многих других языков здесь очень часто выступают имена существительные (обычно к тому же разнокорневые) в форме генитива (ср. груз. *x-is*, мегр. *ža-ši*, сван. *tegm-i(š)* "деревянный"). В составе этого подкласса адективов особенно трудно говорить о сколько-нибудь давних деривационных средствах. Среди разнообразия последних трудно найти объединяющие достаточно надежно хотя бы грузинский и занские языки. В частности, среди соответствующих древнегрузинских аффиксов, рассматриваемых в одной из статей А.Г. Мартиросова [7], лишь один — *-o(w)an* — находит в занском ареале свое генетическое соответствие в виде *-on*. Хотя эти аффиксы, как правило, присоединяются к разнокорневым производящим основам, существует и один достоверный, на наш взгляд, пример их аффигования на исконно общую основу. Ввиду обычного различия в суффиксальной части циркумфиксального образования форм так называемых привативных прилагательных последние также нелегко свести к единому историческому знаменателю грузинско-занского уровня. Тем более рискованно придавать сколько-нибудь принципиальное значение совпадению сванского привативного суффикса *-ur* с аналогичным элементом единственного в своем роде грузинского (ингил.) *kud-ur* "бесхвостый, куций", поскольку последнее засвидетельствовано уже в первом толковом словаре этого языка Сулхана Орбелиани и в прямо противоположном значении "хвостатый" с параллельным переносным — "ведьма".

Наконец, весьма существенной чертой, отражающей конкретные пути и относительно позднюю хронологию развития имени прилагательного в картвельских языках, является отчетливо прослеживаемый в них процесс становления степеней сравнения качественных адективов. Одним из свидетельств такого положения вещей служат хорошо сохраняющиеся здесь следы так называемого элитива, т.е. синкретической сравнительно-превосходной степени сравнения (при этом подчеркивают, что даже длительные и интенсивные культурно-литературные контакты Грузии с греко-византийским миром оказались недостаточным фактором для формирования в древнегрузинском языке оппозиции сравнительной и превосходной степеней хотя бы в рамках переводной литературы [8, с. 93]). Другое его проявление заключается в довольно очевидном глагольном происхождении самой формы элитива.

Как известно, картвельские языки вообще отличаются высокой степенью гетерогенности способов выражения компаративной семантики в адективах, что уже само по себе способно указывать на независимость их образования. Если оставить в стороне встречающиеся в них несинтетические, т.е. описательные по своему существу построения недавнего происхождения, не относящиеся к сфере словообразования (ср., в частности, функционирующий в лазском языке способ передачи содержания сравнительной степени, буквально калькирующий соответствующую тюркскую модель)<sup>2</sup>, то здесь преобладают специфические для отдельных языков синтетические образования также более или менее поздней формации: ср., например, особую форму так называемого экватива, т.е. уравнительной степени в мегрельском (ср. *ma-did-a* "величиной с..." при *did-i* "большой", *ma-mayal-a* "высокий, как..." при *mayal-i* "высокий"), являющуюся несомненным новообразованием.

<sup>2</sup> К собственно степеням сравнения мы относим "наиболее абстрактную ступень развития" качественного адектива — представленную обычно дериватами формы его положительной степени, ср. [9, с. 121—122].

Среди синтетических средств передачи компаративной семантики наибольшей степенью общности обладают в картвельских языках формы элятива двоякого характера. С одной стороны, это соответствующая форма сванского языка: ср. *xo-bg-a* "крепче, крепчайший" при *bəgi* "крепкий", *xo-cran-a* "краснее, краснейший" при *çəni* "красный". С другой стороны, это грузинско-занская форма элятива типа груз. *u-did-es-* "больше, наибольший", очень продуктивная в древнегрузинском и функционирующая ныне в грузинском и мегрельском, а исторически прослеживающаяся по отдельным примерам и в лазском.

В сравнительной грамматике картвельских языков убедительно продемонстрировано, что в их истории мы имеем дело с единственной формой степени сравнения (оставляя в стороне положительную), проецируемой в сколько-нибудь отдаленное прошлое — с формой элятива. В этой роли реконструируется соотносящийся с грузинско-занским состоянием циркумфикс *\*u* — *-e-js*; [ср. др.-груз. *(h)u-did-e(j)s-* // *xu-did-e(j)s-* ~ мегр. *u-did-aš-*], конечный элемент которого содержит форму генитива, наслоившуюся на собственно компаративный циркумфикс *\*u-* — *-e*, также еще встречающийся в памятниках древне- и среднегрузинского языка, ср. [10, с. 033; 11, с. 338; 12, с. 34; 13, с. 146—148; 14, с. 119] (естественно поэтому, что предлагаемое в рамках ностратической гипотезы — впрочем, под знаком вопроса — сопоставление этой формы с индоевропейским аффиксом сравнительной степени *\*-ies* // *-ios* [15, с. 286—287] приходит в очевидное противоречие с данными сравнительной грамматики картвельских языков).

В свете приведенных выше сванской и грузинской форм элятива, выявляющих к тому же закономерное фонетическое соотношение груз.-зан. *u* ~ сван. *o*-, может сложиться парадоксальное впечатление о возможности реконструкции для пракартвельского состояния формы сравнительно-превосходной степени типа *\*u-* — *-e* или *\*u-* — *-a* на фоне отсутствия каких-либо других оснований для постуляции на этом хронологическом уровне лексико-грамматического класса имен прилагательных. Подобное впечатление, однако, ошибочно. Дело в том, что, как это выяснено, начальный элемент конкретных словоформ элятива сван. *xo-* ~ др.-груз. *xu* // *hu-* (> груз. *u-*) совпадает с префиксальной частью картвельских глагольных словоформ объектной версии 3 лица: *x-* // *h-* здесь характерный преф. 3 лица, *u-* — версионный показатель, а в целом эта форма совпадает, как подчеркивается в специальной литературе, со сванскими глагольными словоформами презенса типа *xo-cx-a* "он предпочитает то", *xu-γw-a* (< *\*xo-γw-a*) "он имеет то". Более того, зафиксировано — особенно, в архаическом языке сванской поэзии — не только атрибутивное и предикативное, но и собственно глагольное функционирование отдельных из таких форм, предполагающих несколькими временными градациями. Ср. сван. *çet lülxu či çets xoça kumši lēmnad luntisa* "сено горное лучше любого (другого) сена для корма зимой скоту", *Murzabegs dār xočānda* "Мурзабега никто не превосходил", *taj xoçeni liceds eča?* "что будет лучше этого зрелища?" [14, с. 121—122]. Принято также считать, что исторически такие формы должны были изменяться по всем трем лицам, подобно тому, как это происходит, например, в абхазском языке, где идентичное компаративное содержание передается обычными глагольными словоформами: ср. абх. *s-ejha* "больше меня", *w-ejha* "больше тебя", *j-ejha* "больше его" [11, с. 335, 337; 12, с. 31] (аналогичное положение вещей в дальнейшем неоднократно отмечалось и на ином материале). Это предположение, по-видимому, подтверждается наблюдением А.Л. Ониани, согласно которому формы *m-i-ča* "лучше меня" и *ž-i-ča* "лучше тебя" возможны в речи представителей старшего поколения носителей лашхского диалекта сванского языка.

Отметим в этой связи также то обстоятельство, что на глагольные истоки картвельского элятива косвенно способны указывать и некоторые грузинские факты. Так, несколько адъективов образуют здесь формы сравнительно-превосходной степени вопреки общему правилу не от основы положительной степени, а непосредственно от основы производящего последнюю глагола: ср. груз.

*u-grz-es-* "длиннейший" при *grz-el-* "длинный" и *u-ikb-es-* "сладчайший" при *ikb-il-* "сладкий". Вместе с тем дополнительный признак такой зависимости усматривают в том замеченном впервые Г. Йенсенем факте, что так называемое простое дополнение при элитиве исторически выступало в грузинском языке в форме дательного падежа [16, с. 175—177; 17, с. 42—43].

Довольно прозрачную глагольную мотивацию картвельского элитива естественно рассматривать в числе других приведенных выше аргументов, свидетельствующих об относительно позднем процессе формирования имени прилагательного в картвельских языках. Вместе с тем, если принять точку зрения Е. Куриловича, согласно которой индоевропейские формы сравнительной степени адъектива на *-(i)ios* "глагольного происхождения" и, более того, что они являются первичными производными от глаголов [18, с. 232—233], то тем самым становится очевидной еще одна точка соприкосновения в типологической эволюции обеих языковых семей.

Если учесть, что древнейшей разновидностью имени прилагательного в картвельских языках, хронологически соотносящейся с грузинско-занским состоянием, является качественный адъектив (ср. аналогичный состав этого класса слов в языках, где он представлен минимальным набором ингредиентов [1, с. 4—7]), то имеются основания усматривать в его формировании определяющую роль развития глагола. Именно глагольная основа, будучи оформленной некоторым аффиксальным (исторически, по-видимому, словоизменительным) элементом со слабой предикативной силой, приобретающим впоследствии функцию специального деривационного средства, создает опорную базу имени прилагательного как морфологически определенного лексико-грамматического разряда лексем. Лишь в несколько более позднюю эпоху в этот класс втягиваются отдельные составляющие совокупности синкретичных имен, характеризовавшиеся наряду с субстантивным также атрибутивным употреблением, и, кроме того, некоторые причастия, утрачивающие свои глагольные черты.

Такая линия эволюции не составляет специфики картвельских языков и прослеживается к настоящему времени на все большем лингвистическом материале. Многочисленные эмпирические исследования достаточно убедительно демонстрируют, что наряду с обычно подчеркивавшимися в прошлом именными истоками имени прилагательного (подобные представления в значительной мере поддерживались принадлежностью языков Европы и примыкающих к ней регионов Азии и Северной Африки к зоне "грамматической близости адъектива к субstantиву" [19, с. 1]) не менее существенную роль играют его глагольные истоки.

Так, в семитских языках его генетические связи с глаголом лежат, как известно, на поверхности. В уральском языкознании во множестве отмечены совпадения в единой праформе основ адъектива и интразитивного глагола статической семантики, ср. [20]. В тюркологии недавно сформулировано мнение, согласно которому "все, что можно условно обозначить как синкретизм тюркского имени, относится... к ближней реконструкции и наследовано языками потомками..., при переходе к дальней реконструкции обнаруживаются глубинные морфологические связи прилагательного с глаголом, что позволяет по-иному (сравнительно с традиционным подходом. — К.Г.) выстроить межчастеречные отношения в эпоху более отдаленную..." [21, с. 63—64]. В нахско-дагестанском материале налицо немало качественных адъективов, производных от соответствующих стативных глаголов, ср. [22, с. 112—113]. Аналогичное соотношение известно в настоящее время и во множестве других случаев. Естественно предположить, что в подобных условиях исследование генезиса имени прилагательного, прежде всего — качественного, отсылает к так называемому качественному глаголу или *Adjektiv-Verbum*, известному целому ряду языков мира (их характерная семантика — "быть длинным", "быть приятным", "быть зеленым" и т.п.) и составляющему, в частности, в представителях активной типологии один из основных подклассов стативного глагола. В плане изучения этапов такого

пути формирования имени прилагательного интересны, например, факты североамериканского языка чероки (из группы ирокезских), в котором отглагольный адъектив, будучи наделенным предикативной функцией, еще изменяется по лицам, но уже лишен всех других форм глагольного словоизменения [23, с. 208—209].

Не менее существенная в этом отношении роль глагола в той или иной форме отмечается и в теоретически ориентированных работах. Так, С. Томпсон ищет функциональные основания категоризации *property concept words* в качестве особого класса лексем [2]. В то же время тезис, согласно которому формирование самой атрибутивной синтагмы в поверхностной структуре предложения обусловлено характером предикативной группы, лежащей в его глубинной структуре, стал одним из общих мест современной синтаксической теории; ср. [24, с. 72; 25, с. 350—351, 356 и сл.].

Одним из конкретных стимулов, побудивших автора настоящей статьи обратиться к рассмотренной здесь проблеме, послужили некоторые итоги предпринятого им в последние годы пересмотра первой версии его этимологического словаря картвельских языков. Существенным следствием коррекции семантики ряда реконструированных ранее архетипов явилась едва ли не полная элиминация имен прилагательных, которые с какой-то степенью надежности могли бы проецироваться в пракартвельское состояние. Из общего числа всего двенадцати праязыковых архетипов, реконструированных — в нескольких случаях, впрочем, с оговоркой о проблематичности предлагавшегося решения — с адъективной семантикой, в настоящее время лишь в одном случае последняя может претендовать на достоверность.

Так, в пяти примерах уже сама семантика вовлеченного в сравнение картвельского материала при ближайшем рассмотрении скорее свидетельствует в пользу реконструкции соответствующего субстантива, а не адъектива. Сюда относятся архетипы \**kuṭu-* "пенис руги", \**marʒwen-* "правая рука" (еще в древнегрузинских текстах эта лексема, подобно ее аналогам в других языковых семьях, нередко сохраняет значение имени существительного), \**tērxē-* "ясное небо, ведро", \**oqer-* "сирота, одиночка" (следует учитывать и вероятную неисконность этой лексемы, фонологическая структура которой не укладывается в рамки канонической модели картвельского корня), а также \**čqint-* "незрелый плод (овоща)" (к тому же, как выясняется, сванский аналог слова, имеющий значение "мальчик", оказывается метафорическим переосмыслением грузинского заимствования, являющегося апофоническим именным производным от грузинско-занской глагольной основы \**čqł-el- : čqł-t-* "мять, давить", которая содержит отсутствующее в сванском языке распространение *-el // -t*). Заметим в этой связи, что в недавно вышедшем в свет в Грузии этимологическом словаре картвельских языков архетипам \**kuṭu-* и \**čqint-* уже приписана субстантивная семантика, а \**oqer-* вообще не фигурирует [26, с. 195 и 477].

В четырех других случаях сванский компонент сравнения, строго говоря, не сопоставим с грузинско-занским материалом ввиду специфического способа его деривации: ср. сван. *głrgod-* "кружок на заборе при калитке" при груз.-зан. \**m-głgw-al-* "круглый", сван. *twetne-, tetwene-* "белый" при груз. *teṭr-*, сван. *ʒw-in-el* "старый" при груз.-зан. \**ʒiw-el-*, сван. *daṭx-el-* "редкий, жидкий" при груз.-зан. \**itx-el-*. В первом случае перед нами сопоставление, и ранее рассматривавшееся как проблематическое [27, с. 130—131], компоненты которого явно не совпадают в своей начальной части (именной словообразовательный преф. *-m*, отличающийся в сванском чрезвычайной устойчивостью, в позиции перед консонантом имеет облик *mə*). В связи с двумя последними примерами необходимо подчеркнуть, что сванский суф. *-el* не может быть признан историческим эквивалентом идентичного ему грузинско-занского, поскольку этимологическое *l* в исходе сванской основы, как известно, не сохранялось [ср. также вторичность *-el* (< \**-al*) в *ʒwinel-* и высказывавшееся в специальной литературе мнение о зависимости сван. *daṭxel-* от грузинского слова].

- В одном случае восстанавливавшийся архетип не может трактоваться как общекартвельский, поскольку сван. *tebdi* // *tebedi* "теплый" зависит от осет. *tevdos*, ср. [28, с. 283] и непосредственно не сопоставимо с груз.-зан. \**tp-il*- "теплый", являющимся историческим причастием с суф. *-il* // *-el* от глагольной основы \**ter-* / *tr-* "быть теплым".

Наконец, очевидны и трудности сведения к сколько-нибудь единому историческому знаменателю груз. *titvel-* "голый" и его занской и сванской аналогий (ср. мегр. *titila-* "род ящерицы" и сван. *titam-*, *tiwel-* "голый"), поскольку они не обнаруживают закономерного соотношения в плане фонетики. Не менее существенно заметить, что грузинское слово должно быть позднейшей (экспрессивной?) переработкой др.-груз. *šišuel-* "голый", вследствие чего в этимологическом словаре картвельских языков Г. Фенриха и З. Сарджвеладзе этот материал не сопоставляется.

В итоге особых возражений не вызывает лишь одно отглагольное по своему происхождению прилагательное \**m-šwen-* "красивый" [27, с. 140], способное восходить к общекартвельскому состоянию, хотя оно могло возникнуть и параллельно в грузинско-занском и сванском ареалах. Если учитывать, впрочем, что посредством преф. *m-* в пракартвельском состоянии производились и имена, не перешедшие в разряд прилагательных (ср. картв. \**m-čier-* "насекомое, муха" при глагольной основе \**čier-* "царапать, изображать"), то это обстоятельство может считаться "важным указанием на первоначальное единство категории имен (существительных и прилагательных)" [29, с. 187].

Ввиду сказанного естественно прийти к выводу, что наличие картвельского звена, лежащего в основу немногочисленных архетипов адъективной семантики, реконструировавшихся В.М. Иллич-Свитычем для ностратического уровня, и в большинстве случаев ставившегося под сомнение самим автором ностратического словаря, ср. [15, с. 177, 219, 223, 229, 232, 239; 30, с. 41], становится в высшей степени проблематичным.

Дальнейшая история имени прилагательного в картвельских языках, если ограничиться ее наиболее заметными в первом приближении характеристиками, протекает под знаком общей консолидации входящих в этот класс девербативных и деноминативных лексем и довольно отчетливым образом повторяет едва ли не универсальные линии его эволюции. В плане содержания адъективы сформировали здесь свою достаточно определенную смысловую структуру, обуславливающую их подразделение на подклассы качественных и относительных. При этом, как и в истории индоевропейских и множества других языков, выявляется индуцирующая роль развития первых по отношению к последним (точка зрения Л.П. Якубинского, согласно которой в своем генезисе все прилагательные являются относительными, исходила, как известно, из господствовавшего в прошлом представления об исключительно именных истоках этой части речи). Процессы не менее общего характера имеют место и в плане выражения адъективов. Так, с одной стороны, нетрудно продемонстрировать последовательное расширение специфического по языкам инвентаря их деривационных средств, приводящее к пополнению словаря новыми единицами. С другой стороны, очевидно, что прирост этого фонда происходит за счет адъективации теряющих свои глагольные признаки причастий, а также за счет заимствований (реальность заимствования прилагательных допустима для эпохи не ранее грузинско-занского состояния). В составе атрибутивной синтагмы за всеми видами адъективов закрепляется обычное препозитивное положение. Независимо от характера решения вопроса, насколько общим для картвельских языков являлся процесс распространения словоизменительных потенций субстантива на адъектив, на нашем материале подтверждается и процесс деморфологизации последнего, сводящийся к постепенной элиминации его падежно-числового согласования с определяемым, документально засвидетельствованный памятниками грузинского литературного языка не только среднего, но и уже древнего периода.

Наблюдаются здесь и некоторые явления, по-видимому, менее общего характера, однако нередко фиксируемые в ряде других языковых семей. Ср., в частности, становление супплетивизма основ компаративных форм адъектива в грузинском языке, а также случаи утраты формами сравнительной степени своей специфической семантики с преобразованием их в обычные позитивные формы в сванском (ср. *хоба*- "хороший, добрый", *хоба*- "плохой").

Однако конкретные механизмы всех этих процессов, равно как и их релятивную хронологию, еще предстоит изучить. И здесь перед исследованием возникает несколько проблем, решение которых наталкивается на определенные трудности. Одна из них, только что затронутая в предшествующем изложении, сводится к вопросу, может ли факт обычного отсутствия падежно-числового согласования компонентов атрибутивной синтагмы бесписьменных картвельских языков, т.е. господствующая в ней групповая флексия, рассматриваться как отражение завершенности здесь процесса деморфологизации адъектива (отдельные факты языка сванской поэзии, а также сванских диалектов, например, чубехевского говора, как будто указывают на бывшее падежное согласование определения-прилагательного со своим определяемым). Другой из подобных вопросов — не может ли допустимое здесь постпозитивное положение адъектива в атрибутивной синтагме интерпретироваться в качестве непосредственного отражения некоторой иной нормы прошлого, аналогичной известной из языков—представителей активного строя (предстоит также выяснить, что дает в плане истории словоупотребления в этой синтагме анализ картвельских композитов различного типа).

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Dixon R.M.W.* Where have all the adjectives gone? and other essays in semantics and syntax. Berlin; New York; Amsterdam, 1982.
2. *Thompson S.A.* A discourse approach to the cross-linguistic category Adjective // *Explaining language universals* / Ed. by Hawkins J.A. Oxford, 1988.
3. *Климов Г.А.* Типология языков активного строя. М., 1977.
4. *Климов Г.А., Мачавариани Г.И.* Рефлексы общекартвельского в занском (мегрельско-чанском) языке // *Studia Caucasica*. 1966. № 2.
5. *Гамкрелидзе Т.В., Мачавариани Г.И.* Система сонантов и аблаут в картвельских языках. Типология общекартвельской структуры. Тбилиси, 1965 (на груз. и русск. яз.).
6. *Чикобава А.С.* Чанско-мегрельско-грузинский сравнительный словарь. Тбилиси, 1938 (на груз. яз.).
7. *Мартirosов А.Г.* Одна группа имен суффиксального образования в древнегрузинском // *Изв. АН Груз. ССР. Серия языка и литературы*. 1976. 1 (на груз. яз.).
8. *Лернер К.Б.* К вопросу о социолингвистических условиях эволюции грамматических категорий (на материале истории грузинского языка) // *ВЯ*. 1990. № 1.
9. *Jensen H.* Der steigende Vergleich und sein sprachlicher Ausdruck // *Indogermanische Forschungen*. 1934. Bd LII. Hf. 2.
10. *Кипшидзе И.* Грамматика мингрельского (иверского) языка с хрестоматией и словарем // *Материалы по яфетическому языкознанию*. VII. СПб., 1914.
11. *Шанидзе А.Г.* Показатель лица у склоняемых слов в картвельских языках // *Тр. Тбилисского гос. ун-та*. 1936. 1 (на груз. яз.).
12. *Дондуа К.Д.* К генезису формы сравнительно-превосходной степени в картвельских языках // *Язык и мышление*. IX. М.; Л., 1940.
13. *Зурабишвили Т.* Степени сравнения в картвельских языках // *Тр. Тбилисского гос. ун-та*. 1957. Т. 67 (на груз. яз. с русск. резюме).
14. *Мачавариани Г.И.* К генезису форм сравнительной степени в картвельских языках // *Тр. Тбилисского гос. ун-та*. 1958. Т. 71 (на груз. яз. с русск. резюме).
15. *Илич-Свitics В.М.* Опыт сравнения ностратических языков. Сравнительный словарь. в — к. М., 1971.
16. *Кизириа А.И.* Простое дополнение в форме дательного падежа в древнегрузинском языке // *ИКЯ*. XI. Тбилиси, 1959 (на груз. яз.).
17. *Tuite K.* Das Präfix x- im Frühgeorgischen // *Georgica. Z. für Kultur, Sprache und Geschichte Georgiens und Kaukasiens*. Hf. 13/14. Jahrgang 1990—1991.
18. *Курилович Е.* Заметки о сравнительной степени (в германском, славянском, древнеиндийском, греческом) // *Курилович Е. Очерки по лингвистике*. М., 1962.
19. *Dixon R.M.W.* Adjectives. 1988 (препринт).
20. *Redei K.* Uralisches etymologisches Wörterbuch. Lf. 1—7. Bp., 1986—1988.

21. *Кармуциш Н.В.* Проблемы реконструкции вратюрского глагола: демпоральная система, ее истоки и преобразования: Научный доклад, представленный к защите на соискание уч. степени докт. филол. наук. М., 1991.
22. *Кибрик А.Е.* Опыт структурного описания арчинского языка. Т. II: Таксономическая грамматика. М., 1977.
23. *Lindsey G., Scancarelli J.* Where have all the adjectives come from? The case of Cherokee // Proc. of the Eleventh annual meeting of the Berkley linguistic society. Berkley, 1985.
24. *Chomsky N.* Syntactic structures. The Hague, 1957.
25. *Marchand H.* Studies in syntax and word-formation // International library of general linguistics. Bd 18. München, 1974.
26. *Фенрих Г., Сарджвеладзе З.* Этимологический словарь картвельских языков. Тбилиси, 1990 (на груз. яз.).
27. *Климов Г.А.* Этимологический словарь картвельских языков. М., 1964.
28. *Абаев В.И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. III. М.; Л., 1979.
29. *Жирмунский В.М.* Происхождение категории прилагательных в индоевропейских языках в сравнительно-историческом освещении // Изв. ОЛЯ. 1946. № 3.
30. *Иллич-Свитыч ВМ* Опыт сравнения нестратических языков. Сравнительный словарь. 1—3. М., 1976.

1992

## СКИФСКИЙ ЯЗЫК: ОПЫТ ОПИСАНИЯ

Одним из наиболее важных вопросов иранской филологии является проблема скифского языка как такового и его связей с другими иранскими языками. Данные для решения этого вопроса, имеющиеся в нашем распоряжении, весьма скудны, но они, как кажется, все же дают возможность в какой-то степени охарактеризовать язык скифов и определить его место в составе индоиранской языковой семьи. Такими данными являются прежде всего скифские глоссы у античных авторов, особенно у греческих писателей, в меньшей степени — скифская ономастика.

### 1. Скифская проблематика в существующей литературе<sup>1</sup>

Почти до наших дней продержалась точка зрения, согласно которой близкие друг другу иранские диалекты, на которых говорили согдийцы, хорезмийцы и другие северо-восточные племена, а на западе — сарматские племена и современные осетины, восходят к единому скифскому языку как особой ветви общеиранского праязыка [3]. Несколько модифицированный подход к этой проблеме неоднократно излагал В.И. Абаев [4—7], считающий скифский (т.е. североиранский) язык обособленным, прежде всего лексически, от других иранских диалектов, однако внутренне однородным языком. Исходной предпосылкой для Абаева как палеолингвиста и этимолога является идентификация осетинского в качестве продолжения сарматского диалекта и в дальнейшей хронологической перспективе — скифского. Отсутствие тех или иных скифских элементов в осетинской лексике Абаев склонен объяснять их позднейшей утратой, а не изначальным отсутствием. Следует, однако, добавить, что им признается и наличие диалектной дифференциации между скифским и сарматским.

С критикой обеих точек зрения выступил Я. Харматта [8+9], считающий, что необходимо пересмотреть концепцию Готье и Абаева, базирующиеся на теории генеалогического древа и на убежденности во вторичном характере диалектных различий. Харматта выдвинул гипотезу формирования осетинского этноса в результате «заселения» различных иранских племен. Исходя из предположения об относительной древнем характере диалектной дифференциации иранского праязыка, он полагал, что скифо-сарматские языки (или диалекты) не были гомогенными, и иранские племена, обитавшие в первом тысячелетии до н.э. в Северном Причерноморье, говорили на нескольких самостоятельных

<sup>1</sup> Здесь нет необходимости входить в обсуждение скифской проблемы в целом. Работами К. Мюллера, В. Миллера, В. Томашеки, М. Фасмера, В.И. Абаева и др. полностью доказано распространение ираноязычного (т.е. скифского и сарматского) элемента на территории Северного Причерноморья в период от VIII—VII вв. до н.э. до IV—V вв. н.э. Этот этнос был известен классическим авторам под общими названиями «скифы» (греч. Σκύθαι / лат. *Scythae*) и «сарматы» (греч. Σαρμάται, Σαρμάται / лат. *Sarmatae*). Если под этими наименованиям скифов и сарматов скрывались также некоторые иранские элементы, что возможно (см. спорные толкования этимологии Духавахишвили, который предполагал северокавказские этно-глотогенетические связи скифов), то приходится согласиться, что для их языковой характеристики сделано пока недостаточное количество попыток изучения О.Н. Трубачевым индоарийского (т.е. скифского) слона в Северном Причерноморье (см. [1, с. 39—63; 2, с. 13—29] и мн. др. его работы).

иранских языках, во многих отношениях отличавшихся друг от друга. Харматта считал, что на основании одного лишь фонетического критерия можно выделить по крайней мере четыре языка или диалекта [8, с. 58]. Таким образом, была предпринята попытка установить (на основании ряда фонетических изоглосс) отдельные языки или диалекты, существовавшие на территории к северу от Черного моря. Однако изоглоссы Я. Харматты<sup>2</sup> далеко не бесспорны, а их характер неоднороден, что вынуждает скептически отнестись к достоверности данной попытки<sup>3</sup>.

С моноязычной теорией Р. Готье и полиязыковой Я. Харматты с давних пор конкурировала третья, наименее популярная, хотя она представлена еще у Геродота. Эта концепция, особенно поддержанная М. Фасмером [11—12], предполагает существование двух отдельных языков — скифского и сарматского (аланского). Точка зрения, близкая данной, была высказана и Л. Згустой [10], который усматривал наличие диалектных различий в иранских антропонимах, зафиксированных в греческих надписях северного побережья Черного моря; они разделяются им на две группы: архантные — западные (т.е., по мнению Згусты, скифские) и более поздние — восточные (т.е. сарматские). Подобный подход не является совершенно неприемлемым для В.И. Абаева [4, с. 148; 7, с. 274], который не исключает, что отдельные иранские племена, обитавшие в причерноморских степях в VIII в. до н. э. — IV в. н. э., несколько отличались по языку, поскольку "редко вообще бывает, чтобы язык не делился на диалекты и говоры" [7, с. 273]. Он допускает, что наибольшая дифференциация существовала между скифами и сарматами, поскольку Геродот отмечал политико-географическую самостоятельность обоих племен (отражением ее была граница по реке Танаис, или Дону) и их отличие по языку. Абаев ссылается в этом последнем случае на свидетельство Геродота (IV, 117), который указывает, что "языком сарматов является тот же скифский, но только с давних пор испорченный" [... φωνῆ δὲ οἱ Σαυρομάται νομίζουσι Σκυθικῆ, σαλοικίζουτες ἀπὸ τοῦ ἀρχαίου (Геродот IV, 117)]. Однако Абаев недооценивает значения данного свидетельства. Не подлежит сомнению, что во времена Геродота (I-я пол. V в. до н. э.) языковые различия между отдельными иранскими народами были относительно невелики. Поэтому шесть веков спустя Страбон мог совершенно определенно заявить, что такие народы, как персы, мидийцы, бактрийцы и согдийцы, относятся к ариям и пользуются почти одним и тем же языком [εἶσι γὰρ πᾶσι καὶ ὁμόλωτοι παρὰ μικρὸν (Страбон XV, 724)]. Слова Геродота "скифский с давних пор (ἀπὸ τοῦ ἀρχαίου) испорченный", употребленные по отношению к сарматскому, приобретают в свете сообщения Страбона смысл "другой иранский язык". Поэтому концепция, предполагающая наличие двух отдельных иранских языков — скифского и сарматского, — существовавших в Северном Причерноморье, представляется нам наиболее подкрепленной источниками<sup>4</sup>. Однако ее надлежит проверить, опираясь на лингвистические данные. При этом необходимо исключить из рассмотрения те факты, которые не обладают признаками, позволяющими отнести их к конкретному иранскому этносу. Далее сле-

<sup>2</sup> Харматта [8] выделяет, например, такие изоглоссы, как прав. \**ary* > 1) *ary*, 2) *al*, 3) \**h* (осет. *h*), 4) *h* на основании главным образом антропонимии, данные которой могут быть интерпретированы иначе, чем в работе венгерского ученого, тем более что рассматриваемый им материал (1) неоднороден хронологически, (2) не имеет твердой этнической соотнесенности и (3) мог подвергнуться греческой адаптации.

<sup>3</sup> Точка зрения Харматты оспаривается Л. Згустой [10, с. 268—271]. Отрицательно оценил подход венгерского исследователя также В.И. Абаев [7, с. 274], отмечавший, что сопоставление фактов не всегда осуществляется им со строго синхронных позиций; возникает опасность усмотреть диалектные различия там, где в действительности мы имеем различия хронологические, отражающие разные этапы звукового развития одного и того же языка.

<sup>4</sup> В одной из последних своих работ Абаев заявляет: "Концепция двух диалектов; скифского и сарматского, восходящая еще к Геродоту и принятая также Фасмером, имеет наиболее солидную базу" [7, с. 274].

дует, весь скифско-сарматский лексический материал подвергнуть сплошной проверке с целью отделения лексики бесспорно скифской от сарматской и иранской неясного происхождения. Затем необходимо осуществить этимологическую реинтерпретацию скифского материала, поскольку его анализ прежде проводился в соответствии с законами историко-сравнительной грамматики осетинского языка (т.е. сарматского диалекта). Хотя результаты такого анализа могут обладать высокой степенью достоверности, это вовсе не следует со всей обязательностью.

Необходимо отметить, что источники для изучения обоих рассматриваемых здесь языков совершенно различны. Скифская лексика сохранилась прежде всего в виде глосс и ономастики, тогда как словарный состав сарматского почти полностью отражен в осетинском [ср. [4, с. 9—94], особенно с. 41—47]; кроме того, остатки одного из аланских диалектов были зафиксированы на венгерской территории в письменности начала XVI в. н. э. [13], а благодаря греко-византийским авторам в большом количестве сохранились глоссы и даже целые аланские выражения (ср., например, аланские фразы у византийского писателя Цеца, жившего в XII в. н. э. [4, с. 254—259]), не считая имен собственных. Таким образом, на основании указанных источников положение сарматского языка в (индо)иранской языковой семье определено вполне однозначно. Место же скифского языка в этой семье до сих пор остается неуточненным. Данная работа имеет своей целью в определенной мере устранить эту лауну.

## 2. Место скифского языка в (индо)иранской языковой семье.

Характеристика скифского языка будет даваться с опорой на аргументы фонетического, морфологического и лексического характера при одновременном использовании всего доступного лексического и ономастического материала. Целью данного анализа является: 1) сопоставление скифского и сарматского языков, что позволит определить их соотношение и характер генетических связей; 2) уточнение положения языка скифов по отношению к другим (индо)иранским языкам.

### 2.1. Фонетические аргументы.

#### 1. Иран. \**d* > сарм. *d* (или *δ*): скиф. *l*; киммер. *l*.

Сарматский язык унаследовал иранскую фонему \**d* в неизменном виде, ср. осет. *don* "вода", яск. *dan* тж. [13, с. 30] < иран. \**dānu*- "река, течение, вода"; осет. *ās* "десять" < иран. \**dasa* < н.-е. \**dékmt* "10", ср. ягн. *das*, ишк. *da*, сангл. *dos* тж.. Нельзя установить, прошла ли осетинская фонема *d* в своем развитии стадию [δ], хотя такая возможность часто постулируется на основании того, что в большинстве восточноиранских языков иран. \**d* изменилось во фрикативный *δ* или даже в фонему *l*, ср. согд. (маник.) *δs'*, шугн. *δīs*, хотан. *dasau* [*d* = δ], руш.: *dos*; сарык. *des*, язг. *dis*, вах *das* наряду с афг. *lās*, йидга *las* "10".

В скифском языке в противоположность сарматскому уже во время Геродота (1-я пол. V в. до н. э.) иран. \**d* через стадию зубного фрикативного *δ* развилось в фонему *l*. В пользу такой интерпретации говорят следующие факты:

1.1. Скиф. Παράδαται, племенное название, означающее, по словам Геродота (IV, 6), правящую скифскую династию и разьяняемое им в других местах с помощью выражения Σκύθαι βασιλέων, т.е. "царские скифы"; < иран. \**paradāta*- "поставленный во главе, по закону назначенный", ср. авест. *paraδāta*- (почетный титул владыки, букв. "поставленный впереди, во главе"), н.-перс. *pešdādiyān* (первая легендарная династия иранских царей у Фирдоуси). Следует заметить, что данная этимология является общепринятой [4, с. 161, 175; 7, с. 285, 298; 11, с. 15; 14, с. 112; 15, с. 322; 16, с. 85, 120; 17, с. 22].

1.2. Скиф. Σκόλοτοι, племенное название, которое, по Геродоту, было общим самоназванием всех скифских племен и происходило от имени их царя (σύμφασι [=Σκύθαισι] δὲ εἶναι ὀνόμα Σκολότους τοῦ βασιλέως ἑπώνυμην — Геродот IV, 6) <

иран. \**skuda-ta*- "лучники" [17, с. 17—23], где *-ta*- являются показателем собирательности. (Ср. IX. 1). Производными от данного этнонима являются, несомненно, греч. *Σκύθαι* "скифы", ассир. *Ašgūzai* или *Išgūzai* тж. (ок. 680 г. до н. э.), др.-евр. *Askenez* или *Askeuez*, библейский эпоним скифов (Книга Бытия, X. 2, 3)<sup>3</sup>. Этим подтверждается, что первоначально в данном этнониме на месте скиф. / выступал зубной фрикативный δ, который передавался посредством греч. θ ассир. z, др.-евр. z. Нельзя исключить связи этого этнонима с личным именем (ср. [17, с. 21—23]), поскольку в другом месте Геродот (IV, 78—80) сообщает о скифском царе, носящем имя *Σκύλης* (ср. греч. *Σκύθησ* "скиф"), т.е. "лучник". Внешним подтверждением *post quem* процесса δ > / является ассирийский поход скифов (около 680 г. до н. э.), а также расселение их в причерноморских степях (VII в. до н. э.), поскольку лишь тогда греки могли соприкоснуться со скифами и познакомиться с их этническим самоназванием. Временные границы рассматриваемого процесса *ad quem* неизбежно связаны со скифским путешествием Геродота (начало V в. до н. э.).

I.3. Скиф. *maluwyam* "напиток, приготовленный на меду" (*μελύγιου* [гамма [Г] вместо дигаммы [F]). *πόμα τι οκυθικόν μέλιτος ἐπιμένου σὺν ὕδατι καὶ ποσ τιμὴ — Гесихий*) < иран. \**madu-* "мед" (ср. скр. \**mīdhu* "мед", греч. μέθυ тж., осет. ирон. *myd*, дигор. *mud* "мед") + суф. *-wya-*.

I.4. Скиф. *maglú* "лебедь" (*μαγλύ* [книжн. ἀγλύ]. *ὁ κυκνὸς ὅπερ Σκυθῶν — Гесихий*) < иран. \**madgu-*, ср. н.-перс. *māy* "водоплавающая птица", скр. *madgú-* тж.

I.5. Иран. \**d* несомненно, является источником скифского /, которое относительно богато представлено в скифской ономастике (преимущественно в антропонимии), например, имя *Κολάξαισ* — мифический предок скифов (возможно, из иран. \**skuda-kšay-* "повелевающий скифами"), *Λιπόξαισ*, *Λύκος*, *Παλαίσο*, *Σαῦλιος*, *Σκίλουρος* и т.д., а также в киммерийской ономастике, например, *Λύδαμις* (ассир. *Tugdammē*), киммерийский владыка (из иран. \**Durğda-maiši-*, ср. ниже, III. 4).

## II. Иран. \**h-* > сарм. φ: скиф. φ-.

Западноиранские языки сохранили начальное *h-* (ср. например, ср.-перс. *haft*, тадж. *haft*, тат. *häf*, бахт. *haft* / *häfi*, хурд. *häft*, парачи *hdi*, ормури *hō/wō* "семь" < иран. \**hafta* < и.-е. \**septm̥* "7"), тогда как восточноиранские утратили *h-*, ср. согд. βi [=ava], хорезм. βd, афг. *ová*, ягн. *afi/ava*, язг. *uvd*, мундж. *ovda*, сарм. \**avda* [aβda] "семь", зафиксированное в аланском названии города Феодосии в Крыму: Арδ-αβδα, переводимом как греч. Ἐπτά-θεος "имеющий семь божеств" (< иран. \**arəta-hafta-*), осет. *avd* "7" (< иран. \**hafta*)<sup>6</sup>.

Аналогичным образом и в скифском языке не сохраняется начальный \**h-*. Об этом могут свидетельствовать следующие данные:

II.1. Скиф. \**arima-* "число один" (*αριμα γάρ ἐν καλέουσι Σκύθαι — Геродот IV, 27*) < иран. \**ha\*rima-* (букв. "число 1"). Компонент *ha-* (< и.-е. *-sm̥* "один") в индоиранских языках часто выступает в составе сложений, ср., например, авест. *ha-kerət*, скр. *sa-kṛt* (< и.-е. \**sm̥-k* "1" "один раз"). Относительно компонента \**rima-* "число" ср. ниже IV. 3.

II.2. Аристофан в комедии "Женщины на празднике Фесмофорий" вложил в уста скифского лучника формы *βολερ* вм. *βολер*, *βлер* вм. *βлер* и т. д. "Во времена Аристофана скифские лучники выполняли в Афинах обязанности службы по охране порядка, следовательно, указанная ошибка, очевидно, была у скифов

<sup>3</sup> В литературе по данному вопросу соотношение греческого названия *Σκύθαι* и скифского племенного названия *Σκόλοτοι* истолковывается по-разному; не убеждает, однако, ни точка зрения, отделяющая друг от друга оба эти этнонима, ни имевшие место попытки выяснить возникшую соотношение (ср., например, выведение греч. *Σκύθαι* из \**skul-ta-*, где *-ta-* является коллективно-множественным показателем, а \**skul-* якобы позаимствовано у доиранского населения этой территории [4, с. 243—244; 7, с. 363—364]).

<sup>6</sup> Из восточноиранских языков лишь хотанский сохранил начальный *h-*, ср. хотан. *hauḍa* "семь".

очень распространённой. Не будет лишний вероятности предположить, что опущение сильного придыхания (') в греческих словах связано с тем, что в своем родном языке скифы не имели начального *h*.

III. Иран. интервокальный *-z-* > сарм. *-z-* [-z-]: скиф. Ø (киммер. Ø).

Одной из наиболее характерных черт восточноиранских языков является развитие интервокального *-z-*. В северо-восточных диалектах интервокальных *-z-* обычно сохраняется без изменений (ср., например, согд. *ywz*, язг. *ywz*, осет. ирон. *γos*, дигор. *qwa* "ухо" < иран. \**gauša-* тж.), тогда как в юго-восточных диалектах интервокальный *-z-* претерпел изменения, превратившись в отдельных языках в следующие фонемы (ср. [16, с. 116, 121]): *-z̄-* (афг. *ywaž* "ухо"); *-ʃ-* (шугн. *ywʃ* тж.); *-f-* или *-f̄-* (сарык. *ywʃ*, ишк. *yül/yül̄*, сангл. *γol/γōl̄*); *-y-* (мундж. *yū* "ухо"); *-w-* или *-θ-* (руш. хуф. *γōw*, йидга *yū*, барт., орош. *yū*, хотан. *ggwya-*, язг. *γəvə* "ухо").

В скифском языке интервокальный *-z-* видоизменился в фонему *-θ-* (или *-w-*). Такой вывод мы делаем на основании следующих данных.

III.1. Скиф. *spāu* [оюб] "глаз" (ἄριμα γὰρ ἐν καλέουσι Σκύθαι, οὐοὺ δὲ τὸν ὀφθαλμὸν — Геродот IV, 27) < иран. \**spāsuš-* "глаз" < и.-е. \**spēksus-* тж. Словообразовательной основой в данном случае является иранский корень \**SPAS-* [18, с. 1614], продолжение и.-е. корня \**SPEK-* "смотреть, видеть" [19, с. 984—985], ср. лат. *specio* "смотреть", скр. *spasati*, авест. *spasyeiti* "смотрит". Скифское слово образовано аналогично скр. *caksus-* "глаз" (производное от скр. глагола *caste* "смотрит, видит"): \**CAS-* [19, с. 638—639], ср. авест. *cašman* "глаз", н.-перс. *cašm* тж.

III.2. Скиф. *kararū-* "крытая повозка, используемая для жилья" (καράρυες οἱ Σκυθικοὶ οἰκοῦντες οἱ δὲ τὰς κληρέφες [книжн. κληρέτες] ἀμάξας — Гесихий) < иран. \**kerəšarū-* "кэбитка кочевников", ср. тох. А *kursār* тж. (мн. ч. *kursārwa/karšru*), в *kursar/kwarsār* (мн. ч. *kursārwa/kwārsarwa*).

III.3. Скиф. \**krau-kasi-* "белый от снега", скифское название Кавказа (... Scythae ipsi Persas Chorsaros et Caucasum Crotcasim, hoc est nive candidum — Плиний, NH, VI, 50) < иран. \**krauš-* "снег, лед", ср. греч. κρύος "холод" (из \**krusos*), κρύσταλλος "лед, кристалл", др.-в.-нем. (*h*)*rosa*/(*h*)*roso* "лед", литов. *kruša/kruša* "град", русск. *кροха* [19, с. 622; 20, с. 23, 88]. Второй компонент данного сложения (т.е. *-kasi-*) обычно объясняют как "блестящий" [19, с. 622; 21, с. 116—117].

III.4. Имя собственное (греч.) Λουδαίς, (ассир.) *Tugdammē*, имя царя киммерийцев (VII в. до н. э.) < иран. \**ayūda-maiš-* "владеющий молочными овцами" (см. [8, с. 5]), ср. авест. имена собственные *Duyōd.yā-* I. (мать Заратустры) и *Dawrā.maiš-* II. ("имеющий жирных овец, принесших приплод"). В данном итнониме проявляются две типично скифские языковые черты: (1) процесс перехода \**h* > скиф. *l* через стадию зубного фрикативного *ð*, а отсюда неоднозначность записи: греч. Λ- наряду с ассир. T-; (2) утрата интервокального *-z-*.

Невозможно определить, является ли данное имя собственное киммерийским или скифским, пока не будет решен вопрос об этнической принадлежности киммерийцев. Материал, которым мы здесь располагаем, еще более скромнее, чем имеющийся в отношении скифов, а трудности более значительны. Серьезную проблему представляет хотя бы уже само название этого народа: ведь греч. Καίριαιот эллины получали не от самих киммерийцев, а от оседлого анатолийского населения, которое обычных степняков называло \**gimmarai*, ср. хет. *gimmaraz* "степь", лув. *immar-* тж. На данном этапе исследования следует остановиться к точке зрения, в соответствии с которой киммерийцы представляют собой ядром иранского происхождения, родственный скифам. Об этом свидетельствует следующее: (1) ставшаяся с киммерийцами в Малой Азии, восточные народы с трудом отличали их от появившихся там позднее скифов и часто смешивали оба этноса; (2) в греческих источниках эти народы не всегда различаются; (3) представления греков о киммерийцах имеют записано "скифский" характер, например, Πρωσ Κιμμεριος представляется в образе скифского лучника; (4) в Библии (Книга Бытия, III, 2, 3) *Aksuim* (т.е. эпоним скифов) считается сыном *Gomer* (т.е. эпонима киммерийцев); (5) по культуре и языку киммерийца ближе всего к скифам [6, с. 125; 12, с. 169 и сл.; 22, с. 115; 23, с. 131; 24, с. 88; 25, с. 10—13]; (6) археологически культуры киммерийцев и скифов почти тождественны [26, с. 171—173].

IV. Иран. \**-ry-*, \**-ri-* > сарм. *-l-*: скиф. *-ry-*, *-ri-*.

В сарматском языке сочетания *-ry-* и *-ri-* преобразовались соответственно в фонемы */-l/* либо */-ll-/*, ср. например, сарм. *Ἀλανοί / Alani* (осет. *Allon*) — название одного из главных сарматских племен < иран. \**Aryāna*- [4, с. 245—247], осет. *sal-* (приставка) < иран. \**pari-*, ср. авест. *pari-*, скр. *pari-*, греч. *περι-* [6, с. 35—41]. Скифский же, напротив, сохранил эти сочетания звуков без изменений, о чем свидетельствуют следующие примеры:

IV.1. Скиф. *anarya-* "гермафродит" (*οἱ Ἐνάρες = οἱ ἀνδρόγυνοι* — Геродот I, 105; IV, 67) < иран. \**a-narya-* (букв. "не-мужской"), ср. скр. *narya-* "мужской", осет. *nāl* "муж, мужчина" [4, с. 151, 174; 7, с. 276, 296; 10, с. 13]. Менее вероятным является возведение к иран. \**an-arya-* "не-арийский" (ср. авест. *anarya-* [18, с. 120]), предположенное Мюлленгофом [14, с. 104].

IV.2. Скиф. *arya-* "арийский, арнец" (ср. авест. *aṛya-*, др.-перс. *ariya-*), выступающее обычно в именах собственных: *Ἄρια-κτίθης* (< индоиран. \**arya-paitás-* "имеющий арийский облик", ср. ниже V.2.) и *Ἀρίαντας* (< иран. \**arya-vanti-* "арнеподобный", ср. [4, с. 156; 7, с. 280; 10, с. 12; 26, с. 158]).

IV.3. Скиф. \**rima-* "число" (выступает в скифском сложении *a-rima-* [ἄρμα] "число один", ср. выше II.1.) < иран. \**rīma-* < праи.-е. \**arīθmō-* "число", ср. др.-в.-нем. *rīm* "ряд, очередность, число", др.-исл. *rīm* "счет" и т.д. (из герм. \**rīma-*), др.-ирл. *rīm* "число", греч. *ἀριθμός* тж. [19, с. 60].

V. Индоиран. \**č* \*(*h*) > сарм. *sz*: скиф. *θ δ*.

Иранские языки продолжают индоиранские фонемы \**č* и \*(*h*), восходящие к и.-е. \**k* и \*(*g*), двояким образом: либо в виде аффрикат *θ δ* (в древнеперсидском и языках, его непосредственно продолжающих), либо в виде аспирата *s z* (в большинстве иранских языков). Сарматский относился ко второй группе языков, ср. осет. *dās* "десять", авест. *dasa*, др.-перс. \**dada* "10" (сохранившееся, в частности, в н.-перс. *dah*, тадж. *dah*, тат. *dāh*, бахт. *deh* и т.д.) < и.-е. \**dek̑m* "десять", ср. выше, 1.). Скифский же язык сохранил такое положение, как в древнеперсидском, т.е. аффрикаты *θ δ*. Об этом свидетельствуют следующие факты:

V.1. Скиф. *θarza-* "растение, использовавшееся для окраски шерсти и волос в золотистый цвет" (*Θάρινον. τὸ ξαντόν, ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς θάψου, ἢ ξανθίζουσι τὰ ἔρια καὶ τὰς κεφαλὰς. τοῦτο τινας Σκυθικὸν λέγουσι. καὶ ὁ ποταμὸς, παρ' ᾧ φύεται τὸ ξύλον, Θάρος καλεῖται* — Гескиий) < индоиран. \**čarza-* (1) "какое-то растение": афг. *zabah* "вид травы", н.-перс. *zabz* "зелень, трава", скр. *Jaṣṣat* п. "(свежая) трава" (с метатезой неясного происхождения в сочетании *-ps-*), праkrit. *zarp̄ha-* "свежая трава" [27, III, с. 318—319, 797]; (2) "какое-то дерево": хотан. \**zansa-* (засвидетельствовано в заимствованиях: комп *sās* "кедр", арм. *zams*, н.-арм. *zoz* "платан"; ср. осет. ирон. *sūsqād*, дигор. *sōsqādā* "липа") < и.-е. \**kopsō-* "вид растения (дерева)", ср. алб. *thanë f.* "кизил" и псл. \**zozna* "*Pinus silvestris* L." (оба из и.-е. \**kops-nā-* f.).

V.2. Скиф. *paídañ-* п. "облик, вид" (лексема зафиксирована в сложных именах собственных: *Σκάρυα-κτίθης*. имя скифского царя, из индоиран. \**sp̄ṛga-paitás-* "подобный юной лозе" [4, с. 175, 183; 7, с. 297—298; 10, с. 16; 28, с. 164], а также *Ἄρια-κτίθης*, имя скифского князя, из индоиран. \**arya-paitás-* "обладающий арийским обликом (украшением)" [10, с. 12; 14, с. 117; 16: 11; 28, с. 158]) < индоиран. \**paitás-* "вид, облик, цвет, украшение", ср. скр. *péśas-* п. "вид, цвет", авест. *paesah-* п. "украшение". Не вызывает сомнений, что запись Геродота передает здесь аффрикату [θ], поскольку в другом месте он приводит имя князя Массагетов (сына царицы Τίμορις) как *Σκάρυα-κτίθης*. Сопоставление обоих имен, скифского и массагетского, восходящих к единой индоиранской праформе \**sp̄ṛga-paitás-*, однозначно свидетельствует о соотноше-

нии между скифским  $\vartheta$  и массагетским  $s$ , аналогичном соотношению между др.-перс.  $\vartheta$  и авест.  $s^3$ .

V.3. Скифские заимствования в сарматском языке (т.е. праосетинском) и других соседних языках (в том числе финно-угорских, славянских, тохарских, хотанском, чувашском, тунгусских и др.)

V.И. Абаев [4, с. 138—143; 29, с. 7—12] приводит несколько осетинских слов, в которых продолжением индоевропейских заднеязычных палатальных является зубная фонема, и считает их заимствованиями из древнеперсидского языка. Однако это в равной степени могут быть и скифские заимствования. В пользу последнего, по нашему мнению, свидетельствуют следующие обстоятельства: (1) древнее соседство скифов и сарматов (предков осетин); (2) география заимствований: например, лексема *\*par(a)ḡu-* "секира, топор" проникла не только в осетинский, но также в хотанский, тохарские, финно-угорские, тунгусские, чувашский и, вероятно, в славянские языки (если мы считаем посл. *\*toporъ* скифским заимствованием с последующей метатезой); (3) отсутствие в древнеперсидском материале тех лексических элементов, для которых предполагается древнеперсидское происхождение (например, *\*par(a)ḡu-*, *\*raḡanā-* и т.д.).

Полагаем, что это достаточные основания для того, чтобы считать лексические элементы данного рода происходящими из скифского. Следующие "миграционные слова", по нашему мнению, восходят к скифскому источнику:

V.3.1. Скиф. *\*aḡi-* "трава", ср. *āḡi-gar-* "саранча", букв. "(насекомое), пожирающее траву": > тох. А *āti*, в *āi(i)yai* obl. sg. "трава" > тюрк. *\*ōt* "трава".

V.3.2. Скиф. *\*aḡu-ka* adv. "быстро, внезапно" (ср. скр. *āsú-* adj. "быстрый", греч.  $\acute{\alpha}\kappa\acute{\upsilon}\varsigma$  тж.): > тох. А *ātuk*.

V.3.3. Скиф. *\*ḡasta-* "рука" (ср. скр. *hasta-*, авест. *zasta-*, др.-перс. *dasta-* "рука"): > согд. *ḡsti*, хорезм. *ḡsti*, хотан. *dastā*; афг. *lās*, вах. *last*, шугун. *ḡust* "рука". Данное предположение учитывает распространение форм типа *dasta-* в восточноиранских языках, поскольку трудно признать древнеперсидскую лексему генетическим источником этих всех заимствований.

V.3.4. Скиф. *ḡaḡa-* "дерево, древесина, лес" (ср. иран. *\*gaza-* 1) "древесина, дрова", 2) "тамариск", 3) "камыш" [30, с. 40]): > осет. ирон. *ḡāḡ*, дигор. *ḡāḡā* "лес, (срубленное) дерево, бревно" (ср. осет. ирон. *ḡāz*, дигор. *ḡāzā* "камыш"); > венг. *gaz* "небольшой лес; поваленное дерево".

V.3.5. Скиф. *\*par(a)ḡu-* "топор, секира" (ср. скр. *paraśú-*, греч.  $\pi\acute{\epsilon}\lambda\epsilon\kappa\upsilon\varsigma$ , язг. *parāš*, парачи *pašō* "топор"): > осет. *fārāt*; > тох. А *porat*, В *perēt* "топор"; > чув. *purÉḡ*; > тунг. *purta* "нож"; > вотяк. *purt*, зырян. *purt* тж. (откуда заимствовано др.-русс. *порть* "топор") [31, с. 76]; хотан. *paḡā* "топор"; цсл. *\*toporъ* тж. (с метатезой согласных под влиянием глагола *\*terq* "бью, ударяю", ср., например, др.-русс. *топоръ*, польск. *topór* и т.д.).

V.3.6. Скиф. *\*raḡanā-* f. "ремень, веревка" (ср. скр. *raśanā-* f. тж., н.-перс. *ra-san*): > осет. *rātān* тж.

V.3.7. Скиф. *\*ḡarmi-* "вид дерева" (ср. др.-перс. *ḡarmi-* "кедр", ср.-перс. *sarv* "кипарис", хет. *kalmi-* "полено, обрубок дерева" < и.-е. *\*kolmi-*): > осет. *talm* "вид дерева; ильм".

V.4. В скифской лексике и ономастике находим фонемы, передаваемые в греческом посредством  $\vartheta$  и  $\delta$ , например,  $\Theta\alpha\upsilon\mu\alpha\sigma\acute{\alpha}\delta\alpha\varsigma$  (бог вод у скифов, отождествляемый с греческим Посейдоном),  $\text{Μαδύης}$  (имя скифского царя),  $\tau\acute{\alpha}\rho\alpha\nu\delta(\rho)\omicron\varsigma$  (обитающее в Скифии рогатое животное, похожее на оленя<sup>9</sup>) и т.д. Поскольку иран. *\*d* в скифском регулярно соответствует *l* (ср. выше, I), не вызывает сомнения, что скиф. *d/ḡ* должно в конечном счете представлять собой фонему,

<sup>8</sup> Уже Абаев сообщает, что скифские имена  $\Sigma\kappa\iota\phi\alpha\text{-}\pi\acute{\alpha}\iota\theta\eta\varsigma$  и  $\text{Ἀρια-}\pi\acute{\alpha}\iota\theta\eta\varsigma$  выступают "с др.-персидским оформлением  $\vartheta$  вместо  $s$ " (ср. [4, с. 175; 7, с. 297]), но он ограничивается лишь этой информацией.

<sup>9</sup> Из индоиран. *\*śaran-tara-* (см. [32, с. 62—65; 33, с. 49—53]), ср. скр. *śarabha-* "вид оленя", манс *ḡorḡ*,  $\mathfrak{z}\acute{o}r$  "лось".

близкую авест. *z* и др.-перс. *d*. Пер analogiam скиф. *ʒ* соответственно должно быть фонемой, близкой авест. *s* и др.-перс. *ʃ*.

VI. Иран. *\*-rn-* > сарм. *-rn-*: скиф. *-ll-*

Сочетание согласных *-rn-* в сарматском языке не претерпело изменений (см. ниже, VI.2), тогда как в скифском оно трансформировалось в геминату *-ll-*. Данный процесс на скифской почве подтверждается двумя свидетельствами:

VI.1. Скиф. *Māspallā* f., скифская богиня луны (Μεσπέλλα [книжн. Μεσπλη<sup>10</sup>], ἡ Σελήνη παρὰ Σκύθαισιν — Гесихий) < иран. *\*Mās-pərənā-* f. (с закономерным сохранением *\*s* в позиции перед взрывным согласным), ср. др.-перс. *Māh-* f. "богиня луны": *māh-* f. "луна", бактр. *Maō* "божество луны", фриг. (из киммер.?) *Mās* или *Mā* f. "богиня луны"<sup>11</sup>. Данный скифский теоним образован из тех же элементов (только в обратном порядке), что и индоиранская лексема *\*pṛna-mās-* "полная луна", ср. скр. *pūrna-mās-* "полная луна", авест. *pərənō.māh-* m. "луна, божество луны" [34, с. 61—62]. Следует заметить, что в хотанском мы встречаем слово *purra-* "луна", которое будучи субстантивированным прилагательным жен. рода, продолжает индоиранскую лексему *\*pṛnā-* f. (букв. "полная").

VI.2. Скиф. *\*x'allah-* n. "хвала, слава" (> псл. *\*chvala* f. тж.) < иран. *\*x'arnah-* n. "слава, величие", ср. авест. *x'arənah-* "царский блеск, величие" (часто выступающее в качестве символа законной царской власти), хотан. *pharrā-*, др.-перс. (из мидийского) *farnah-* n. "королевский блеск, слава, счастье" [35, с. 118], согд. *prn*, н.-перс. *farr* "блеск, величие", бактр. *фар(р)о*, осет. *färn* "счастье, богатство, покой". Псл. *\*chvala* неоднократно признавалось иранским заимствованием [36, с. 143—145; 37; 38, с. 25—26; 39, с. 53—54]. Важнейшее доказательство в пользу иранского происхождения данной лексемы приводит Т. Милевский [28, с. 206—207; 40, с. 50], показавший, что славянское сложное имя *\*Bogu-chvalь* "славный перед богом" (ср. др.-русск. *Богухваль*, чеш. *Bohuxval*, польск. *Boguchwał*) является точным отражением ("репродукцией") мидийского *Bagā-farnah-* тж. Скифское существительное ср. рода с основой на *-ah-* (< и.-е. *\*-es-*) было преобразовано славянами как слово женского рода с основой на *-ā*. Адаптация такого типа является вполне регулярной, с учетом того факта, что другое иранское слово *\*x'arnah-* n. "пища" (ср. авест. *x'arənah-* n. тж. [18, 1873]), омонимичное (sic!) предыдущему, было заимствовано славянами как *\*chorna* f. "пища", также "охрана, защита" [36; 41, с. 36; 42, с. 85—91]. В последнем случае источником заимствования, несомненно, явился один из диалектов сарматского (сохранено сочетание *-rn-*)<sup>12</sup>.

VII. Иран. *\*w/\*w'* > сарм. *v/ʃ*: скиф. *β/w*.

Характерной чертой восточноиранских языков является развитие *\*w* твердого либо *\*w'* мягкого. В сарматском языке первый позиционный вариант сохранился в виде *v* (ср. осет. дигор. *väss* "теленок", ясс. *vas* "bidellum" [13, с. 19, 21], ср. скр. *vatsa-* "теленок"), второй же был полностью утрачен (ср. осет. ирон. *ssäz*, дигор. *insäi* "двадцать" [43, с. 555] < иран. *\*wi(n)sati*, ср. авест. *wisati* "20", скр. *vimsatth* тж.).

<sup>10</sup> В лексиконе Гесихия данная глосса находится между статьями *μεσοφέρειν* и *μεσπλη* (книжн. *μεσπλη*), поэтому алфавитный порядок заставляет нас принять конъектуру: *Μεσπέλλα* (книжн. *Μεσπλη*).

<sup>11</sup> Фригийская богиня *Mās/Mā* в новофригийской надписи (Но. 48) соседствует с такими заведомо иранскими божествами, как *Mittra-* и *Wāta-* (ср. ... *Mittra* *Fata* *ke* *Mās* *Teuroyeios* *ke* *Pouuntac* *Vas* *ke* ...), что склоняет к выводу об иранском (предположительно киммерийском) происхождении имени и данной богини.

<sup>12</sup> Фонологические, хронологические и формальные аспекты вышеупомянутых заимствований, свидетельствующих об интенсивных славяно-иранских контактах в скифский и сарматский периоды, будут рассмотрены нами в специальной работе.

В скифском языке \*w' (мягкое) сохранилось как w, тогда как \*w (твердое) развилось в спирант β. Наличие такой оппозиции показывают следующие примеры: VII.1. Скиф. \*wira- "муж, мужчина" (ὄβρ = δ άνήρ — Геродот IV, 110) < иран. \*wira- тж., ср. скр. *vīrāh*, авест. *vīra-* м. "Мани" [18, с. 145]. Данная этимология является общепринятой [4, с. 172—173; 7, с. 295, 298, 308; 10, с. 15].

VII.2. Скиф. \*ahuwira- "ум, разум, мудрость" (ἄνορ. νοβσ ὀλοδ Ἐκόθων — Гесихий) < иран. \*anu-wira- тж., ср. курд. *bīr* "память", н.-перс. *vīr* "разум, ум, память" (< иран. \*wira-). Префикс *anu-* в аналогичной функции выступает также в санскрите, ср. скр. *anumatih* f. "суждение": *matih* f. "мысль, замысел, цель, понимание, суждение, молитва, гимн", скр. *anukāmah* м. "жажда, стремление": *kāmah* м. "стремление, любовь".

VII.3. Скиф. *maluwyam* (μελύγιον) п. "напиток, приготовленный на меду" < иран. \**madu-wya-* (ср. выше, I. 3).

VII.4. Скиф. \*baru- "широкий" (прилагательное зафиксировано в скифском названии Днепра — βορυσθένης [Геродот, Птолемей, Страбон]) < индоиран. \*wṛi- adj. "широкий", ср. скр. *vrī-*, авест. *voṛu-*, греч. *vōrú-* тж. (< праи.-е. \**ṛwṛiHú-*).

VII.5. Скиф. \*Arti-βāsa-, скифская богиня счастья и порядка, соответствующая Афродите Уранни (Ἄρτιβασα = Ουρανίη Ἀφροδίτη — Геродот IV, 59) < индоиран. \**Rti-wasišta-* "прекраснейшая *Rti-* (т.е. Судьба)", ср. ср.-перс. *Ardibehest* (один из язатов), бактр. *Arđoxos*, богиня, изображенная как римская Фортуна [44, с. 149] < иран. \**arai-wahišta-* [45, с. 318; 46, с. 324]. Первый компонент \**Rti-* (ср. авест. *arī-*, ср.-перс. *ard*) является именем богини счастья ("Glücksgottin") [15, с. 325, п. 4]; /м/ передает в записи Геродота скифский фрикативный [β].

VII.6. Киммер. *βāta* "бог ветра" (имя которого заимствовано фригийцами как *Φατα*, см. ссылку 11) < иран. \**Wāta-* "бог ветра": \**wāta-* "ветер", ср. авест. *Vāta-*: *vāta-* тж., бактр. *Oado* "бог ветра", осет. *wad* "буря, ветер".

VIII. Индоиран. \**ih* > сарм. *i*: скиф. *h* (> ∅).

Индоиранская фонема /*ih*/ (> скр. *ih*, авест. *θ*) в сарматском совпала с фонемой /*i*/, тогда как в скифском она упростилась в *h* (> ∅), ср., например:

VIII.1. Скиф. \**Yakšām-pāyah*, название священного места близ реки Гипанис (Южный Буг), где находился источник с соленой водой (Ἐξαπλαῖος = Ἰραί ὄδοι "священные пути" — Геродот IV, 52) < индоиран. \**Yakšām pathayas* (буквально "пути якшей"). Конечный компонент (-*παῖος*=*ὄδοι* "пути") представляет собой скиф. пом. рl. \**pāyah* от скиф. *pāy* (< \**pahi*) "путь", ср. скр. *pāhi-* тж., мн. ч. *pāhayas*, др.-перс. *paθi-* "путь".

VIII.2. Скиф. \**βāsa-*, *superl.* "прекраснейший, -ая, -ее" (прилагательное зафиксировано в имени скифской богини счастья и порядка, отождествляемой Геродотом [IV, 59] с Афродитой Уранией) < иран. \**wahišta-*, тж. (ср. выше, VII.5.).

Выводы. Представленные сопоставления фонетических взаимоотношений дают возможность, уже на этом этапе работы, сформулировать вывод о соотношении между сарматским и скифским языками. Приведенные факторы фонологического рода несопоставимо доказывают, что в скифском языке V в. до н. э. представлены такие явления, которые не наблюдаются ни в сарматском праязыке, ни в одном из происходящих от него языков (аланский, яский, осетинский). Здесь можно указать на такие процессы, как: (1) иран. \**d* > скиф. *h*; (2) интервокальное \**-š-* > *-θ* (или *-w-*); (3) \**-rn-* > *-ll-*. Кроме этого, скифский продолжает использовать индоевропейские гуттуральные палатальные согласные (я.-е. \**k* \**g* \**ǵh*) в виде аффрикат /*θ* *δ*/ и приближается в этом отношении к староперсидскому, а в сарматском здесь употребляются, т.е. продолжается традиция большинства иранских языков.

Перечисленные расхождения наглядно показывают, что нельзя говорить о языках скифов и сарматов, как о близких друг другу диалектах какого-то единого североиранского языка. Это безусловно два разных иранских языка.

- (содержит) и\* как восток и как запад (содержит) и\* как запад и как восток
1. Трубачев О. Н. О синах и их языке // ВДИ. 1976. № 4.
  2. Трубачев О. Н. Диалектистическая периферия древнейшего славянского. Мадарияда в северном Причерноморье // ВЯ. 1977. № 6.
  3. Gauhlot R. Essai de grammaire sogdienne. Premiere partie. P., 1914—1923.
  4. Абаев В. И. Осетинский язык и фольклор. Т. I. М., Л., 1949. С. 147—224.
  5. Абаев В. И. Isoglosse scito-europae // Annales Institut Universitarii Orientali Napoli. Sezione linguistica. M. IV. 1962.
  6. Абаев В. И. Скифо-сарматские диалекты. На стыке востока и запада. М., 1965.
  7. Абаев В. И. Скифо-сарматские наречия // Основы иранского языкознания. Т. I. Древнеиранские языки. М., 1979.
  8. Harmatta J. Studies in the language of the Iranian tribes in South Russia // Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. 1950/1951. T. 1.
  9. Harmatta J. Studies in the history and language of the Sarmatians. Szeged, 1970.
  10. Zgusta L. Die Personennamen der griechischen Städte der nördlichen Schwarzmeerküste. Die ethnischen Verhältnisse, namentlich das Verhältnis der Skythen und Sarmaten im Lichte der Namenforschung. Praha, 1955.
  11. Vasmer M. Untersuchungen über die älteste Wohnsitze der Slaven. F: Die Iranier in Südrussland. Leipzig, 1923.
  12. Vasmer M. Skythen. Sprache // Reallexicon der Vorgeschichte. 1928. Bd 12.
  13. Németh J. Eine Wörterliste der Jassen, der ungarländischen Alanen. B., 1959.
  14. Müllenhoff K. Deutsche Altertumskunde. Bd III. B., 1892.
  15. Humbach H. Scytho-Sarmatica // Die Welt der Slaven. 1960. Jg. V, Hf. 3—4.
  16. Оранский И. М. Введение. Иранские языки в историческом освещении // Основы иранского языкознания. Т. I. Древнеиранские языки. М., 1979.
  17. Szemerényi O. Four Old Iranian ethnic names: Scythian — Skudra — Sogdian — Saka. Wien, 1980.
  18. Bartholomae, Chr. Altiranisches Wörterbuch, Strassburg, 1906. (2-te unveränderte Aufl. B., 1961).
  19. Pokorny, J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern; München, 1959.
  20. Illich-Svitych V. M. Nominal accentuation in Baltic and Slavic. Cambridge; London, 1979.
  21. Eilers W., Mayrhofer M. Namenkundliche Zeugnisse der iranischen Wanderung? Eine Nachprüfung // Die Sprache. 1960. Bd VI.
  22. Minns E. H. Scythians and Greeks. Cambridge, 1913.
  23. Harmatta J. Le problème cimérien // Archeologiai Ertesitő. 1946—1947. Ser. 3. № 7/9.
  24. Potratz, J. Die Skythen in Südrussland. Basel, 1963.
  25. Абаев В. И. О некоторых лингвистических аспектах скифо-сарматской проблемы // Проблемы скифской археологии. М., 1971.
  26. Кукулина И. В. Ранние известия о скифах и киммерийцах // ВДИ. 1981. № 2.
  27. Mayrhofer M. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Bd I—III. Heidelberg, 1953—1979.
  28. Milewski I. Indoeuropejskie imiona osobowe. Wrocław, Warszawa, Kraków, 1969.
  29. Абаев В. И. Древнеперсидские элементы в осетинском // Иранские языки. Т. I. М., 1945.
  30. Стеблин-Каменский И. М. Флора иранской прародины // Этимология. 1972. М., 1974.
  31. Redei K. Zu den indogermanisch-uralischen Sprachkontakten. Wien, 1986.
  32. Isebaert L. Encore grec τάρπυρος "renne" // Glotta. 1982. LX, Hf. 1/2.
  33. Witczak K. T. Tocharian B karse "hart, deer" and Hittite karsaš "locust, grasshopper" // Tocharian and Indo-European studies. 1990. IV.
  34. Scherer A. Gestirnammen bei den indogermanischen Völkern. Heidelberg, 1958.
  35. Brandenstein W., Mayrhofer M. Handbuch des Altperischen. Wiesbaden, 1964.
  36. Golub Z. The initial x- in Common Slavic: a contribution to prehistorical Slavic-Iranian contacts // American contributions to the Seventh International Congress of slavists. The Hague, 1973.
  37. Reczek J. Najstarsze słowiańsko-irańskie stosunki językowe. Kraków, 1985.
  38. Мартынов В. В. Балто-славяно-иранские отношения и глоттогенез славян // Балто-славянские исследования. 1980. М., 1981.
  39. Мартынов В. В. Язык в пространстве и времени. К проблеме глоттогенеза славян. М., 1983.
  40. Milewski T. Ewolucja morfologiczna indoeuropejskich złożonych imion osobowych // BFTJ. 1959. XVI.
  41. Трубачев О. Н. Из славяно-иранских лексических отношений // Этимология. 1965. М., 1967.
  42. Reczek J. Iranische Entlehnungen im Urslavischen // FO. 1968. IX.
  43. Исеев М. И. Осетинский язык // Основы иранского языкознания. Т. 4. Новоиранские языки. Восточная группа. М., 1987.
  44. Göbl R. Zwei neue Termini für ein zentrales Datum der alten Geschichte Mittelasiens, das Jahr 1 der Kusankönigs Kaniska. Wien, 1964.
  45. Ливинци В. А. [Перевод сурх-хоральской надписи] // Массон В. М., Рамонди В. А. История Афганистана. Т. I. М., 1964.
  46. Стеблин-Каменский И. М. Бактрийский язык // Основы иранского языкознания. Т. 2. Среднеиранские языки. М., 1981.

© 1992 г. КРАСУХИН К.Г.

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЛАТИНСКИХ  
ГЕРУНДИЕВ-ГЕРУНДИВОВ И СОПОСТАВЛЕНИИ ИХ  
С ДРУГИМИ ОТГЛАГОЛЬНЫМИ НАРЕЧИЯМИ

Италийский герундив — отглагольное прилагательное со значением страдательного долженствования — образуется с помощью суффикса *-nd-* (в оскоумбрском *-nn-*); герундий — аналогичная форма, не согласованная с другими членами предложения, стоящая в одном из косвенных падежей и обозначающая абстрактное действие как характеристике сказуемого (или других членов предложения). Происхождение этих грамматических категорий не может считаться до конца выясненным. Дело в том, что прилагательные со значением долженствования встречаются во многих и.-е. языках и деепричастия нередко связаны с ними по происхождению: в этой связи следует принять во внимание литов. прилагательное долженствования на *-tina-*, глагольный определитель *-tinai-*, [1, 325], скр. деепричастия на *-tva, -tva, -ya*, прилагательные на *-tuvas, -tavuvas, -auvas, -aniyas*, греч. *-téo-*. Однако рассматриваемая категория обнаруживает значительный разнобой в суффиксах, что свидетельствует о ее формировании уже в рамках истории отдельных и.-е. языках. В частности, суффикс италийского герундия-герундива *-nd-/-nn-* не находит прямых параллелей, и относительно его происхождения существуют различные гипотезы.

Согласно наиболее распространенной точке зрения, этот суффикс восходит к тому же прототипу, что и литов. *-tinas*, слав. *-тънь*. Эта гипотеза базируется на сходстве функционирования указанных суффиксов (лат. *agendus* = литов. *dirtinas* "подлежащий работе"); глагольный же определитель типа *begtinaĩ* во фразе *begtinaĩ bėgti* "бегом бежать" близок к лат. герундию в выражениях типа *cursando atque ambulando diem contrivi* (Тер. Нес. 815)<sup>1</sup> "в беготне и прогулках я истратил весь день". Их различие в том, что глагольный определитель фигурирует только в *figura etymologica*, подчеркивая экспрессивность действия, кроме того, в литовском эта форма является показателем просторечного стиля; слабость этого сопоставления — в отсутствии примеров, демонстрирующих фонетический переход *\*-tn- > -nd-/-nn-* (если не считать постулируемого Эрну-Мейе соответствия этрус. *mutna* "могила" — лат. *mundus* в специфическом значении "преисподняя" [2, s.v. *mundus*]). Кроме того, в латинском известен суф. *-tinus*, не имеющий отношения к герундиву, а связанный преимущественно с темпоральными наречиями: *cras* — *crastinus* "завтрашний", *diu* — *diutinus* "длительный".

<sup>1</sup> В статье приняты следующие сокращения источников: Ил. — Илиада, Од. — Одиссея (первая арабская цифра указывает на номер песни, вторая — на номер стиха); Ambr. — Ambrosius; Ap. Apol. — Apulaeus, Apologia; Caes. B.G. — Caesar, Commentarii de bello Gallico; Cat. — Catullus; Cic. — Cicero; De nat. — De natura deorum, De or. — De oratore, Div. — De divinatione, Fin. — De finibus bonorum et malorum, Part. — Partitiones oratoriae, Off. — De officiis, Phil. — Philippicae, Sest. — Pro Sestio; Verr. — In Verrem; CIL — Corpus Inscriptionum Latinarum; Liv. — Livius, Ab urbe condita; Phaedr. — Phaedrus; Pl. — Plautus; Bacc. — Bacchides, Cist. — Cistellaria, Mil. — Miles gloriosus, Plin Ep. — Plinius Secundus, Epistulae; P.Syr. — Publius Syrus, Sententiae; Quint. Decl. — Quintillianus, Declamationes; Sen. — Seneca Minor: Med. — Medea, Thy. — Thyestus; Tac. Ann. — Tacitus, Annales; Ter. — Terentius: Hec. — Hecyra, Phorm. — Phormio; Dupp. — Duppi-Tešup-Vertrag; KBoT — Keilschrifttexten aus Bogazköi

Другая гипотеза была выдвинута Дж. Паултни [3]. С его точки зрения, переход  $tn > nd$  не доказан; герундий и герундив восходят к тому же прилагательному, что и санскритское пассивное прилагательное на *-nya-*: лат. *vehendus* = скр. *vahaniya*<sup>2</sup>. К этому же прототипу восходят славянские абстрактные имена типа *оучение*, *ни* *ниче*, *знание* и т.д. Подобные прилагательные входят в обширный класс гетероклитических форм. Следствие фонетического закона  $*nj >$  итал. *nn/nd* Дж. Паултни видит в лат. *tendo* (греч. *τείνω*), лат. *-fendo* (греч. *θεινω*) [3, с. 41]. Тем самым латинский герундий-герундив репрезентирует йотированный вариант и.-е. прилагательных на *-no-/-eno-*. В пользу этой гипотезы можно привести дополнительные аргументы: суф. *-io-* часто чередуется с простой тематической основой, особенно в прилагательных и посессивных словах: греч. *τρίτος* — лат. *tertius*, литов. *trečias* < *\*tretias*; в ряде случаев он удерживает посессивную семантику, утраченную простым тематическим именем: греч. *φίλος* у Гомера означает "милый, дорогой", в языке же классического периода обретает значение "друг", и тогда появляется новое адъективное образование *φίλιος* "дружеский". Йотированные формы часто указывают на лицо, подвергающееся действию: скр. *madhu-ād* "едящий мед, т.е. медведь", но *adya* "съедобный", *vahana* "везущий" — *vahaniya* "должный быть увезенным"<sup>3</sup>. Инактивное значение свойственно и именам на *-no-*, причем суф. *-(i)io-*, может рассматриваться как контаминация *-no-* и *-io-*: ср. греч. *ἅγιος* и *ἁγνός* "святой", но скр. *yājati* "приносить жертву" (сюда же относятся и скр. *ijya* "почтенный; учитель").

Однако все эти соображения доказывают правомерность реконструкции прилагательных на *\*-nio-/-enio-*, но не отнесения к ним латинского герундия-герундива. Приведенные Дж. Паултни аргументы нельзя признать убедительными по следующим причинам. Во-первых, нет никакой уверенности в том, что *tendo*, *-fendo* < *\*tenjo*, *\*fenjo*; ниже будет показано, что *-d-* правомернее рассматривать как морфему. Во-вторых, лат. *venio* < *\*gkenijō*, соответствующее греч. *βαίνω*, не обнаруживает следов перехода  $nj > nd$ . В-третьих, для лат. *grundio* "хрюкать" характерно, по-видимому, исконное *-d-*; показательно, что именно для этого глагола существует дублет *grunnio*. Можно предположить, что он, подобно многим другим словам, связанным с сельским обиходом, заимствован из оско-умбрийских диалектов (как и лат. *scrofa* "свинья"). Однозначных же свидетельств в пользу перехода праитал. *-nj-* в лат. *-nd-* не выявлено. Оско-умбр. *-nn-* явно вторичны по отношению к лат. *-nd-*. В пользу этого свидетельствует ряд колебаний в передаче *-nd-* в архаической латыни. В надписях, подвергавшихся влиянию соседних говоров, на месте *-nd-* стоит либо *-d-* (фалисские, помпейские говоры), либо *-n-* (надписи на территории осков и умбров). Ср. CIL I<sup>2</sup>364, X 3069; *Gonlegium quod est aciptum aetatei aged/ai/ opiparum ad vita/m/ quolundam* "Общество, которое было учреждено для деятельности по созданию изобильной жизни". Особый интерес здесь представляет сосуществование "фалисской" формы *agedai* (= *agendae*) и латинизированной ("гиперлатинской", по И.М. Троянскому [5, 227]) *quolundam*. В помпейских надписях известны формы *medacia* (= *mendacia*), *secudo* (= *secundo*); ср. также имя собственное *Verecunnus* = *Verecundus*; у Плавта находим *dispennite* (= *dispendite*; Pl. Mil. 1037), у Теренция — *tennitur* (= *tenditur*, Ter. Phorm. 330); в том, что *-d-* в лат. *pendo* исконно, никто не высказывал сомнения. Таким образом, данные фонетики наводят на мысль об исконности латинского и италийского *-nd-*. Задача состоит в том, чтобы определить происхождение этой морфемы.

Именно с этой точки зрения к данному вопросу подошел Ю.С. Степанов. В специальной статье [6] автор предлагает рассматривать данную форму как

<sup>2</sup> Э. Паултни причисляет к сторонникам этой гипотезы также Г. Курциуса, хотя у него ясно сказано: "Я считаю лат. *vehendus* не выводимым из скр. *vahaniyas*" [4, 664].

<sup>3</sup> Имена на *-ana-* в санскрите нередко имеют значение Verbalabstracta, поэтому прилагательные на *-anya-* могут рассматриваться как их конкретизация.

слившуюся синтагму, состоящую из отглагольного имени на *-en/-on* типа германского и германского инфинитива (здесь Ю.С. Степанов следует за Э. Бенвенистом [7]) и частицы *dum* "пока, в то время как, чтобы". Лат. *agendum* можно расчленить на \**agen* (греч. *ἄγειν*) + *dum*. Из этой гипотезы следуют выводы: 1) герундий — исконное наречие, формирование герундия произошло по аналогии: форма *agen-dum* была воспринята как аккузатив, благодаря чему появились формы типа *agendus, agendi, agendo*; 2) первичное значение герундия — добавочное действие, совершаемое параллельно с главным. Герундий же как отглагольное прилагательное развился из первичного наречия в истории самого латинского языка [6, с. 17]. Ю.С. Степанов сравнивает с герундием литовские "полупричастия", обозначающие второстепенные действия: *darb-dam-as* "работаю", *kalbė-dam-as* "говоря", *matų-dam-as* "видя" [6, с. 298], авест. энклитику *-dām*, др.-прусск. показатель неопределенно-личного глагола *-di(turedi, turridi)* "надо", а также греч. адverbальные наречия типа *σχεδόν*(ἔχω — *σχεῖν*), *ἀγδίην* (*ἄγω*), *ἐλίγδην* (*ἐλίσσω*) и т.д. Особое сходство, по мнению Ю.С. Степанова, с латинским герундием имеют наречия на *-ivd-*: *βασιλίνδον*, *δοτρακίνδα*, *ἀριστίνδον*. Сюда же автор (со ссылкой на Эрну—Мейе [2], s.v. *dum*) относит лат. частицы *-dem* (*idem, quidem*) и *-dam* (*quidam*). Ю.С. Степанов полагает, что *-dem* можно сравнивать с греч. *-δην* (при сокращении \**ē* в латинском по известному закону сокращения кельто-италийских долгот). Однако эолийская форма *κρυφάδην* (*κρυφῆδην*, гом. *κρυφῆδόν*) показывает, что греч. *-δην* следует возвести к *-dām*. Такая форма могла бы быть сопоставлена не с *-dem*, а с *-dam*, но этому препятствует значение неопределенности у латинской постпозитивной частицы. Латинские, балтийские и иранские формы, по мнению Ю.С. Степанова, восходят к так называемому протогерундиву: отглагольному наречию и/или абстрактному имени, которые маркировались частицей \**dom* и тяготели к объектной части и.-е. предложения и к инактивным синтагмам. Частица \**dam* может быть разделена на анафорический элемент *de* (греч. *δέ/δῆ*) и формант *-m*, который Ю.С. Степанов считает показателем неактивных несубъектных имен (см. теперь более подробно [8, 9]). Все эти наречия исследователь относит к обширному классу слов с действительными показателями.

Сама идея, в соответствии с которой герундий и герундий есть по происхождению отглагольное существительное, не нова. Весьма решительно это утверждал, например, П. Аалто [10, с. 147], приводя следующие аргументы: герундий не образует степеней сравнения и наречий, конструкция с так называемым аукториальным дательным (*mihi scribendum est* "мне должно написать") указывает на субстантивное происхождение герундия. Но отглагольные прилагательные и особенно причастия образуют степени сравнения главным образом тогда, когда они теряют непосредственную связь с глаголами и становятся качественными; в этом случае возможно образование степеней сравнения и от герундивных форм (*reverendus* "почтенный" — *reverendissimus* "почтеннейший"). Аблатив герундия в функции образа действия приближается к наречию: *docendo discimus* "уча(других), учимся". Таким образом, исходный пункт рассуждений Ю.С. Степанова близок к идеям П. Аалто, но им сделан важный новый шаг: предложена новая, формально непротиворечивая этимология суффикса.

Выведение лат. *agendum* из \**agen* + *dum* не вызывает возражения с точки зрения фонетики; для верификации этой реконструкции следует обратиться к иным уровням языка: морфосемантическому, синтаксическому и т.д. Прежде всего нужно заметить, что ни в одном итальянском языке не зафиксирован инфинитив на *-en/-on*. Имена на *-on* в латинском носят преимущественно конкретный характер (*homo, -inis, turbo, -inis, pedo, -onis*), если не считать отглагольных существительных на *-ion-*, продолжающих и.-е. *Verbalabtracta* на *-ti-*: греч. *λέξις* — лат. *lectio*, скр. *gati* — греч. *βάσις* — лат. *ventio*. Герундий как особая категория засвидетельствован только в латыни, в остальных итальянских языках известен только герундив. В форме *agendum* герундий встречается с предлогом *ad*, без



всех звезд" ("при всех погасших звездах"). В рассмотренных конструкциях происходит нейтрализация ряда оппозиций. Если логический субъект главного предложения и обособленного оборота совпадают, нейтрализуется активность/пассивность: *re intellecta in verborum usu faciles esse debemus* (Cic. Phil. 2, 12, 28) "поняв суть (= при понятой сути) мы должны легко пользоваться словами". В любом случае нейтрализуется оппозиция конкретности/абстрактности. Рассмотрим причины такой нейтрализации. Для этого вернемся к уже цитированным примерам из Плавта: (1) *perfectum hoc dabo negotium*, (2) *qui volunt te conventam*. В первом случае предикат свободно управляет объектом, с которым согласовано причастие; валентность же предиката *volo* иная. Конструкцию *te conventam* следует рассматривать как *accusativus cum participio*, выражающий цель при глаголе желания (в той же функции при глаголе *volo* стоит и *accusativus cum infinitivo*). Такая финальная конструкция утрачивает объектный характер и прямую зависимость от предиката. Очевидно, главную роль здесь играет не формальный субъект конструкции (*te*), а его атрибут *conventam*, несущий основное финальное значение. В таком случае не играет существенной роли, интерпретируется ли это причастие как конкретное или абстрактное имя. Причиной этой нейтрализации является превращение объектной конструкции в целевую. В абсолютных причастных оборотах тот же результат достигается благодаря разрушению синтаксических связей с главным предложением. В оборотах с *post*, *ante*, *ab* обособленность подчеркивалась локальными союзами, привносящими значение независимой бытийности. Итак, главными условиями нейтрализации оппозиции конкретного/абстрактного имени следует считать: а) выпадение причастного оборота из субъектно-объектных связей; б) его семантико-синтаксическую обособленность.

Таково в общих чертах развитие причастных оборотов в латыни. Рассмотрим с этой точки зрения взаимоотношение герундия и герундива. Как уже отмечалось, герундив имеет оттенок страдательного долженствования: *faciendus* "должный быть сделанным", *opus faciendum* "дело, которое нужно сделать". Конструкция с целевым значением *idoneus ad opus faciendum* "подходящий для делания дела" (= "для того, чтобы дело было сделано") согласно изложенным выше правилам, нейтрализует конкретное значение прилагательного; если же определяемое не несет существенного дополнительного смысла, оно может быть опущено: *idoneus ad faciendum* "подходящий для дела, действия". Возникший таким образом член предложения приближается в значении к инфинитиву и может заменять его в косвенных падежах (там, где инфинитив мог бы склоняться: при выражении цели, атрибутивности и т.д., ср. греческий инфинитив со склоняемым артиклем). Очевидно, так называемая "замена герундия герундивом" на самом деле есть древняя герундивная конструкция с нейтральзованным конкретным значением. В зависимости от падежа она может иметь различную семантику, но в ней всегда присутствует идея достижения определенного состояния, выражаемого герундивом, который благодаря этому теряет свое конкретное значение: *Non sine cause dii hominesque hunc urbi condendae locum elegerunt* (Liv. 54, 4) "Не без причины боги и люди избрали это место для основания города"; *Maiores nostri omnibus rebus agendis quod bonum, felix, faustum fortunatumque esset praefabantur* (Cic. Div. 1, 45, 102) «Наши предки перед совершением каждого дела говорили: "что хорошо, то пусть будет счастливо, благополучно, плодотворно"»<sup>5</sup>. Герундивная конструкция в этой функции широко распространена в архаической и классической латыни; весьма немногочисленные примеры замены ее на герундий с прямым дополнением есть факт внутренней истории латыни, связанный с разделением герундия и герундива. Такая замена оказалась малопродуктивной в латыни в силу описанных выше тенденций: формальное согласование отглагольных прилагательных с существи-

<sup>5</sup> Такие же конструкции известны и в других италийских языках.

тельными не препятствует развитию у них абстрактного значения и их постановке в центр высказывания. Все эти соображения наводят на мысль о том, что происхождение герундия из герундива — гораздо более правдоподобный процесс, чем обратный. Конечно, можно предположить, что и.е. "первичный герундив" превратился в (пра)италийском в герундив, а затем в герундий. Но это предположение требует определенного обоснования. Говорить о превращении герундива в герундий мы можем благодаря установленной тенденции превращения отглагольных прилагательных в имена абстрактного действия. Существовала ли обратная тенденция в позднеиндоевропейский-раннеиталийский период — неизвестно. Прилагательные в принципе могут образовываться от наречий (см. ниже), но если удастся отыскать и.е. прилагательное, сопоставимое с герундивом, то по закону "бритвы Оккама" следует возвести латинский герундив именно к прилагательному, а не к наречию.

Рассмотрим функционирование латинского герундия в различных падежах и попробуем затем сопоставить его с наречиями на *-dov* с точки зрения семантики. Здесь, однако, надо сделать ряд оговорок. Сходство в семантике двух грамматических форм в двух родственных языках само по себе никак не может быть показателем общности происхождения. Напротив, материальное сходство требует обращения к значению. Если две разнозначные, но гомоморфные формы будут тщательно проанализированы, это позволит установить либо их конвергентную, либо дивергентную омонимию. Иными словами, появляется возможность говорить либо о различном происхождении морфем, либо о функциональном расщеплении некогда единой формы. Понятно, что в различных языках с богатой культурной традицией даже родственные морфологические формы функционируют по-разному. Однако в них остаются обычно общие черты, которые и позволяют восстанавливать основное значение праформы. Поэтому для проверки гипотезы о связи лат. *agendum* и греч. ἀγήν необходимо рассмотреть их функционирование. Прежде всего рассмотрим парадигматику и синтагматику суффиксов. В латинском интересующий нас суффикс достаточно однотипен, в греческом имеет следующие разновидности: *-δov*, *-δην*, *-διov*, *-διην*, *-δα(δν)*. Если же мы выделяем в латинском морфему *-dum*, следует отметить ее избирательность: она присоединяется только к презентному корню, снабженному показателем *-en/-on*. Напротив, указанный греческий суффикс во всех его вариантах присоединяется к самым различным состояниям корня. Это могут быть наиболее унифицированные варианты, сближаемые с аористом (ἀνασταδόν, *-δα*), и презенсом (ἀγδήν, ἐλγδην), корни, сохраняющие апофонию одного из основных времен, преимущественно аориста (σχέδov — σχεῖν, ρυδόν, ρυδήν — ἔρρυην, καταχυδόν — ἔχυτο), корни со специальными глагольными показателями (κόναβος "шум" — κοναβέω, κοναβείω "шуметь" — κοναβηδόν); корни с презентными показателями (ἀποδιδράσκω — ἀποδιδρασκίνδov, φαίνω — φαίνίνδα), наконец, итеративные корни со ступенью *o* и суффиксом *-α/-η* (ἀμ-βολά-δov, συν-οχή-δov). Помимо глагольных корней, эти суффиксы сочетаются также с именными и местоименными корнями: κατ-ωμα-δόν "сплеча", ἰλά-δov "толпой, вместе", αὐτό-διov "тут же". Сопоставление сегмента *-ίνδov* с лат. *-endum* Ю.С. Степанов обосновывает ссылкой на сужение гласного в аркадском и кипрском диалекте (*iv*=*ev* в других диалектах). Таким образом, формы βασιλίνδov, ὄστρακίνδα, ἀριστίνδov являют полный аналог латинским герундиям в "ахейском" оформлении [6]. Однако внимательное рассмотрение этих наречий показывает, что сходство здесь конвергентное. Ведь за любым латинским герундием стоит производящий глагол: *agendum* — *ago*, *gerundum* — *gero*, *faciendum* — *facio*. Напротив, наречия на *-ίνδov* образуются скорее от имен: βασιλίνδov — βασιλεύς, ἀριστίνδov — ἄριστος при отсутствии \*βασίλω, \*ἀρίστοω и под. Кроме того, как указал К. Бак, *-v-* в таких наречиях факультативно: наряду с βασιλίνδov засвидетельствовано βασιλίδov [13]. Ю.С. Степанов предполагает и другую возможность: суффикс *-iv-* связан с лат. *-im* в наречных формах *partim*,

*statim, ductim*, с оскским инфинитивом на *-um* (*deikum* = *dicere*)<sup>6</sup>, с санскритским абсолютивом на *-am* (ср. еще [14, с. 662]). Латинские наречия на *-im* можно интерпретировать и как аккузатив имен на *-ti* наиболее архаического типа (сохраняется древнее *\*statis* вместе с более новым *statio, partim* сохраняет древний аккузатив гласного склонения). Вполне возможно, что и остальные наречия, приведенные Э. Швидером и Ю.С. Степановым, восходят к аккузативам отглагольных имен.

Сочетаемость латинских и греческих морфем и их внешнее оформление обнаруживают существенные различия. Это можно было бы объяснить тем, что в греческом данный суффикс продуктивен, а латынь законсервировала только один тип подобных наречий. Поэтому следует перейти к изучению семантики латинского герундия в сопоставлении с указанными греческими наречиями.

Латинский герундий реально засвидетельствован в следующих падежах: родительном (*-ndi*), аблативе (*-ndo*) и винительном (*-ndum*), всегда с предлогом *ad*. Эта конструкция сохранила семантику цели, свойственную герундивам. Она употребляется чаще всего в следующих случаях: 1) при глаголах движения, обозначая их цель: *Legatus est vir bonus, peregre missus ad mentiendum rei publicae gratta* (латинская пословица) "Посол — добрый человек, посланный за границу для лжи во имя государства". Иногда глаголы движения приобретают переносный смысл: *Caesar oppidum expugnavit et ad diripiendum militibus concessit* (Caes. V.G. 3, 80, 7) "Цезарь захватил город и уступил его войнам на разграбление"; глагол *concedo*, по происхождению глагол движения ("идти вместе"), обычно употребляется в значении "уступать, позволять"; 2) при глаголах стремления (потенциального движения): *Ad paenitendum properat cito qui iudicat* (P. Syr. Sent. 32) "К наказанию спешит тот, кто быстро судит"; *Opusandum est, ut ii, qui praesunt rei publicae, legum similes sint, qui ad paenitendum non iracundia, sed aequitate ducuntur* (Cic. Off., 1, 25, 89) "Следует желать, чтобы те, кто стоит во главе государства, были подобны законам, которые наказывают не по причине гнева, а справедливости". На поверхностном уровне такие глаголы способны трансформироваться в имена, сохраняя свою финальную семантику: *Vidimus in bestiis suam cuique naturam esse ad vivendum ducem* (Cic. Fin. 5, 15, 42) "Мы видим, что у животных природа — каждому руководитель для жизни"; 3) данная конструкция встречается у прилагательных *хороший/плохой, могущий/немогущий, сложный/легкий, достаточный/недостаточный*, т.е. выражающих возможность и потенциальное стремление к действию: (а) *rem quaeris praeclaram inventuti ad discendum, nec mihi difficilem ad perdendum* (Cic. Sest., 4, 96) "ты ищешь предмет, великолепный для изучения, мне не сложный для преподавания"; *ad vivendum est melior, qui onere liberior* (Ap. Apol., 21) "Для жизни лучше (пригоден) тот, кто свободнее от тяжестей"; (б) *breve tempus aetatis satis longum est ad bene honesteque vivere* (Cic. Sen., 19, 90) "краткое время жизни достаточно для хорошей и достойной жизни"; *Nullum ad nocendum tempus angustum est malis* (Sen. Med., 292) "Никакая пора злу для преступлений не помеха"; (с) *non enim, si malum est dolor, carere eo malo satis est ad bene vivendum* (Cic. Fin., 2, 18, 41) "если же зло — несчастье, то быть лишенным этого зла еще не достаточно для хорошей жизни"; (д) *Caesar nactus idoneam ad navigandum tempestatem...* (Caes. V. 6.4, 23, 1) "Цезарь, дождавшийся подходящей для плавания погоды..." (этот оборот интересен наличием здесь двух ядерных структур, каждая из которых может управлять герундием: *Caesar nactus* (tempes — *tatem*) *ad navigandum* и *tempestatem idoneam ad navigandum*); 4) при глаголах "быть, иметь": (а) *Quibus nihil est ad bene beateque vivendum* (Cic. Sen., 2, 4) "У кого нет ничего для хорошей и счастливой жизни"; (б) *Exempla ex vetere memoria plurimum*

<sup>6</sup> Вероятность реконструкции латинских герундиев как слияния инфинитива и частицы *\*dom* повышается, если вместо предложенного Бенвенистом, но не зафиксированного в итальянских языках инфинитива *-en/-on* видеть здесь аналог оск. *-um*. Но и такая гипотеза не снимает названных нами проблем.

*solent et auctoritatis habere ad probandum et iucunditatis ad audiendum* (Cic. Verr., 3, 90, 2096) "Примеры из древности достаточно авторитетны, чтобы с их помощью можно было что-то оценить, и приятны для выслушивания". Приведенный материал показывает, что конструкция "ad + герундий в аккумулятиве" при предикате указывает на интенции субъекта.

Герундий в генитиве обозначает деятельность как свойство и качество субъекта: *modus vivendi* "образ жизни", *onus probandi* "бремя доказательства", *vir bonus, loquendi peritus* "хороший человек, опытный в говорении"; *usus dicendi in omni pacata et libera civitate dominatur* (Cic. De or., 2, 8, 33) "обычай говорить преобладает в любом благополучном и свободном государстве". В ряде случаев такие конструкции сближаются в своем значении с аккумулятивными; к примеру, следующие предложения весьма близки друг другу в лексико-синтаксическом отношении: (a) *Nulla aetas ad perdiscendum sera est* (Ambr.) "никакой возраст не является слишком поздним для учения"; (b) *Serum est cavendi tempus in mediis malis* (Sen. Thy., 487) "Поздно беречься в несчастье (досл.: позднее время беречься посреди зол)". Очевидно, в данном случае различие между двумя типами герундиев элиминировано. Для многих других контекстов оно проявляется следующим образом: аккумулятив с *ad* стоит при глаголах и именах с конкретным значением, генитив — при абстрактных, главным образом, отглагольных именах: (a) *omnium animi ad ulciscendum ardebant* (Caes. B.G., 6, 34, 7) "души всех жаждали мщения"; (b) *cupido dominandi cunctis affectibus flagrantior est* (Tac. Ann. 15. 333) "жажда власти из всех страстей — наимучительная"; *omnis hic aetas piscandi, navigandi atque natandi studio tenetur* (Plin. Ep. 9, 33, 2) "все время здесь занято усердной ловлей рыбы и плаванием". Совершенно теряется значение цели в следующем контексте: *non nutrit ardorem concupiscendi ubi frui licet* (Quint. Decl., 14, 8) "не возбуждает жар страсти там, где дозволено наслаждаться". В данном случае семантика определяемого *ardor* и определения *concupiscendi* достаточно близки, и такая конструкция может рассматриваться как  $\bar{\epsilon}\nu$  διὰ δις без выраженной глагольности.

Причина тяготения герундия в генитиве к абстрактным именам видится в следующем. Как известно, Э. Бенвенист предположил, что основной функцией генитива является атрибутивность при отглагольном имени, иными словами, генитив есть оператор, переводящий ситуацию из глагольной в именную [15]. Поддержавший эту точку зрения И.И. Ревзин подчеркивал, что генитив занимает как бы промежуточное положение между номинативом как источником действия и аккумулятивом как пределом действия: при переходе предиката в имя его субъект и объект превращаются в генитивные формы [16].

Однако внимательное рассмотрение материала показывает, что при переводе ситуации из глагольной в именную субъект и объект изменяют падежи только тогда, когда глагол переходит в существительное, т.е. синтагма теряет свой конкретный характер: вместо глагола появляется *nomen agentis* или *nomen actionis*; причастия же и отглагольные прилагательные сохраняют прежнее управление. Объясняется это тем, что при *nomina agentis et actionis* в центре высказывания находится само действие, его же основные актанты отходят на периферию [17]. Именно это подчеркивает генитив — падеж периферийного субъекта и объекта [18; 19]. Вырисовывается следующая картина: при глаголах сохраняется герундий с *ad*, при прилагательных с рассмотренными выше значениями помимо такого герундия может стоять и инфинитив (*cantare periti* "способные петь", *piger ferre laborem* "неохотно трудящийся", букв. "ленивый нести труды" и мн. др. (ср. [20, с. 121—5])<sup>7</sup>. Если же вместо глаголов стоят

<sup>7</sup> Многие исследователи видели здесь влияние греческого, однако необходимо заметить, что такая конструкция — довольно позднее явление, получившее широкое распространение в латинской поэзии только с I в. до н.э. На наш взгляд, конструкция прилагательного с инфинитивом — это дальнейший этап развития герундийных конструкций. Такая конструкция может приобретать финальное значение, особенно при причастиях [ср. *canes currentes bibere in Nilo flumine* (Phaedr. 1, 25, 3) "собаки, бегущие пить из Нила"], и в дальнейшем вытесняет другие отглагольные абстрактные имена.

nomina actionis, а вместо прилагательных — абстрактные существительные, то герундий как выражение их устремлений маркируется генитивом.

Рассмотрим теперь генитивный герундий при конкретных именах. Большое сходство обнаруживают следующие конструкции: (а) *Caesar nactus idoneam ad navigandum tempestatem* "Цезарь, дождавшийся подходящей для плавания погоды" (см. выше); *Caesar hunc ad egrediendum nequaquam locum idoneum arbitratus est* (Caes. B.G. 4, 23, 4) "Цезарь считал, что здесь нет удобного места для отправления"; (б) *Dumnorix Aeduus ... petere contendit, ut in Gallia relinqueret, quod insuetus navigandi mare timeret* (Caes. B.G., 5, 6, 3) "Эдуй Думнорикс стал просить, чтобы он остался в Галлии, так как, будучи неопытен в плавании, он боялся моря". Очевидно, *ad navigandum* и *ad natandum* указывают на данное конкретное устремление субъекта, а *navigandi*, напротив, выражает общее свойство субъекта, актуальное не только для данного контекста. Аналогично соотносятся: (а) *rem quaeris praeclaram... ad discendum* "ты ищешь предмет, великолепный для учения" (см. выше); (б) *virī docti non solum vivi atque praesentes studiosos discendi erudiunt...* (Cic. Off. 1, 44, 15) "ученые мужи не только, будучи живыми и присутствующими, обучают усердных к учебе..."; (а) *ad vivendum, ut ad natandum, is melior, qui onere liberior;* (б) *vivendi est finis optimus* (Cic. Sen., 20, 72) "лучший конец для жизни таков...". Итак, аккузатив и генитив герундия противостоят друг другу выраженным/невыраженным целевым значением, конкретностью/абстрактностью.

Герундий в аблативе — это абстрактное отглагольное имя, обозначающее добавочное действие как причину, как способ или характеристику основного действия или же (с предлогом *in*) как среду его протекания. Ср.: *Multi patrimonium effuderunt inconsulte largiendo* (Cic. Off. 2, 15, 54) "Многие растратили имущество по причине неразумных расходов"; *Ibi cursu, luctando, hasta, disco, saliendo sese exercebant* (Pl. Vacch., 428) "Там они упражнялись бегом, борьбой, копьем, диском, прыжками"; *litteris omnibus a pueritia deditus experiendo tamen magis quam discendo cognovi* (Cic. Fam., 1, 7, 10) "будучи с детства предан книгам, я, однако, узнал больше не учением, а исследованием"; *Cernuntur in agendo virtutes* (Cic. Part. 23, 48) "Доблести познаются в действии". В данном случае, особенно в трех первых примерах, герундий приобретает значение добавочного действия.

Нетрудно понять, что все основные значения герундия тесно связаны с семантикой падежей: цель — аккузатив с *ad*; свойство — генитив; каузальность, орудийность — аблатив. Орудийный падеж нередко указывает на добавочного субъекта (*я рублю топором* = *я и топор рубим* [16], и герундий в орудийном падеже соответственно приобретает эту функцию.

Для греческих же форм на *-δον/-διον, -δην/-δίνη*, *-δα* значение дополнительного действия является основным, а остальные значения — производными: *ἐπιστροφάδην*, "поворачиваясь", *μεταδρομάδην* "преследуя, вдогонку" (*μετά* "после" + *δρομάδην* "бегом"). Эти формы сохраняют аспектуальные различия между аористными, презентными и итеративными корнями: (а) Ил. 9, 670—1 τούς... υἷες Ἀχαιῶν δειδέχαι ἄλλοθεν ἄλλος ἀνασταδόν "их сыны ахейцев приветствовали, каждый встав со своего места"; Ил. 22, 476—7 ἡ δ'... ἀμβληδὴν γοῶσα μετὰ Τρωῆσιν ἔειπεν "она же... вскинувшись с криком к троянкам обратилась"; (б) Ил. 21, 363—4 φς δὲ λεβῆς ζεῖ ἐνδον... κνίστην μελόμενος... παντόθεν ἀμβολάδην "внутри кипит котел... варя сало... отовсюду взбрызгиваясь". Здесь множественность действия, выраженного *ἀμβολάδην*, подчеркнута обстоятельством *παντόθεν* "отовсюду". Эти наречия нередко приобретают дополнительное значение: Од. 6, 143 и 146 (λίσσασθαι) μελιχίοισι ἐπέεσσι ἀποσταδά // (λίσοίμην) "(умолять, я умолял бы) медовыми словами, стоя вдали". Это дополнительное значение может вытеснить основное, и наречие совершенно утрачивает глагольность: Ил. 15, 555—6 οὐ γάρ... ἐστὶν ἀποσταδόν λάθρη Ἀργείοισιν// μάρνασθαι... "Не подобает вдали с аргивянами сражаться...". Во многих случаях связь с глаголом полностью утрачена, и такие формы превращаются в обстоятельства места/времени: *σχεδόν*

"тут же, рядом", αὐτόσχεδον тж. Такие нейтрализованные наречия свободно сочетаются с другими обстоятельными, не имеющими отношения к глагольным корням: Ил. 7, 242—3 οὐ γάρ σ' ἐθέλω βάλλειν // λάθρη ὀπλεύσας, ἀλλ' ἀμφαδόν ... "не хочу я убивать тебя, тайно подкрадывшись, но явно...". Полная однородность наречий представлена в следующем контексте: Од. 1, 296 κτείνης ἢ ἐ δόλω ἢ ἀμφαδόν "убьешь либо хитростью, либо открыто". Такого же типа конструкция в Од. 14 330 ἄπλωσ' ἠοστήσει... ἐς δῆμον... ἢ ἀμφαδόν ἢ κρυφῆδόν "когда он вернется ... домой... явно или тайно". Именно наречный, а не глагольный характер этих форм подтверждает глосса Гезихия: κρυφᾶνδόν κρυφίως (≈ κρυφῆδόν).

Таким образом, наречия на -δόν с точки зрения семантики можно сравнить только с аблативом герундия. Однако нельзя не видеть их существенного различия. Аблатив герундия обозначает орудийные отношения, наречия на -δόν и под. — добавочное действие, в сфере которого развивается основное. Иными словами, оно указывает на временную соотнесенность действий, тогда как герундий — на их каузальную, модусную и т.п. связь. Общие же черты функционирования объясняются, по-видимому, не общностью происхождения, а вхождением в универсальную категорию деепричастий.

Генетическая связь греческих наречий и латинских герундиев остается не доказанной. Вместе с тем в работе Ю.С. Степанова есть чрезвычайно плодотворная идея: в основе наречий на -δόν лежит формант, идентичный латинскому союзу *cum* и указывающий на соотнесенность действия в пространстве и времени. Это значение форманта хорошо видно в наречиях, образованных не от глаголов: Од. 8, 349 αὐτόδιον δ' ἄρα μὴν ταμίη λούσασθαι ἀνώγει "и вот тогда же ключница пригласила его омыться". Наречие αὐτόδιον состоит из корня αὐτο- "вот, именно" и суф. -διον (варианта -δόν), очерчивающего место выраженной корнем эмфазы во времени. Таким же образом построено и наречие σχέδον, отглагольное, но потерявшее глагольное значение, и синонимичное ему αὐτόσχεδον: корень σχε- "держат" + -δόν "здесь, в это время", в общее значение усилено и эмфатическим корнем αὐτο-. Яркий пример функционирования такого наречия можно видеть в Ил. 15, 385—7: ἵππους εἰσελάσαντες ἐπὶ πρύμνησιν μάχοντο // ἔγχεσιν ἀμοιγύοις, αὐτόσχεδον, οἱ μὲν ἀφ' ἵππων//οἱ δ' ἀπὸ νῆων... ἐπίβαντες "подогнав лошадей, они сражались обоюдоострыми мечами прямо у кораблей, одни — сойдя с лошадей, другие — с кораблей". Наречие αὐτόσχεδον в данном контексте выступает и как характеристика глагола μάχοντο ("здесь сражались" или "сражались схватившись"), и как предел действия, выраженного причастиями εἰσελάσαντες "подогнав" и ἐπίβαντες "подойдя".

Рассмотрим отыменное наречие на -δόν Ил. 23, 499—500 ὡς φάτο, Τυδείδης δὲ μάλα σχέδον ἦλθε διώκων//μαστὶ δ' αἰὲν ἔλαυνεν κατωμαδόν... "так он сказал, Тидеид тут же бросился преследовать, все время сплеча погоняя бичом". Наречие κατωμαδόν пространственно организовано префиксом κατ- "вниз" и суф. -δόν "здесь"; иными словами, префикс указывает на направление движения, корень -μα- (ῥμός "плечо") — на место его протекания, а суффикс соотносит наречие с предикатом. В этом и заключается основная функция суф. -δόν: он соотносит наречие с предикатом, указывая тем самым на сферу протекания действия. Если этот суффикс стоит при глаголе, наречие получает значение добавочного действия. В этом плане интерес представляет цитированный контекст Ил. 22, 477: ἀμβληδὴν γοῶσα... ἔειπεν, где ἀμβληδὴν представляет собой добавочное действие по отношению к причастию γοῶσα, а γοῶσα — к финитному глаголу ἔειπεν.

Выше мы отмечали точку зрения Ю.С. Степанова, согласно которой \*-dom является анафорической частицей. Греческий материал позволяет внести сюда определенные коррективы. Из отглагольных наречий выделяется и с формальной, и с семантической точки зрения φύγαδε "(обратить к.-л.) в бегство". Оно отличается от других наречий оформлением суффикса (отсутствием -ν) и указывает не на сферу протекания действия, а на его направленность. Суф. -δε сближает это наречие со многими отыменными формами, маркированными тем же аффиксом: οἴκαδε/

οἰκόνδε "домой", πολέμονδε "на войну", Ὀλύμπωνδε "на Олимп", Ἀθήναζε "в Афины" (-σ-δε). Общеизвестно, что эти наречия образованы формантом *-d(h)e*, происходящим из местоименного склонения и обозначающим направление движения. Этот формант в греческом имеет следующие варианты: локативный *-θι* (λόθι "где", ὅθι "там, где", οἰκοθι "дома"), аблативный *-θεν* (λόθεν "откуда"; οἰκοθεν "из дома"). Соединение этих формантов с именами не засвидетельствовано нигде, кроме греческого, в местоимениях же они достаточно широко распространены: лат. *quando* "когда", *ubi* (\**k<sup>2</sup>u-dhi*) "где?", *unde* (\**k<sup>2</sup>um-dhe*) "откуда?", *inde* (*im-dhe*) "оттуда" *ibi* (*i-dhi*) "там", слав. *кѣде*, скр. *kuha, kada* "куда", авест. *kaða* тж. Возможно, этот суффикс сохранился как осколок древнейшего местоименного склонения, что можно наблюдать в хеттском, где с его помощью образованы пространственные падежи: *-eda-(ni)* (датив-локатив), *-ez* (аблатив). Примечательно, что в греческом только чистый суф. *-δε* сохраняет направительное значение, локативность же *-θι* связана с семантикой частицы *-ι*, идентичной флексии локатива. Думается, что лимитативность суф. *-δον*, как и лат. *dum*, связана с частицей *-m*, идентичной флексии аккузатива. Как установлено, основное значение аккузатива — не прямой объект, а предел действия. Эта семантика сохранилась там, где аккузатив управляется именем или непереходным глаголом: греч. *accusativus relationis* (λόδας ἄκός Ἀχιλλεύς "быстрым ногами Ахилл"), *accusativus extensionis* типа лат. *eo gis* "я иду в деревню", скр. *gramam gachāmi* тж., русск. *пройду город, прожить жизнь, весить тонну* (ср. [21, с. 90]). Предельно-лативное значение суф. *-m* демонстрируют некоторые имена ср. рода: греч. *πούς* лат. *pes* "нога" — *πέδον* "равнина" (т.е. то, что находится у ног; возможна и такая интерпретация: \**ped* — "двигаться, падать", *πέδον* — предел этого действия). Тот же суффикс обнаруживается в некоторых числительных: \**neϥ-m* "девять", интерпретируемое как "снова" (т.е. число, следующее после второй четверки — восьми) — \**dek-m* "десять", этимологически "купно, в целом" (корень \**dek-* "брать"; этимология О. Семереньи [22] *dϥe-kem* "две-руки" представляется менее убедительной из-за неисконного *-i*). Такая реконструкция выглядит более убедительной, чем гипотеза А.В. Десницкой относительно *-m* как показателя "не-субъекта" [23]. В оппозиции "субъект—не-субъект" последний был немаркированным членом и мог выражаться нулевым аффиксом (чему есть подтверждение и в и.-е. грамматике, и в типологии). Собственной же функцией аффикса *-m* являлась лимитативность. Наречие *σχεδον* следует членить на корень *σχε-*, пространственный показатель *-δο* и аффикс лимитативности *-v*. По-видимому, к тому же архетипу восходят и литовские "полупричастия" типа *dirbdamas*. Они являют собой более позднюю ступень развития, чем греческие наречия: суффикс здесь соединяется только с глагольными основами, к нему присоединяется флексия, согласованная с субъектом в роде и числе, что сближает эти формы с причастиями. Возможно, дальнейшим развитием этих форм являются греческие прилагательные на *-δο-* и *-διο-*. Первый тип можно видеть в Од. 19, 390-1 μή...ὄβλην ἀμφράσσατο καὶ ἀμφὰ ἔργα γένοιτο "чтобы она не узнала рану и дело стало явным". Второй тип представлен более широко: κοῦρος — κουρίδιος, ἄρμος — ἀρμόδιος, αἶε — αἰίδιος и под.

Итак, глагольные наречия на *-δον* и под. представляют собой сочетание полнозначного корня и действительного местоименного элемента \**-d(h)e*. Следы такого типа можно наблюдать в и.-е. глагольном и именном словообразовании. Процесс формирования производных глаголов можно проследить в гомеровском греческом: от глагола ἕω "насыщать(ся)" (представлены инфинитивы ἕμεσσι и ἕσαι) образовано наречие ἕδην "вдоволь, досыта", а от него — глагол ἕδέω (засвидетельствован опатив аориста ἕδησε и перфектное причастие ἕδηκότες). Данный глагол отличается от исходного своим терминативным (точнее, транстерминативным) значением: он указывает на достижения действием своего предела. Такие терминативные глаголы встречаются во многих и.-е. языках, они образуются обычно без деноминативного суф. *-eio-* (в отличие от рассмотренного), что, по-видимому, свидетельствует об их древности: слав. *идж*, гот. *iddjan* "идти",

возможно, литов. *eid-inti* "заставлять идти"; — литов. *eiti*, лат. *eo* и т.д.; слав. *ѣдж* — литов. *jojù*, скр. *\*yāiti*; слав. *кладж* — литов. *klóti*; лат. *claudere* в сравнении с и.-е. корнем *\*klāu-* "ключ, запор". Именно к этому классу относятся глаголы *tendo* и *-fendo*, в которых Дж. Паултни увидел отражение праитал. *\*-njo*. Глагол *tendo* отличается от однокоренных выраженным терминативным значением: не "тянуть", а "стремиться"; *-fendo* не употребляется без префиксов (*of-*, *dis-*), которые так или иначе указывают на локализацию действия в определенном пространстве и поэтому сообщают действию терминативный оттенок. Локальные частицы *de/dhe* являются алломорфами, поэтому класс терминативных глаголов на *-θω*, выявленный П. Шантреном, происходит из того же источника (ср. *τελέω* — *τελέθω*, *φθίνω* — *φθινύθω*, *πίμπλημι* — *πλήθω* [24]). Чередование смычных и придыхательных согласных в и.-е. языках — достаточно распространенное явление [25, 26, 24].

Ю.С. Степанов с полным основанием соотносит греческие наречия на *-δον* и под. с латинским союзом *dum*; вероятно, такие отглагольные формы играли существенную роль в древнейшем строе и.-е. предложения, являясь дополнительными предикатами. Добавим к этому, что такие формы могли образовываться не только от глагольных, но и от именных корней. Они явились результатом воздействия местоименного склонения на именное: местоименные дейктические аффиксы присоединялись к полнозначным словам, придавая им пространственное значение<sup>8</sup>.

Латинский же герундий не относится к этому классу слов; согласно общим тенденциям латинского синтаксиса, он происходит из абстрагированного герундива. Из многочисленных гипотез, посвященных происхождению данного форманта, наиболее убедительной представляется следующая. Еще А. Мейе, рассматривая этимологию слав. *говядо* (корень *\*g<sup>o</sup>ou-*, ср. греч. *βοῦς*, лат. *bos*, скр. *gauh*) выявил в нем суф. *\*-əd*, являющийся вариантом суф. *\*-ət-* (ср. *тѣла* — *говядо*). Тот же суффикс обнаруживается в *лебядь* (вариант *лебеда*, *лебедь*); это имя сопоставляется с лат. *\*albundus*, лежащим в основе франц. *blonde*, итал. *biondo* [27; 28, с. 18]. Альтернатива детерминативов *+i/d* известна и в других случаях: литов. *tvirtas* "крепкий" (*tvirti* "сжимать, огораживать") — слав. *твърдь*, лат. *hos-pet-s* — слав. *господь*, лат. *ne-pot-s* — греч. *νε-ποδ-ες* (этимологически — "не-хозяева"), т.е. не главные члены семьи: дети, потомки; этимон состоит из отрицательной частицы и корня *\*pō i-/d* "хозяин"). Э. Бенвенист [7, с. 35] и Хр. Станг [32] показали, что чередование звонких и глухих согласных в ауслaute корня — распространенное явление; слав. *цвѣтъ*, *свѣтъ* — гот. *heits* "свет" (*\*k<sup>e</sup>eit/d*), скр. *micraḥ* — греч. *μίγυμι* (*\*meik/g*) и мн. др.; они полагали, что такие чередования возможны в корнях структуры *TeRT* (состояние I по Бенвенисту) и что альтернирует последний согласный обычно после сонорного. Вполне вероятно отнесение тех же закономерностей и к суф. *nt-/nd-*. Ф. Шпехт привел и другие примеры чередований *-i/-d*: скр. *nanādar* "золотка" имеет суф. *-dar*, соответствующий патронимическому *-tar* в других случаях (*pitár*, *mátar*, *duhitár*), слав. *nomen instrumenti \*dlo* соответствует суффиксу *nominis agentis \*-tel* так же, как греч. *-τρο-* и *-τήρ/-τωρ*; литов. *désimti*, греч. *δεκαδ-* [29]. Ф. Шпехт решительно высказался в пользу родства герундива и причастия на *-nt-*; он указал, что ряд латинских форм на *-nd-* имеет не герундивную, а простую адъективную семантику: *rotundus* "круглый", *secundus* "следующий", возможно, и *vagabundus* "бродячий", хотя есть и другие точки зрения<sup>9</sup>. Такие прилагательные близки по значению к прилагательным на *-lentus*: *turbulentus* "бурный", *fraudentus* "обманчивый", *virulentus* "ядовитый". Г.Р. Сольта

<sup>8</sup> Это не единственный случай проникновения местоименных форм в именное склонение: формы косвенных падежей на *-bh-* (треко-арийский и итало-кельтский ареал) и *-m-* (германо-балто-славянский ареал) заимствованы из местоименного склонения.

<sup>9</sup> Согласно П. Аалто [10, с. 47—51], в латыни имеется пять прилагательных на *-undus*, семь — на *-cundus*, 149 — на *-bundus*.

также рассматривает *-nd-* и *-nt-* как алломорфы. С его точки зрения (которую мы разделяем), оба варианта являются расширением простого суффикса *-n*, одной из функций *-nt-*, по Сольта, является экспрессивность, ср. русск. элативный суффикс — др.-чеш. *figura etymologica* типа *div divuči, svet svetučī, pravda pravduči* и т.д. [30]. Суф. *-nd-* также принимает участие в "вульгарно-аффективных" образованиях: *crassus* "толстый, плотный" — *crassundia* "толстые кишки"; литов. *skilvas* "желудок" — *skilvandis* "колбасные кишки". К этим соображениям можно прибавить еще одно: в латыни от стативных глаголов на *-ēre* образуется прилагательное *-idus*, близкое к перфектному пассивному причастию; примечательно, что оно засвидетельствовано лишь у тех глаголов, у которых такое причастие неизвестно; ср., с одной стороны, *iacēre* — *iacitus*, *habēre* — *habitus*, *sedēre* — *sessus* (нет *\*iacidus*, *\*habidus*, *\*sedidus*), но *timēre* — *timidus*, *horrēre* — *horridus*, *florēre* — *floridus*, *timēre* — *timidus*, *tumēre* — *tumidus*, *albēre* — *albidus*, *calēre* — *calidus* (стяженное *caldus*), *callēre* — *callidus*, *livēre* — *lividus* и мн. др. Исключение составляет лишь *placēre*, от которого возможны и причастие *placitus* прилагательное *placidus*; это можно объяснить аналогией. В целом же причастие *-(i)tus* и прилагательное *-idus* находятся в дополнительном распределении, что может свидетельствовать об общем происхождении суффиксов.

Чередование суффиксов-детерминантов *-t-* и *-d-* — факт, установленный на материале многих и.-е. языков. По-видимому, нет оснований отделять суффикс герундива *-nd* от причастного *-nt-*. Правда, с другой стороны, из некоторых данных можно по аналогии вывести, что в основе герундия и герундива могло лежать отглагольное абстрактное существительное.

Дело в том, что многие модально-пассивные прилагательные обнаруживают несомненную связь с абстрактными существительными, образуясь с помощью их тематизации. Хеттское абстрактное имя на *-tar* (*šullatar* "спор" — *šllāi* "спорить") имеет гетероклитический генитив *-tannaš*. Этот суффикс вне всякого сомнения идентичен суффиксу литовского прилагательного долженствования *-tinās*. Таким же образом связано индоевропейское абстрактное существительное *\*-tu-* (лат. *-tus*, греч. *-τός*) с греческим модальным прилагательным *-τέος* < *-τέφος* (*ρητέος* "должный быть сказанным"). Тематизация и полная ступень вокализма суффикса способствует формированию семантики модальности, зависимости от внешних условий, пассивности. Особенно интересно взаимоотношение абстрактных и конкретных имен в рамках одной глагольной парадигмы. Так называемой хеттский инфинитив I представляет собой обычное отглагольное имя: *LUMEŠ KUR<sup>URU</sup> Mizrama... GUL-ahḫuḫar ištamaškanzi* (КВот. V.6; III, 5) "Люди Египта... о нападении услышали". Действие, выражаемое инфинитивом *GUL-ahḫuḫar*, предстает как реальное. Картина резко меняется, если та же форма стоит в генитиве, тематизирующем словоформу (при этом отпадает гетероклитическое *-r*) *memiaš kuiš iḫaucaš* (Durr., § 14, 7) "дело для выполнения". Как справедливо заметил И. Фридрих, такие генитивы воспринимаются как прилагательные и могут изменяться по числам: ед.ч. *IKRIBU. kuiš šarninkuaš* "молитва для покаяния, покаянная молитва", но *IKRIBU<sup>HLA</sup> kueš šarninkues* "молитвы для покаяния, покаянные молитвы" [33, с. 123]. Генитив как тематизирующий падеж задает семантику модальности и инактивности. Это может служить хорошей иллюстрацией к взаимоотношению тематических и атематических форм, установленных на материале корневых имен и глаголов [31; 34—36].

Если бы удалось найти абстрактное имя с суф. *-nd*, оно вполне могло бы претендовать на роль источника для герундия и герундива. Пока же можно сказать лишь одно: герундий/герундив может быть результатом тематизации либо причастия, либо гипотетического абстрактного имени. Но в любом случае он, по-видимому, есть результат грамматической деривации, а не словосложения.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Грамматика литовского языка. Вильнюс, 1985.
2. *Ernout A., Meillet A.* Dictionnaire étymologique de la langue latine. P., 1978.
3. *Poultney J.W.* The phonology of *-nd-* and the latin gerundiv // Amsterdam studies in the theory and history of linguistics. 1980. V. 18.
4. *Curtius G.* Grundzüge der griechischen Etymologie. Leipzig, 1879.
5. Тронский И.М. Очерки по истории латинского языка. М.: Л., 1953.
6. Степанов Ю.С. Герундивы и имена действия в древнейшем строе индоевропейского предложения // ВЯ. 1985. № 6.
7. Бенвенист Э. Индоевропейское именное словообразование. М., 1955.
8. Степанов Ю.С. Индоевропейское предложение. М., 1989.
9. Красухин К.Г. Некоторые вопросы реконструкции индоевропейского синтаксиса (в связи с выходом книги Ю.С. Степанова "Индоевропейское предложение") // ВЯ. 1990. № 6.
10. *Aalto P.* Studien über das lateinische Gerundium und Gerundivum. Helsinki, 1949.
11. *Berneri E.* Die Verbalsubstantive und Verbaladjektive auf *-to* in Lateinischen // Glotta. 1943. Bd 30.
12. *Heittula A.* Post depositum militiae munus // Arctos, Helsinki, 1985.
13. *Buck C.D.* The Greek dialects. Chicago, 1955.
14. *Schwyzler E.* Griechische Grammatik. 1. München, 1939.
15. Бенвенист Э. Общая лингвистика. М. 1974.
16. Ревзин И.И. Семантика падежей в свете гипотезы Бенвениста // Конференция по сравнительной грамматике индоевропейских языков. М., 1972. С. 72.
17. Красухин К.Г. К истокам и функции индоевропейского родительного падежа // Вестник МГУ. 1985. № 3.
18. Яacobson P.O. Избр. труды. М., 1985.
19. Тронский И.М. Общеиндоевропейское языковое состояние. Л., 1967.
20. Лопатина М.Г. Инфинитив при прилагательных у римских поэтов I в. до н.э. // Dzetemata. М., 1984.
21. Панов М.В. Русский язык // Языки народов СССР. Т.1: Индоевропейские языки. М., 1966.
22. *Szemerényi O.* Studies in the Indoeuropean system of numerals. Heidelberg, 1960.
23. Десницкая А.В. Сравнительная грамматика и история языка. Л., 1984.
24. *Chantraine P.* Les verbes grecques en *-θη* // Mélanges J. Vendryès. P., 1925.
25. *Benveniste E.* Noms d'agent et noms d'action. P., 1948. P. 163.
26. *Kurylowicz J.* L'apophonie en indoeuropéen. Wrocław, 1956. P. 380—381.
27. Герценберг Л.Г. Опыт реконструкции индоевропейской просодии. Л., 1981.
28. Этимологический словарь славянских языков. Т. 6. М., 1978.
29. *Specht F.* Die Ursprung der indogermanischen Deklination. Stuttgart, 1947.
30. *Solta G.R.* Gedanken über *ni*-Suffix. Wien, 1958.
31. Красухин К.Г. Диахронические архаизмы и становление глагольной системы греческого языка древнейшего периода: Автореф. дис. ...канд. филол. наук. М., 1988.
32. *Stang Ch.* L'alternance des consonnes sourdes et sonores en indoeuropéen // Stang Ch. Opuscula linguistica. Oslo, 1971, P. 45—49.
33. Фридрих И. Краткая грамматика хеттского языка. М., 1952.
34. *Vaeder F.* Le présent du verb "être" en l'indoeuropéen // BSL. 1976. V. 71.
35. Широков О.С. Современные проблемы сравнительно-исторического языковедения. М., 1981.
36. Красухин К.Г. Значение оппозиции тематических и атематических глагольных основ для индоевропейской реконструкции // Сравнительно-историческое изучение языков различных семей: Реконструкция на отдельных уровнях языковой структуры. М., 1989.

© 1992 г. УЛУХАНОВ И.С.

**О СТЕПЕНЯХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
МОТИВИРОВАННОСТИ СЛОВ.**

О. Мотивированным словом (или словом синхронически производным) называют "такое слово, которое семантически (или синтаксически), а также формально выводится из другого слова, точнее: слово, в значение и форму которого входят значение, а также форма (основа или ее часть) другого слова, называемого мотивирующим (базой)" [1, с. 307]. Однако степень вхождения как значения, так и формы одного слова в значение или форму другого может быть различна, и этим обусловлена необходимость изучения степеней мотивированности слов.

Существует большая группа таких слов, которые находятся в зоне, пограничной между мотивированными и немотивированными словами, располагаясь (в соответствии с теми или иными своими свойствами) ближе к одному из этих полюсов. Именно существованием этой пограничной группы слов и объясняются многочисленные споры по поводу мотивированности/немотивированности, "прозрачности"/"непрозрачности" тех или иных слов, споры о границах синхронного гнезда слов. Эти споры напоминают более раннюю полемику по поводу членимости слов, утихшую благодаря постановке проблемы степеней членимости и разработке конкретной шкалы степеней членимости<sup>1</sup>.

Большой интерес могла бы представить диахроническая интерпретация этих степеней.

Перед современной наукой о структуре слова стоит аналогичная задача — создать теорию синхронных степеней мотивации и дать диахроническую интерпретацию этих степеней, т.е. выявить диахронические факторы, влияющие на утрату или ослабление мотивированности слова<sup>2</sup>. Эта задача далека от решения как в силу слабой изученности материала, так и в силу его сложности и разнообразия. Попытка дать некоторые материалы для решения синхронической части этой задачи предпринята в данной статье.

1. Решение этой задачи имеет не только теоретическое, но и практическое значение: проблема степеней мотивации встает при составлении морфемных и словообразовательных словарей (определение границ гнезда) и при составлении словариков этимологических словарей (определение слов, нуждающихся в этимологическом объяснении).

1.1. В существующих морфемных словарях современного русского языка в одно словообразовательное гнездо нередко объединяются такие слова, у которых с синхронной точки зрения усматривать тождество корня нет оснований. Так, в словаре Д.С. Ворта, А.С. Козака, Д.Б. Джонсона [7] в одно гнездо

<sup>1</sup> О степени членимости см. [2—5].

<sup>2</sup> О связи "степеней непроизводности" с историей словарного состава В.В. Виноградов писал еще в 1952 г.: "...именно в изучении общественной жизнениности и семантического веса разных основ, активности употребления и своеобразий строя основ, относящихся к разным частям речи, в различении живых, продуктивных и непродуктивных основ, в разграничении разных степеней производности основ ярко обнаруживаются разные исторические слои или пласты в составе современного языка" [6].

объединены образ и резать, гореть и жар, печь и печаль, поле и польный и мн. др. (что отмечалось в ряде рецензий на этот словарь, см., например [8, с. 104]).

В словаре А.И.Кузнецовой и Т.Ф. Ефремовой [9] выделены: корень *-бед-* в *бедовый, победа* и *убедить*; *-год-* в *годный, вознегодовать*; *-да-* в *удача*; *-пруг-* в *супруг* и *упругий*; *-пряж-* в *упряжка, пряжка* и *спряжение* и мн. под. Как ясно из приведенных примеров, авторы обоих словарей ориентируются на этимологическое родство слов (т.е. единицы современного языка выделяются на основе сопоставления с фактами языкового прошлого), хотя последовательно этимологический принцип не проводят (ср. объединение в одно гнездо *баять* и *байка* "ткань", *кол* и *калач* в [7], см. об этом [8, с. 104], или выделение корней *подраж* в *подражать, здрав* в *поздравить, почеч* в *подпочечный, облак* в *облако* и мн. др. в [9]).

Синхронные критерии определения мотивационных отношений используются в словаре А.Н. Тихонова [10]. Гнездо составляют синхронно мотивированные и мотивирующие слова, а после ряда гнезд с пометой *ср.* даются слова, "в современном русском языке очень слабо связанные с гнездом, но еще окончательно не порвавшие с ним свои родственные связи" [10, т. 1, с. 16], например, *баллотировать*<...>, ср. *балл...* устар. Шар для голосования [10, т. 1, с. 83]; *булгачить*<...>, ср. *булга*, прош. Суета [10, т. 1, с. 129]; *задубеть*<...>, ср. *дуб* [10, т. 1, с. 355]; *замок*<...>, ср. *замкнуть* [10, т. 1, с. 357] и др. Такое решение при современном состоянии теории степеней мотивированности следует признать реалистичным.

1.2. Отбор немотивированных слов должен быть осуществлен при составлении словника этимологических словарей. Объяснение в этимологическом словаре мотивированных слов (как в качестве заглавных слов, так и в словарной статье, посвященной немотивированному слову) означает совмещение в этом словаре свойств этимологического и словообразовательного словарей. В существующих этимологических словарях, как правило, такое совмещение имеет место, хотя этимологи нередко теоретически ограничивают свою задачу объяснением происхождения немотивированных слов.

Так, Ф. Славский писал в 1967 г.: "Самым многочисленным является, несомненно, слой живых дериватов, количественно не ограниченный. ... Этимологии нет необходимости заниматься такими словами ... Этимология занимается словами, которые с современной точки зрения являются немотивированными, морфологически не обоснованными" [11]. Однако на практике автор поступал иначе: его "Этимологический словарь польского языка" содержит довольно большое количество несомненно мотивированных слов: *biedak, biegly, diegun, bogacić, bogini, brodaty, czwartek, czyścić, doglądać, dymić, jabłuszko, lakierować, lasak, lasować* (устар. "укрываться в лесу; убежать в лес"), *łapańca* (руковица, обычно с одним пальцем"), *lewica* ("левая рука; левая сторона, левое политическое направление") и мн. др. При этом Ф. Славский руководствовался некоторыми (не очень строгими) принципами отбора мотивированных слов. В "Предисловии" к словарю сказано: "Его задача — дать полный обзор непроизводных общеславянских слов в современном польском языке; что же касается дериватов, то ввиду ограниченного места пришлось дать здесь только более или менее индивидуальный набор, обусловленный чаще всего возрастом слова, распространением в славянских языках, интересностью образования" [12].

Все современные этимологические словари восточнославянских языков содержат в своем словнике мотивированные слова, причем основания для этого сформулированы только в [13]. Помимо слов, "имеющих в настоящее время непроизводную основу", в словарь включаются "все исконно русские слова с производной основой, пережившие дестимологизацию или изменение своей морфологической структуры" [13, т. 1, вып. 1, с. 6], все заимствованные слова (а также те, которые "могут показаться иноязычными") и кальки. Термин "непроизводная

основа" здесь употреблен по отношению к основам синхронно немотивированных слов, а термин "производная основа" — по отношению к исторически производным (последнее следует из того, что слова, пережившие дестимологизацию, можно отнести к производным только в диахроническом значении этого термина; с синхронной точки зрения они относятся к словам, "имеющим в настоящее время непроеводную основу"). Как видим, мотивированные слова в [13] (так же, как и у Ф. Славского) отбираются на основе диахронических (однако иных, нежели у Ф. Славского) критериев. Так же, как и у Ф. Славского, этот отбор проведен не вполне последовательно. В словаре есть мотивированные слова, не пережившие изменения морфологической структуры, не являющиеся и не "кажущиеся" заимствованиями, не кальки: *бородатый* (при отсутствии, например, *волосатый*), *битва*, *бритва*, *клятва*, *борьба* (но нет *гульба*, *косьба*, *женитьба* и т.п.), *боязнь* (но нет *болезнь*), *двадцатилетие* (при отсутствии слов на *-летие* от других числительных), *истмат* (при отсутствии *диамат*), *колхоз*, *кверху*, *книзу* (при отсутствии *вверх*, *вниз*), *вправо* (при отсутствии *влево*), *беспартийный*, *вслепую*, *голосотяп*, *двустволка*, *декабрист*, *дымоход*, *завсегда*, *клеить*, *культурный* и мн. др.

Включив довольно много мотивированных слов, авторы словаря [13] оставили за его пределами некоторые немотивированные слова литературного языка (*выкамаривать*, *гинуть*, *дрогнуть* "зябнуть", *заняться* "начать гореть", *зарядить* "вложить заряд", *зарядить* "начать производить одно и то же действие", *застигнуть* и *застичь* и др.), а также много слов, "пограничных" между полностью мотивированными и полностью немотивированными словами, например *безвременный*, *безликий*, *двуликий* (при наличии *двуличный*), *благодарный*, *благоразумный*, *богомоз*, *возобладать*, *воинствующий*, *выбыть*, *выгородить*, *выдворить* (при наличии *водворить*), *выделить*, *выказать*, *вложить*, *выложить*, *изложить* (при наличии *доложить*, *заложить*), *головешка* (при наличии *головня*), *гостиный* (*двор*) (при наличии *гостиница*), *доморощенный*, *драгоценный*, *древовидный*, *единонаследие*, *единородный*, *единосушный*, *естествоиспытатель*, *захребетник* и мн. др. Другие же "пограничные" слова в словнике имеются: *взятка*, *витиеватый*, *водород*, *возбудить*, *возвеличить*, *возвестить*, *воочию*, *всеведущий*, *гвоздить*, *заблуждаться*, *застрельщик*, *зрелище*, *излияние* и мн. др.

Проблема мотивированности (производности) слова не затронута М. Фасмером ни в "Предисловии", ни в "Послесловии" к его этимологическому словарю [14]. Как известно, в этом словаре нет многих немотивированных слов современного литературного языка. Вместе с тем в нем можно найти достаточно мотивированных слов, хотя и гораздо меньше, чем в словаре МГУ. Причины включения именно этих мотивированных слов неясны. Таковы, например, *вдовый*, *домашний*, *жнец*, *коновал*, *молокосос*, *мышление*, *некать*, *одуванчик*, *опустошить*, *побратим*, *пятница*, *раскумекать*, *самовар*, *слаще*, *смертельный*, *снохачество*, *СССР*, *стахановец*, *стеклярус*, *сыроежка*, *тамошний*, *трижды*, *умерщвлять*, *хапуга*, *царица*, *чертеж*. О.Н. Трубачевым в русский перевод добавлены *белесый*, *белорыбица*, *белуза*, *благотворительность*, *взыскательность*, *вменимость*, *вольнодумство*, *веснушка*, *дороговизна*, *дорожить*, *кузница*, *оползень*, *пустота*, *скат*, *сточный*, *хлопчатобумажный*. Среди мотивированных слов много заимствований (*авансировать*, *авторизовать*, *адресовать*, *аптекарь*, *бойкотировать*, *контролировать*, *попадьа*, *танцкласс*, *школяр* и мн. др.) и калек: *односторонний*, *переворот*, *полуостров*, *прямоугольный*, *развитие*, *сверхчеловек*, *женский род*, *утонченный*, *человеколюбие* и др.

Совершенно однотипные с точки зрения степени мотивированности слова (например, одноструктурные образования от числительных) нередко даны непоследовательно: так, есть *двенадцать*, *четырнадцать*, *восемнадцать*. О.Н. Трубачевым добавлено *одиннадцать*, но отсутствуют *тринадцать*, *пятнадцать*, *шестнадцать*, *семнадцать* и *девятнадцать*; есть *дважды*, *трижды*; но нет *четырежды* и т.п.

Подобно словарю МГУ, словарь М. Фасмера включает большое количество

"пограничных" слов разной степени мотивации. Критерии их отбора также неясны. К их числу относятся, например, *безвозмездный, бездна, беспечный, забубенный, завидовать, замашка, запнуться, застенок, затворить, затылок, захребетник, звездануть, здание, здравствуй, извцниться, кладбище, леденец, майка, накануне, наковальня, небоскреб, невзрачный, неприязнь, опейить, остервенеть, повиноваться, поединок, поздравить, прекословить, самодержавие, сверчок, слащавый, совершить, хладнокровный, чернила, шило* и др., ср. также введенные О.Н. Трубачевым: *занимательный, зараза, листовка, простолоудин, следопыт, сухопарый*. Вместе с тем можно было бы привести много подобных "пограничных" слов, не введенных в словарь М. Фасмера. Ограничимся лишь указанием некоторых слов, имевших или имеющих приставки *до-* и *пред-*: *добиться, добратся, добыть, догадаться, доказать, доконать, долиять, домогаться, донести* ("1. Сделать донесение; 2. Сделать донос"), *донять, достать, достаться, достукаться; предвещать, предвзятый, предвкушать, предводить, предвосхитить, предложить, предоставить, предохранить, предписать, предположить, предпослать, предпочесть, предпринять, предречь, предсказать, представить, предстоять, предтеча, предьявить, предыдущий*.

Не имея возможности обстоятельно рассмотреть с точки зрения степени мотивированности словники выходящих этимологических словарей других восточнославянских языков [15, 16], отметим, что эти словники также содержат большое количество мотивированных и "пограничных" слов (белорусский — в большей степени, чем украинский), например, блр. *вальналюбец, вадапой, вадамеры, выбар, выбаршчык, выбуркнуць, выскачка, выстрал, дабрадушны, даведацца* и мн. др., укр. *видноколо, виднокруг, висолопити, безнастанний, безпутний, безшабашний, викрутас, горілка, докучати, домочадець, заковика* и др.

Приведенный материал подтверждает необходимость дальнейшей разработки теории мотивации, и прежде всего принципов отграничения мотивированных слов от немотивированных и определения состава пограничной зоны, расположенной между этими полюсами.

1.3. В настоящее время можно указать отдельные исследования современных лингвистов, посвященные этому кругу проблем (не претендуя на полноту и не касаясь общих работ по теории мотивации или внутренней форме слова — от Платона до Потебни). Во многих из них рассматриваются отдельные случаи демотивации — отклонения от регулярной семантической выводимости мотивированного из мотивирующего<sup>3</sup>, в других выявляются отдельные типы степеней мотивации (или нарушений мотивации) и вводится соответствующая терминология.

Так, С.С. Лашанская [21] обращает внимание на такие дериваты (в шведском языке), у которых мотивирующим словом является «метафорическое, образное название мотивирующего признака (напр., слово *blod* — "кровь", ставшее первым компонентом в *blodriska* — "рыжик" и метафорически обозначающее тот же реальный признак красноватого цвета, который прямо выражен в русском названии соответствующего гриба»).

В.В. Лопатин [22] считает метафорически мотивированными такие слова, которые "являются единственными носителями переносного смысла (последний не выражен в языке в мотивирующих словах и устойчивых сочетаниях)" (примеры см. ниже; ср. также [20, с. 108, 109, 147]).

Р. Гжегорчикова и Я. Пузынина делят все дериваты на собственно дериваты (*derywaty właściwe*) (или семантические дериваты) и ассоциативные (или ономаσιологические) дериваты и выделяют их разновидности [1, с. 307, 308, 314—317]. Значение собственно дериватов включает в себя значение мотивирующего или совпадает (*begać — beganie, strona — stronica*) с ним. Значение

<sup>3</sup> Ср., например, [17; 18; 19, с. 246; 20, с. 57, 58, 80—89, 147, 148].

ассоциативных дериватов не включает в себя значение производящего. При этом производящее, однако, указывает на черту (явление), связываемое говорящими со значением деривата; так лексическое значение польск. *lipiec* — "седьмой месяц года", а ассоциативная связь с мотивирующим отражается в словообразовательной перифразе "miesiąc, w którym kwitną lipy" ("месяц, в котором цветут липы"). Ассоциативные дериваты авторы включают в синхронное словообразование, поскольку эти дериваты сохраняют семантическую связь с производящим и отражают механизм названия, основанный часто на несущественных, случайных признаках, но перцепционно доминирующих в процессе названия. К числу ассоциативных дериватов отнесены, в частности, дериваты, значение которых основано на метафоре [*mrowiskowiec* "dom jak mrowisko" (дом, похожий на муравейник)]. Ассоциативные дериваты представляют собой один из видов нарушений семантических отношений между производящим и дериватом. Здесь имеет место нарушение семантической мотивации<sup>4</sup>.

Пограничную сферу между собственно дериватами и ассоциативными дериватами составляют такие слова, как *mydlarnia* "магазин, в котором продаются изделия хозяйственной химии (в том числе мыло — *mydło*)"; *reżchnik* "кусоч материи, служащий для вытирания тела (в том числе рук, польск. *reka*)" (ср. гипонимическую мотивацию, выделяемую О.П. Ермаковой и Е.А. Земской, см. с. 86).

Ассоциативные дериваты, по мнению авторов, образуют переходную зону между мотивированными и немотивированными словами; так, слова типа *maslak* "гриб, который выглядит намазанным маслом", *ostróżka* "растение, цветы которого похожи на шпору" (ср. польск. *ostroga* "шпора") имеют ослабленную мотивацию, пограничную с немотивированностью.

Е.А. Земская [25, с. 337—349] выделяет следующие виды семантических отношений мотивации: основная (*дом* — *домик* и т.п.), коррелирующая с периферийной (семантика мотивирующего слова составляет периферийную часть семантики мотивированного слова: *госпиталь* — *госпитализировать*), прямая (*школа* — *школьник* и т.п.), коррелирующая с переносной, делящейся на два подвида — реальная мотивация (образное значение мотивированного наследуется от переносного значения мотивирующего: *петушились*) и ассоциативная (значение мотивированного базируется на устойчивых ассоциациях, свойственных значению мотивирующего: *школьник* — *школьничать*); образная мотивация (образное значение мотивированного основывается на прямом значении мотивирующего: *молокосос*).

О.И. Блинова [20, с. 32, 33, 81, 82], в отличие от авторов всех названных работ о степенях мотивации, использует это понятие для разграничения слов, соотносящихся как с мотивирующим, так и с одноформантным словом (*синеть*, ср. *синий*, *белеть*), и слов, соотносящихся только с мотивирующим (*стеклярус*, ср. *стекло*) или только с одноформантным словом (*брусника*, ср. *костяника*). Первый тип соотношения автор называет полной мотивацией, второй — частичной мотивацией.

Особую позицию по вопросу о степенях мотивированности занимает Е.С. Кубрякова, полагающая, что "степень семантической связанности производного с производящей единицей проявляет отчетливую зависимость от того, в какой именно синтаксической позиции находится непосредственно мотивирующее слово в мотивирующем суждении" [26]. Е.С. Кубряковой намечены перспективы изучения степени семантической близости мотивированного и мотивирующего, основанные на синтаксических критериях.

<sup>4</sup> Аналогичные явления частично были рассмотрены Я. Пузынной еще в работе 1972 г., где употреблялся термин "намеренно нарушенная производность" (*rochodność intencjonalnie zakłócona*) [23, с. 55, 56]. М. Гогольская рассматривала этот вид нарушений как своеобразную словообразовательную рекламу, обеспечивающую эффективность восприятия и коммуникации (прагматическая функция дериватов) (см. [24]).

2. Краткий обзор работ последнего времени о видах и степенях мотивации показал, что в центре внимания их авторов стоит вопрос о характере (прежде всего — степени близости) семантических отношений между анализируемыми словами. Решение этого вопроса тесно связано с проблемой соотношения системы языка и его функционирования в речи индивидуумов, поскольку разные индивидуумы — в зависимости от своей языковой компетенции — по-разному трактуют значение и структуру слова: одно и то же слово может оцениваться как мотивированное одним носителем языка и как немотивированное — другим. Это не означает, однако, что в решении проблемы степеней мотивированности следует остановиться на уровне языковой компетенции индивидуумов и не ставить вопроса о мотивированности/немотивированности слова в системе языка.

А.С. Герд, говоря о членении словоформ на морфы, отметил, что при этом возможна опора на "словари или... на коллективное языковое сознание" и что должен быть «охарактеризован тот обобщенный "средний" тип носителя литературного языка, который послужил эталоном при проведении сегментации» [27, с. 9]<sup>5</sup>. Очевидно, ориентация на "обобщенный" тип носителя языка (как при сегментации, так и при выявлении мотивационных связей) может в наибольшей степени способствовать определению системных свойств языка. Правда, задача выявления мотивационных связей, актуальных для такой "усредненной" языковой личности, достаточно сложна в силу абсолютной неразработанности этой проблемы и отсутствия материалов и предварительных исследований. Выявление восприятия структуры слова (и, следовательно, — степени его мотивированности) могло бы осуществляться и посредством анкетирования. Таких исследований не проводилось. Определенную помощь мог бы оказать словарь языковых ассоциаций, однако и он пока не создан. В настоящее время лингвист может опираться на свой языковой опыт, а также на данные толковых словарей. И то, и другое ненадежно: первое — в силу субъективности, второе — в силу того, что, как известно, толкования многих мотивированных слов в толковых словарях не отражают их структуру, не содержат мотивирующих слов, не выявляют четко составные части (мотивирующую, формантную и дополнительную) значений мотивированных слов<sup>6</sup>. Надежнее были бы данные специальных толковых словообразовательных словарей, однако и такие словари пока отсутствуют.

2.1. Вопрос о восприятии структуры слова "усредненной" языковой личностью — это часть общей и совершенно не разработанной проблемы степени известности словарного состава носителям языка. Частотные словари, учебные словарные минимумы дают косвенные данные лишь о степени известности слова, но не о восприятии его структуры. В результате массового анкетирования возможно выявление "индексов известности" каждого слова, которые могут явиться базой для дальнейших разнообразных исследований (в том числе и социолингвистических). Аналогичным путем может быть установлен и "индекс мотивированности". Индексы известности слова и индексы его мотивированности могут быть определены как для "усредненной" языковой личности, так и для типичных представителей различных социальных групп.

Очевидно, что носитель языка может воспринять слово как мотивированное в том случае, если ему известны три семантических компонента: 1) значение этого слова; 2) значение мотивирующего слова; 3) семантические признаки, которые показывают связь между тем, что обозначено мотивирующим и

<sup>5</sup> Применительно к мотивации слов (конкретно — терминов) об этом писала Я. Пузынина: "Лингвисты хотели бы анализировать язык с точки зрения значений, которые приписывает языковым единицам обычный носитель языка, а не специалист" [23, с. 57].

<sup>6</sup> О толкованиях мотивированных слов в толковых словарях см. [19, с. 245—252; 28].

мотивированными словами (отдельный вопрос — возникновение ложных, "народно-этимологических" связей). Рассмотрим кратко каждый из этих компонентов.

2.1.1. Естественно, что тот, кто совершенно не знает значения слова, не имеет данных для суждения о его мотивации. В этих случаях возможна ложная интерпретация значения слова, которая нередко сочетается с установлением связей с псевдооднокоренными словами. Таково, например, довольно широко распространенное, но ошибочное употребление глагола *довлеть* в значении "господствовать, преобладать", обусловленное установлением ложной с синхронной точки зрения связи с глаголом *давить*.

2.1.2. Носитель языка, не знающий мотивирующего слова или его значения, не воспринимает и мотивированное слово в качестве такового. Например, существительное *маринист* мотивировано только для того, кто знает устаревшее *марина* "картина, изображающая морской вид". С точки зрения системы языка (и "усредненного" знания), по-видимому, нельзя устаревшее слово считать мотивирующим по отношению к неустаревшему, т.е. *маринист* следует признать немотивированным.

Из образований от имен собственных мотивированными для носителя языка являются те, которые соотнесены с известными ему именами. Так, для большинства носителей языка мотивированными, видимо, являются суффиксальные *аракчеевщина*, *буддист*, *дарвинизм*, *стахановец*, *тимуровец*, *толстовка*, *буденовка*, *бонапартизм*, *демянова (уха)*, *эзопов (язык)* и т.п., безаффиксные *донжуан*, *донкихот*, *боржом*, *гжель*, *геркулес* и немотивированными *базедова (болезнь)*, *гардения*, *дальтонизм*, *артезианский (колодец)*, *макаронизм* и др., безаффиксные *кагор*, *галифе*, *винчестер*, *дредноут*, *мегера*, *пергамен* и др., хотя индивидуальные различия между носителями языка в данном случае могут быть довольно значительными.

В этом отношении к словам, мотивированным именами собственными, близки аббревиатуры. Известность их расшифровки сильно колеблется в зависимости от индивидуальных знаний носителя языка, от того, в какой сфере он занят. В словаре М. Фасмера для зарубежного читателя раскрывается аббревиатура СССР, а для современного читателя, очевидно, необходимо раскрытие таких аббревиатур, как *кожимит*, *загс*, *дот*, но не *колхоз*, *нэп*, *вуз*, *энзе* и т.п.

2.1.3. Широко распространены случаи, когда обыденного знания значения слова недостаточно для его семантического соотнесения со словом, входящим в его структуру и также известным носителям языка. В таких случаях неясны связывающие эти слова семантические признаки. Так, если *рождество*, по-видимому, мотивировано для большинства носителей языка (ср. его толкование в словаре С.И. Ожегова: "христианский праздник рождения Христа" [29, с. 629], то названия ряда других религиозных праздников не мотивированы в силу незнания "средним" носителем языка истории их возникновения и связанных с ними обрядов, ср. например, *покров* (отсутствующее в словаре С.И. Ожегова, толкуемое в четырехтомном Словаре русского языка без помощи однокоренных слов: "один из христианских праздников" [30, III, с. 251]).

Химический термин *водород* (калька с лат. *hydrogenium*, по-видимому, осознается носителями языка как "рождающий воду" (ср. толкование этого слова в словаре С.И. Ожегова: "химический элемент, самый легкий газ, в определенном соединении с кислородом образующий воду" [29, с. 83]), но связь близких по структуре слов *кислород* и *углерод* с *кислый (кислота)* и *уголь*, очевидно, не входит в "обыденное" знание, отраженное в толковых словарях: "кислород "химический элемент, газ, входящий в состав воздуха, необходимый для дыхания и горения" [29, с. 252], *углерод* "химический элемент, важнейшая составная часть всех органических веществ в природе" [29, с. 756]. Связь с *кислота*, *уголь* нуждается в специальных этимологических и энциклопедических разъяснениях: «Франц. химик А. Лавуазье в 1775 г. установил состав воздуха и показал, что кислород является составной частью кислот. Отсюда лат. *oxygenium*, умение образование на базе греч.

ὄξυς "кислый" и γεννάω "рождать", т.е. буквально "рождающий (образующий) кислоту"» [13, т. II, вып. 8, с. 137]; "Значит. кол-во углерода)... входит в состав горючих ископаемых (уголь, природный газ, нефть и др.)" [31, с. 1367].

2.2. Системные свойства единиц языка (в данном случае — степень мотивированности слов) должны выявляться обычным путем: посредством изучения функционирования единиц языка в речи, выявления восприятия их возможно большим числом носителей языка, суммирования и обобщения этих данных. К сожалению, такого исследования степеней мотивации не проведено, а необходимость его очевидна.

2.2.1. Функционирование мотивированных слов в речи (тексте) изучено недостаточно: лишь в последнее десятилетие появился ряд работ теоретического характера, посвященных проблеме "словообразование и текст" [20, 32—35]. Детальные исследования большого материала отсутствуют<sup>7</sup>. Между тем контексты, в которых выступают одновременно два или несколько однокоренных или одноформантных слова (несмотря на достаточную редкость таких контекстов), дают некоторые данные о степени мотивированности слов, употребленных в этих контекстах. Проблема "мотивация в тексте" заслуживает специального исследования. Мы ограничимся наименее изученной частью проблемы — рассмотрим употребление таких слов, семантические синхронные связи между которыми могут быть предметом обсуждения.

Эти употребления довольно разнообразны. В одних случаях сближения осуществляются в процессе непосредственных высказываний авторов текста о данных словах (метаязыковые сближения): «Несколько раз за время наших скитаний мы заводили разговор о старом народном выражении "дремущие леса". Мы восхищались точностью русского языка. Действительно, лесные дебри как бы цепенели в *дремоте*. *Дремали* не только леса, но и лесные озера, и ленивые лесные реки с красноватой водой. По берегам этих рек росли цветы кукушкины слезы. В народе их звали "дрёмой". Это растение было под стать *дремущим* лесам. Венчики кукушкиных слез сонно висели, согнувшись до самой земли» (К. Паустовский. Клад)<sup>8</sup>; «Печорин этого не понимает. Дуэль для него единственный способ *возмездия*. Вслушайтесь-ка в слово "*месть*". *Месть*, *возмездие*, *возмещение*. В русском языке заключена великая мудрость. Вероятно, в любом» (А. Крон. Бес-сонница); «Михаил Васильевич ...лежит на постели, стонет, жалуется на сердце. Он разглядывает потолок и говорит, имея в виду трещины посреди матиц: "Дерево и то ведь как по *сердцу* рвет!". Редкое у него чувство языка: *середина — сердце*» (Е. Дорош. Иван Федосеевич уходит на пенсию); «В русском языке есть еще выразительное слово предание. Предание — то, что художники всех времен передают следующим поколениям как самое ценное, значительное, "важное" (Вл. Воронов. Время выбора).

В других случаях сближения осуществляются без "комментариев", но их намеренный характер очевиден: «Первый секретарь обкома Кнорозов ...швырнул ему как-то: "Размазня ты, а не работник! Не советский у тебя стили!". Но Грачиков обопнул на своем: "Почему? Наоборот. Я — советно работаю, с народом я советуюсь"» (А. Солженицын. Для пользы дела); ср. синхронные сближения разошедшихся *ведать* и *совесть*; *знать* и *сознание* (см. [38]).

Возможно оживление ослабленной связи общеупотребительного слова с уставшим, или стилистически маркированным производящим (ср. *внимание* ← *внимать*, трад.-поэт.): "Помню особую усиленную внимательность к нему Белого,

<sup>7</sup> Большое количество диалектных контекстов, содержащих мотивированное и мотивирующее слова, представлено в [36].

<sup>8</sup> Пример рассмотрен О.И. Блиновой, отметившей, что "мотивационная цепочка *дремали* — *дрёма* — (цепенели в) *дремоте* оживляет внутреннюю форму в слове *дремущие* (леса) и создает яркий образ" [20, с. 148]. Д.Н. Шмелев считает словообразовательные связи между словами *дремать* и *дремущий* живыми [37].

внимание к каждому слову, внимание каждому слову" (М. Цветаева. Пленный дух); «И слово давнее "внимать"/Казалось мне — высокопарным,/Пока не стала понимать —/Бывает слушатель бездарным,/Пока не стала различать —/Что значит слушать со вниманьем,/И слово умное "внимать"/Вдруг озарилось пониманьем» (Т. Невская. Зрелость).

Неполная мотивированность слов типа *дремучий, возмездие, возмещение, сердце, предание, советский, совесть, сознание, внимание*, сближенных в текстах с исконно однокоренными словами, очевидна: с одной стороны, все сближенные в приведенных контекстах слова в словаре А.Н. Тихонова [10] отнесены к разным гнездам (и даже не отнесены, за исключением *внимать*, к словам, примыкающим к другим гнездам); с другой стороны, сам факт их сближения в текстах говорит о наличии в синхронной системе связей, пусть отдаленных, между многими словами с диахронически родственными корнями.

Таким образом, построение типологии степеней синхронной мотивации предполагает решение сложных вопросов установления мотивационных отношений между конкретными словами, во многом связанных с их функционированием. Несмотря на слабую изученность и сложность этих отношений, вряд ли можно согласиться со скепсисом М. Раммельмайера, который полагает, что проблемы мотивации "принципиально неразрешимы" [с. 39].

3. Ниже делается попытка построения многоступенчатой классификации степеней мотивации. В этой классификации определено место каждого из видов мотивации, рассмотренных в названных выше работах, и выделены некоторые другие виды. Степени мотивации определяются в результате анализа соотношений слов, претендующих на роль мотивирующих (их будем в дальнейшем обозначать буквой А), и слов, претендующих на роль мотивированных (их будем обозначать буквой Б). При определении этих "претендентов" мы исходим из тех признаков мотивированных и мотивирующих слов, которые изложены в [41, с. 40, 41]. Эти признаки позволяют разделить слова лишь на полностью мотивированные и полностью немотивированные и не могут явиться основой для определения степеней мотивации.

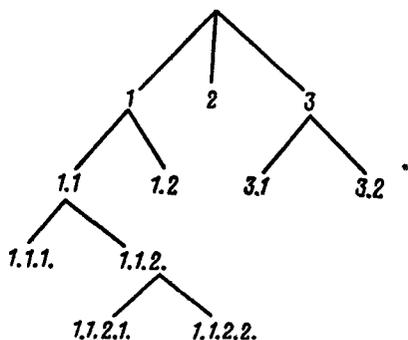
Классификация этих степеней ниже осуществляется на основании следующих семантических признаков анализируемых слов: 1) входит ли и если входит, то в какой степени (полностью или частично) значение слова А в значение слова Б; 2) в какой степени значение слова А "заполняет" мотивирующую часть значения слова Б; 3) в какое из значений (денотативное или ассоциативное) слова Б входит значение слова А (о компонентах значения мотивированных слов см. [19, с. 83—101], а также п. 3.1.1.2.); 4) какую роль (описательную, сопоставительную, экспрессивную) играет значение слова А по отношению к значению слова Б. Степень формальной близости анализируемых слов специально не рассматривается (это отдельная проблема) и считается достаточной для установления между ними отношений словообразовательной мотивации.

Слова (пары слов), обладающие такой формальной близостью, делятся на три группы в соответствии с тем, в какой степени значение одного слова (А) входит в значение другого слова (Б): 1) все компоненты значения одного слова (А) входят в значение другого слова (Б) (разд. 3.1.); 2) часть компонентов значения одного слова (А) входит в значение другого (Б) (разд. 3.2.); 3) ни один из компонентов значения одного слова (А) не входит в значение другого слова (Б) (разд. 3.3)<sup>10</sup>.

3.1. Слова первой группы в свою очередь делятся на две группы (1.1. и 1.2. на рис. 1 в соответствии со вторым признаком, названным в п. 3): 1) большую часть группы 1 составляют пары, у которых значение слова А полностью совпадает

<sup>9</sup> Слова А чаще всего (но не всегда) являются диахронически производящими, а слова Б — производными. Виды соотношений производности и мотивации, не являющиеся предметом данной статьи, рассмотрены в [40].

<sup>10</sup> См. рис. 1, где эти группы обозначены цифрами 1, 2, 3. На рис. 1 представлены все выделенные ниже степени мотивации и их соотношение.



1. Все компоненты значения слова А входят в значение слова Б.
  - 1.1. Значение слова А полностью совпадает с мотивирующей частью значения слова Б.
    - 1.1.1. Значение слова А совпадает с мотивирующей частью денотативного значения слова Б (*лес — лесок*).
    - 1.1.2. Значение слова А совпадает с мотивирующей частью ассоциативного значения слова Б.
      - 1.1.2.1. Значение слова А совпадает с мотивирующей частью ассоциативно-описательного значения слова Б (*горб — горбуша*).
      - 1.1.2.2. Значение слова А совпадает с мотивирующей частью ассоциативно-сравнительного значения слова Б (*сова — советь*).
  - 1.2. Значение слов А составляет часть мотивирующей части значения слова Б (*брошюра — брошюровать*).
2. Часть компонентов значения слова А входит в значение слова Б (*булава — булавка*).
3. Ни один из компонентов значения слова А не входит в значение слова Б.
  - 3.1. Значение слова А экспрессивно связано со значением слова Б (*патрон — распатронить*).
  - 3.2. Значение слова А никак не связано со значением слова Б (*быть — забывать*).

с мотивирующей частью значения слова Б (разд. 3.1.1.), 2) меньшую — пары, у которых значение слова А составляет часть мотивирующей части значения слова Б (разд. 3.1.2.).

3.1.1. Пары, у которых значение слова А полностью совпадает с мотивирующей частью значения слова Б, в свою очередь делятся на две группы (1.1.1. и 1.1.2. на рис. 1) в соответствии с третьим признаком, названным в п. 3: 1) пары, у которых значение слова А полностью совпадает с мотивирующей частью денотативного значения слова Б (разд. 3.1.1.1.); 2) пары, у которых значение слова А совпадает с мотивирующей частью ассоциативного значения слова Б (разд. 3.1.1.2.).

3.1.1.1. В первую из этих групп (1.1.1. на рис. 1) входит большая часть слов, например, *лес — лесок, победить — победитель, бежать — вбежать* и мн. др. Значение первых членов этих пар составляют мотивирующую часть денотативного значения вторых членов, которые, в отличие от слов второй из названных групп, не имеют ассоциативного значения. Это наиболее типичный вид семантических словообразовательных связей — основная или прямая мотивация (по Е.А. Земской [25]), имеющая место у собственно дериватов или семантических дериватов (по Р. Гжегорчиковой и Я. Пузыниной [1]).

3.1.1.2. Во вторую из этих групп (1.1.2. на рис. 1) входят такие пары, у второго члена которых в лексическом значении можно выделить две части: денотативное значение (дефиницию) и ассоциативное значение (ср. [1, с. 308]). Значение первого слова пары входит в ассоциативное значение и составляет его мотивирующую часть. Семантическая специфика данных дериватов заключается в том, что их денотат может быть адекватно (с точки зрения смысла) описан без ссылки на другое однокоренное слово. Денотативное значение таких слов описывается полной дефиницией, отражающей все существенные свойства денотата, но не отражающей способ его представления средствами языка. Толковые словари

нередко ограничиваются денотативными толкованиями таких слов. Таково, например, толкование слова *горбуша* в [30, т. I, с. 332]: "морская промысловая рыба сем. лососевых". При этом опускается та часть значения слова, которая отражена в его внутренней форме и которая соответствует способу представления данного денотата средствами языка. Эту часть можно найти в некоторых (не во всех) энциклопедических и этимологических словарях. Так, в [42, т. I, с. 451] указано, что "во время нереста на спине у самца образуется мясистый горб" (в новейшем энциклопедическом словаре [31, с. 323] связь с горбом не устанавливается), в [13, т. I, вып. 4, с. 130] говорится: "такое название данная рыба получила благодаря большому горбу, вырастающему на спине у самцов". Областной омоним названия рыбы в [30] также толкуется без участия слова *горб*, хотя разъясняет читателю связь с этим словом, указывая на форму толкуемой реалии: «*Горбуша...* "Разновидность косы с изогнутым лезвием на короткой рукоятке"» [30, т. I, с. 332]. Отсутствие ассоциативной части — не редкость в толкованиях многих слов (например, *горбушка, горбыль, глухарь, земляника*<sup>11</sup>, *трясогузка* и т.п.). Без участия однокорневого слова в [30] истолкованы такие слова, включающие приставку *под-*: *подбородник* (спец.), *подбородок, подвздох, подосиновик, подсвинок, подследники, подсолнечник, подфарник, подштанники* и др. Видимо, необходимо найти способ различения в толковании денотативного и ассоциативного значений таких слов. Отсутствие последнего в толкованиях не отражает связей слов, несомненно, актуальных для носителя языка. С этой точки зрения следует обратить внимание на словарные толкования, даваемые в скобках с пометой *буквально*, ср., например, толкование прилаг. *допотопный* в [30]: "Вымерший, чрезвычайно древний (буквально: существовавший до мифического библейского потопа)" [30, т. I, с. 431].

Включение значения производящего в состав значения производного (в его ассоциативно-мотивационную часть) отличает предлагаемую трактовку данных дериватов от трактовки аналогичных дериватов, предложенной польскими лингвистами, назвавшими данную группу дериватов ассоциативными (или ономазиологическими) дериватами. Польские лингвисты полагают, что производящее данных дериватов остается за пределами их значений (хотя нередко описывают дериваты этой группы с помощью производящих: *mrowiskowiec* "dom jak mrowisko", *zyletkowiec* "dom w kształcie zyletki" и т.п. [1, с. 315]).

Пары слов; второй член которых имеет ассоциативное значение, делятся на две группы — в соответствии с четвертым признаком, названным в п. 3: 1) значение слова А составляет мотивирующую часть ассоциативно-описательного значения слова Б (разд. 3.1.1.2.1., на рис. 1 — группа 1.1.2.1.); 2) значение слова А составляет мотивирующую часть ассоциативно-сравнительного значения слова Б (разд. 3.1.1.2.2., на рис. 1 — группа 1.1.2.2.).

3.1.1.2.1. Второй член (слова Б) первой из названных групп имеет ассоциативное значение, состоящее из семантических компонентов, описывающих свойства денотата, и не содержащее сравнения с тем, что названо первым членом (словом А). Значение слова А участвует в описании указанных свойств денотата. К этой группе относятся слова типа *горбуша*, типа слов с приставкой *под-* или приведенного польскими лингвистами слова *lipiec*, денотативной частью значения которого можно считать "седьмой месяц года", а ассоциативной (в данном случае — ассоциативно-описательной) — "месяц, в котором цветут липы" [1, с. 316].

<sup>11</sup> Ср. у Г.О. Винокура. "Производная или непроеводная основа в слове *земляника*? Это зависит от того, входит ли в самое значение слова *земляника* отношение к земле. Узнать это, очевидно, можно только путем соответствующего ознакомления с опытом тех, кто данным словом пользуется. С этой точки зрения показательно, что в словарях современного русского языка (Ушакова, Стояна; в других словарях толкование значения заменено ботаническим обозначением) значение слова *земляника* определено без упоминания слова *земля*, тогда как в толковании значения слова *черника* содержится упоминание черного цвета ягоды" [43, с. 422].

3.1.1.2.2. Второй член (слово Б) второй из названных групп имеет ассоциативное значение, содержащее сравнение с тем, что названо первым членом (словом А). Так, у слова *советь* ассоциативное значение содержит сравнение с совой ("как сова"), отсутствующее в толковых словарях. Денотативное значение этого слова, указываемое словарями, — "становиться полусонным (вследствие усталости, опьянения и т.п.)". В это значение, как правило, входят те компоненты, которые образуют семантические ассоциации первых членов рассматриваемых пар слов (у совы — сонливость, дремотность).

К данной группе относятся слова, у которых С.С. Лашанская и В.В. Лопатин отмечают метафорическую мотивацию, а Е.А. Земская — ассоциативную переносную и образную мотивации<sup>12</sup>.

Ассоциативно-сравнительные дериваты обычно представляют собой как бы результат преобразования отсутствующего у них прямого значения в переносное: *сова* → \**советь* "превращаться в сову" → *советь* "становиться полусонным..., <подобно сове>". Если в данной цепочке представлены все звенья, то мы имеем дело с обычной полисемией; ср. у глаголов на *-ничать*:

*ремесленничать* 1. "заниматься делом ремесленника" 2. "работать по шаблону..."  
*школьничать* "вести себя легкомысленно, как школьник".

К ассоциативно-сравнительным дериватам относятся, например, *плакучий*, *сатанеть*, *головорез*, *молокосос*, *толстосум*, *небоскреб*, *верхогляд*, *буквоед*, *гробить*, *перемежать*, *закоренеть*, *внедрить*, *задубеть*, *вертихвостка*, *прихлебатель*, *захребетник*, *бесхребетный*, *вкрасться*, *педалировать*, *торпедировать*, *головомойка*, *барашки*, *бреющий (полет)*, *окрылить*, *беспутный*, *неуклонный*, *зablуждаться*, *руководствоваться* и др.

В ряде случаев ассоциации, связанные с первым членом рассматриваемых пар, находят отражение в его употреблении в ограниченном (несвободном) контексте: ср. *намылить кому-л. голову* — *головомойка*, *протереть с песбчком* — *пропесочить*, *разнести в пух и прах* — *распушить* и др.

Особой проблемой является определение того, есть ли у слова ассоциативное значение, поскольку далеко не всегда мы имеем дело с достаточно прозрачными отношениями типа *горб* — *горбуша* или *сова* — *советь*. Не претендуя, естественно, на решение этого вопроса, отметим лишь, что констатация наличия/отсутствия или степени отчетливости ассоциативных связей может опираться на степень их типичности, системности, распространенности в языке. Например, связь между *греть* и *взгреть* может опираться на более широкую связь между "огнем, жаром" и "эмоциями", многократно отраженную в языке — как в синхронии (*пламенная страсть*, *огонь любви*, *жаркие споры*, *раскаленная обстановка*, *зажечься чем-н.* и т.п.), так и в диахронии (ср. диахронически связанные *горе* — *гореть*, *печь* — *печатать* и т.п.), связь между *швырнуть* и *прошвырнуться* — на другие сближения бросания и передвижения (ср.: *он кинулся*, *бросился навстречу*) и т.п.

3.1.2. Выше (раздел 3.1.1.) была рассмотрена группа мотивированных слов (1.1. на рис. 1), у которых семантически мотивирующая часть значения полностью совпадает со значением другого однокоренного слова. В данном разделе рассматриваются слова, у которых семантически мотивирующая часть значения не полностью совпадает со значением другого однокоренного слова. Это — те

<sup>12</sup> Разграничение переносной и образной мотивации Е.А. Земская [25] основывает на наличии/отсутствии у мотивирующего устойчивых семантических ассоциаций: у *школьничать* — переносная мотивация (ср. "ребячество, легкомыслие" — устойчивые ассоциации слова *школьник*), у *лизоблюд* — образная мотивация. Е.А. Земская полагает, что образность слова *лизоблюд* возникла из прямого значения сочетания слов *лизать блюдо*. Решение вопроса о наличии/отсутствии у слов побочных ассоциаций при отсутствии ассоциативного словаря достаточно затруднено, поэтому мы воздерживаемся пока от выделения разновидностей ассоциативно-сравнительной мотивации.

дериваты, которые польскими учеными рассматривались как пограничные между собственно дериватами и ассоциативными дериватами, а Е.А. Земской были отнесены к так называемой периферийной мотивации (см. [25]). Позднее О.П. Ермакова и Е.А. Земская назвали эту мотивацию гипонимической [44]. Этот термин следует считать более информативным: одно из однокоренных слов (слово А) является гипонимом по отношению к тому слову или словосочетанию, значение которых составляет мотивирующую часть значения другого однокоренного слова (Б). Так, глагол *брошюровать* означает "сшивать" (листы) в книгу". Слово *брошюра* является гипонимом по отношению к гиперониму *книга*, значение которого составляет семантически мотивирующую часть значения глагола *брошюровать*. Аналогичные отношения имеют место между словами *скоба*, *скобяной* и словосочетанием *легкие железные изделия*. Слово *скоба* — гипоним по отношению к словосочетанию *легкие железные изделия*, значение которого является семантически мотивирующей частью значения слова *скобяной*; ср. его толкование в словаре С.И. Ожегова: "относящийся к производству или продаже легких железных изделий (скоб, крюков и т.п.)" [29, с. 665]. Ср. также *булка*, *булочная* и *хлеб*; *каша*, *кашевар* и *пицца*; *госпиталь*, *госпитализировать* и *больница*; *сок*, *соचितь* и *жидкость*; *роса*, *оросить* и *жидкость*; *серебро*, *бессребреник* и *деньги* и др. У многозначных слов не исключена возможность прямой и гипонимической мотивации одним и тем же словом; ср. *оснастить* — "1. Оборудовать, снабдить снастями (судно); 2. Снабдить необходимыми техническими средствами, приспособлениями" [30, т. II, с. 649]. В первом значении это слово связано со словом *снасть* прямой мотивацией, во втором — гипонимической.

3.2. Рассмотрев в разделе 3.1. группу слов (группа 1 на рис. 1), в значения которых входят все компоненты значения другого анализируемого слова, перейдем к словам (группа 2 на рис. 1), значение которых включает лишь часть компонентов значения другого слова. Во многих случаях имеются лишь некоторые общие компоненты у разошедшихся значений (обычно это — реликты их былой связи). Так, *булава* и *булавка* (некогда связанные как производящее и производное) в современном языке сохранили лишь общие компоненты "утолщение на одном конце" и сходство формы у палки и иглы, ср. значения этих слов (по словарю С.И. Ожегова: *булава* "короткая палка, жезл с шарообразным утолщением на конце, служившие в старину оружием, а у казаков символом власти"; *булавка* — "игла с головкой на одном конце, служащая для прикалывания, а с красивой головкой — для украшения" [29, с. 60]). Сохранилось лишь весьма отдаленное сходство в форме при полном различии функций.

У глаголов *будить* и *возбудить* остался лишь общий компонент "приведение в активное состояние" при отсутствии у *возбудить* значения перевода от сна к бодрствованию (в отличие от *будить* — *разбудить*) и наличия компонентов, связанных с эмоциональным состоянием.

Глаголы *гласить* "содержать в себе какое-нибудь утверждение" и *возгласить* "громко, торжественно произнести, объявить" имеют общий компонент "сообщение информации", но *гласить* [не в традиционно-поэтическом устаревшем значении "провозглашать, возвещать, возглашать", ср.: Они *гласят* во все концы (Тютчев)] не означает, в отличие от *возгласить*, произнести вслух".

Значение глагола *издать* "напечатать и выпустить в свет" (калька с нем. *herausgeben*) не включает значение глагола *дать* (в отличие от *отдать*, *передать* и др.). Отдаленные семантические связи можно усматривать в компоненте "отчуждения" (книги от издающего, предмета от дающего).

Частичное сохранение компонентов значения производящего в значении производного можно усматривать в таких парах, как *блуза* — *блузка*; *фабрика* — *фабриковать*; *рубить* — *рубильник*; *куб* — *кубок*; *куб* — *кубышка*; *деть* — *вдеть*, *продеть*, *воздеть*; *дать* — *обдать*; *гадать* — *выгадать*; *ругать* — *надругаться*; *лизнуть* — *улизнуть*; *бой* — *бойкий* и мн. др.

3.3. Если анализируемые формально связанные слова (А и Б) не имеют никаких

общих семантических компонентов (группа 3 на рис. 1), то, казалось бы, не может быть и речи о степени мотивационной связанности между ними.

3.3.1. Однако в ряде работ последнего времени рассмотрен особый вид отношений между словами, одно из которых явно входит в состав другого и идентифицируется в качестве такового всеми носителями языка, но семантическая связь между этими словами установлена быть не может; значение одного из них нельзя истолковать через значение другого. Т.В. Матвеева рассматривает вторые члены таких пар, как слова с парадоксальной внутренней формой [45], М. Раммельмайер называет отношения в таких парах чисто формальной мотивацией [46], О.П. Ермакова и Е.А. Земская — условной мотивацией [44]. С нашей точки зрения, более соответствует специфике этих отношений термин экспрессивная мотивация (3.1. на рис. 1). Связь с мотивирующим таких слов (все они принадлежат к экспрессивной лексике) не семантическая, а только экспрессивная. Сущность такой мотивации описана М. Раммельмайером: "Вызванные ясной формальной мотивацией произвольные поиски семантической мотивации тем больше увеличивают экспрессивность производного, чем больше разрыв между производным и производящим" [46, с. 189, 190].

К числу таких слов относятся разговорные или просторечные: *наколбасить, распатронить, огорошить, подкузьмить, обжегорить, обштопать, лимонничать, апельсинничать, втрескаться, сморозить* и т.п., а также многие образования от нецензурных слов, описанные М. Раммельмайером [46].

3.3.2. Экспрессивную мотивацию следует отличать от такого вида отношений между семантически не связанными словами, когда связь между ними не идентифицируется носителями языка (*быть — забыть, нос — носить* и т.п.) или когда возможны случайные ассоциации смыслов, не входящих в значение слов (3.2. на рис. 1). Например, слово *беда* не имеет общих компонентов со словом *бедовый* "шустрый, смелый". Семантическая связь имела бы место в том случае, если бы, например, *бедовый* включало компонент "доводящий до беды смелостью, шустростью". Связь с *бедой* нельзя отнести и к сфере устойчивых семантических ассоциаций, поскольку смелость может быть в равной степени связана как с *бедой*, так и с ее отсутствием или ликвидацией.

Для значений слов *белые, чернила* не обязательны ассоциативные компоненты, связанные с цветом. Аналогично соотношение слов *петь* и *петух*: "это соотношение... в современном русском языке нереально, так как хотя петух и поет, но петух все же не означает в нашем языке поющую птицу" [43, с. 427]. Такого рода ассоциации можно было бы назвать факультативными, неустойчивыми или произвольными.

4. В данной статье не рассмотрены, конечно, все аспекты проблемы степеней мотивации, в частности, вопрос "полисемии и степени мотивации". Нами приведены лишь отдельные примеры многозначных слов, разные значения которых связаны со значением мотивирующего слова разными видами мотиваций, одна из которых — прямая, а другая — метафорическая (*ремесленничать*, см. п. 3.1.1.2.2.) или гипонимическая (*оснастить*, см. п. 3.1.2.). Между тем у многих полисемантических слов имеются такие значения, в которых они мотивируются однокоренным словом лишь через посредство другого значения, обычно связанного со значением мотивирующего слова прямой мотивацией. В этом случае степень мотивации определяется степенью связанности значений полисемантического слова — от регулярной полисемии (например, *забитый*. 1. Прич. страд. прош. от *забить*. 2. В знач. прил. Доведенный до отупения; запуганный) до таких отношений, когда "посредствующее" значение является устаревшим, что ослабляет мотивированность слова в неустаревшем значении, например: *застрельщик* 1. Устар. Солдат в рассыпном строю, который первым встречался с противником. 2. Тот, кому принадлежит почин в каком-л. деле; зачинатель [30, т. I, с. 577]; *имение* 1. Земельное владение помещика...; 2. Устар. Имущество, собственность; [30, т. I, с. 660]; *низвести* 1. Устар., теперь шутол. ирон.

Свести вниз; 2. перен. книжн. "Свести (на более низкую ступень, степень и т.п.) [30, т. II, с. 497]; соратник 1. Товарищ по битвам <...> 2. Единомышленник и товарищ по борьбе, какой-л. деятельности; сподвижник [30, т. IV, с. 201, где ошибочно не указана устарелость первого значения].

5. Изложенная типология семантических отношений между формально соотносительными словами дает, как кажется, некоторые критерии для решения лексикографических задач, о которых шла речь в п. 1. Так, в словообразовательное гнездо в гнездовом словаре следует, видимо, включать всю выделенную первую группу (см. рис. 1) (включая пары слов, связанных отношениями ассоциативной и гипонимической мотивации), а также экспрессивную мотивацию (3.1. на рис. 1).

Вопрос о том, слова каких типов должны быть помещены в словарь этимологического словаря, связан с более общим вопросом о понимании границ этимологии. Если считать, что этимология должна реконструировать только полностью нарушенные связи, тогда следует включать в этимологический словарь только слова второй группы и группы 3.2. Если считать, что этимология может объяснять причину появления любых отношений, отклоняющихся от прямой мотивации, тогда в словарь словаря следует включать и слова, связанные ассоциативной и гипонимической мотивацией.

Во всяком случае любая классификация слов с точки зрения синхронных словообразовательных (мотивационных) отношений между ними предполагает предварительное теоретическое определение видов этих отношений.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. Warszawa, 1984.
2. Лопатин В.В., Улуханов И.С. // ФН. 1961. № 1. Рец. на кн.: Шанский Н.М. Очерки по русскому словообразованию и лексикологии. М., 1959.
3. Русский язык и советское общество. Словообразование современного русского литературного языка. М., 1968. С. 214—216.
4. Янко-Триницкая Н.А. Членимость основы русского слова // ИАН ОЛЯ. 1968. № 6.
5. Кубрякова Е.С. Основы морфологического анализа. М., 1974. С. 39—48.
6. Современный русский язык. Морфология. [М.], 1952. С. 48.
7. Worth D.S., Kozak A.S., Johnson D.B. Russian derivational dictionary. N.Y., 1970.
8. Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1970—1973 гг. Словообразование. М., 1978.
9. Кузнецова А.И., Ефремова Т.Ф. Словарь морфем русского языка. М., 1986.
10. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка. Т. 1, 2. М., 1985.
11. Славский Ф. Из опыта работы над этимологическим словарем польского языка // ВЯ. 1967. № 4. С. 55.
12. Słowski F. Słownik etymologiczny języka polskiego. T. I. Kraków, 1952—1956. С. 5.
13. Этимологический словарь русского языка. Т. I—II. Вып. 1—8 / Под ред. Шанского Н.М. М., 1963—1982.
14. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I—IV. / Под ред. Трубачева О.Н. М., 1964—1973.
15. Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. I—V. Мінск, 1978—1989.
16. Етимологічний словник української мови. Т. I—III. Київ, 1982—1989.
17. Coates W.A. Meaning in morphemes and compound lexical units // Proc. of the 9th Intern. Congr. of linguists. The Hague, 1964. P. 1046—1052.
18. Основы построения описательной грамматики современного русского литературного языка. М., 1966. С. 63.
19. Улуханов И.С. Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее описания. М., 1977.
20. Блинова О.И. Явление мотивации слов. Томск, 1984.
21. Лашанская С.С. Номинация и полисемия в шведском языке: Автореф. дис. ...докт. филол. наук. Л., 1974. С. 5.
22. Лопатин В.В. Метафорическая мотивация в русском словообразовании // Актуальные проблемы русского словообразования. Ташкент, 1975. С. 56, 57.
23. Ruzynina J. O pojęciu synchronicznej pochodności derywatów // Problemy współczesnego słowotwórstwa a dydaktyka uniwersytecka / [Warszawa], 1972.
24. Honowska M. Ewolucja metod polskiego słowotwórstwa synchronicznego (w dziesięciolecie 1967—1977). Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1979. S. 64.

25. Земская Е.А. Виды семантических отношений словообразовательной мотивации // Wiener Slavischer Almanach. 1984. Bd. 13.
26. Кубрякова Е.С. Теория мотивации и определение степеней мотивированности производного слова // Актуальные проблемы русского словообразования. Ташкент, 1976. С. 287.
27. Герд А.С. Морфемика в ее отношении к лексикологии // ВЯ. 1990. № 5.
28. Земская Е.А. О некоторых нерешенных вопросах теории синхронного словообразования // Всесоюзная научная конференция по теоретическим вопросам языкознания: Тез. докл. М., 1974.
29. Ожегов С.И. Словарь русского языка. 9-е изд. М., 1972.
30. Словарь русского языка. Т. I—IV. М., 1981—1984.
31. Советский энциклопедический словарь. 2-е изд. М., 1983.
32. Кубрякова Е.С. Типы языковых значений. Семантика производного слова. М., 1981.
33. Виноградова В.Н. Стилистический аспект русского словообразования. М., 1984.
34. Земская Е.А. Словообразование и текст // ВЯ. 1990. № 6.
35. Jellite H. Wortbildung und Text // Die Beziehung der Wortbildung zu bestimmten sprachebenen und sprachwissenschaftlichen Richtungen: Beiträge zur Slavistik. Frankfurt am Main; Bern; New York; Paris, 1991.
36. Мотивационный диалектный словарь (говоры Среднего Приобья). Т. I—II. Томск, 1982. 1983.
37. Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973. С. 214.
38. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987. С. 261.
39. Rammelmeyer M. // Rling. 1988. V. 12. № 3. Рец. на кн.: Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка. М., 1985.
40. Улуханов И.С. Мотивация и производность (о возможностях синхронно-диахронического изучения языка) // ВЯ. 1992. № 2.
41. Краткая русская грамматика. М., 1989.
42. Энциклопедический словарь. Т. 1—3. М., 1953—1955.
43. Винокур Г.О. Заметки по русскому словообразованию / Винокур Г.О. Избр. раб. по русскому языку. М., 1959.
44. Ермакова О.П., Земская Е.А. К уточнению отношений словообразовательной производности // Rling. 1991. V. 15.
45. Матеева Т.В. Парадоксальная внутренняя форма слова (на материале диалектных глаголов) // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования. Вып. VIII. Новосибирск. 1979.
46. Rammelmeyer M. Emotion und Wortbildung. Untersuchungen zur Motivationsstruktur der expressiven Wortbildung in der russischen Umgangssprache // Gattungen in der slavischen Literaturen. Köln; Wien, 1988.

© 1992 г. ШАПОР М.И.

**"ГОРЕ ОТ УМА": СЕМАНТИКА ПОЭТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ**

(ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ СТИХА)\*

В области изучения стиховой семантики открываются новые возможности. Рядом с обобщенной постановкой проблемы (есть ли связь между стихом и содержанием?) встал ряд конкретных вопросов: во-первых, какой аспект содержания имеется в виду (значение или смысл?), во-вторых, какая сторона стиха с ним связана (метр или ритм?) и, в-третьих, каков именно характер этой связи (исторический или органический?). Ответ на эти вопросы, подготовленный многими стиховедческими исследованиями, еще только ищет своего выражения *explicité*. В самом общем виде его можно было бы сформулировать так: метр — устойчивое, нормативное, повторяющееся начало стиха, он связан более со значением, и связь эта имеет исторически сложившийся, конвенциональный характер; ритм — изменчивое, свободное, неповторимое начало — связан преимущественно со смыслом, и притом неконвенционально, органически. Тем самым фиксируются два качественно противоположных канала реализации содержания: семиотический (метр) и семантический (ритм) (подробнее см. [1]).

Хотя повтор — это "общий фонетический принцип всякой поэтической техники" [2, 3], он по-разному осуществляется в формах метра и ритма. Будучи повторимым в отдельных своих моментах, ритм, в отличие от метра, неповторим в целом. Все дело — в разной природе метрических и ритмических повторов: первые запрограммированы, вторые — нет. Любой ритмический повтор — если это действительно он — всегда необязателен и потому неожидан (мы не можем знать заранее, в каком месте стиха вновь встретится — и встретится ли вообще — данный рисунок распределения ударений, словоразделов, клаузул, анакруз, переносов etc.). Метрический повтор, напротив, легко прогнозируем, а нарушение прогноза — это уступка ритму. Чем чаще повторяется элемент ритма, тем вероятнее, что ритмическая инерция вот-вот будет преодолена; напротив, инерция метра все время только возрастает (ср. [4]). Вместе с тем бывает целесообразно вовсе не разделять элементы метра и ритма, а рассматривать одни и те же явления поэтической формы как арену динамического единства и борьбы ритмического и метрического содержания.

1. Единство всеобщего и единичного — метрических значений и ритмических смыслов — осуществляется каждый раз особенным образом, проявляясь, в том числе, в стиховой характеристике драматических персонажей. Вопрос о ритмической дифференциации действующих лиц впервые был корректно поставлен М.Г. Тарлинской: оказалось, что две разновидности английского 5-стопного ямба "используются Шекспиром как один из способов характеристики персонажей его драм" [5—7] (ср. [8]) и, таким образом, метризируются, обретая конвенциональные семиотические значения. Типологически сопоставимые результаты были получены нами на материале комедии Грибоедова (см. ранние подступы к теме [9, с. 146—147; 10, с. 136—140, 144—150]).

\* Статистическое обследование материала для этой работы выполнено совместно с И.Б. Качинской.

Таблица 1

## Соотношение стихов разной длины в вольном ямбе "Горя от ума"

Действие	Стопность												Всего	
	1		2		3		4		5		6			
	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%
I	2	0,4	3	0,6	15	3,1	165	34,0	119	24,5	182	37,4	486	100,0
II	—	0,0	4	0,7	16	2,8	212	37,4	106	18,7	229	40,4	567	100,0
III	5	0,8	8	1,3	28	4,4	202	31,7	82	12,9	313	49,0	638	100,0
IV	3	0,6	5	0,9	14	2,6	179	33,8	68	12,8	261	49,2	530	100,0
Всего	10	0,5	20	0,9	73	3,3	758	34,1	375	16,9	985	44,3	2221	100,0

Ритмическая характеристика персонажей в "Горе от ума" (по монологам)

Действие, стих	Стопность												Всего	
	1		2		3		4		5		6			
	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%
<b>Чацкий</b>														
III, 574—638	1	1,5	—	0,0	1	1,5	20	30,8	9	13,8	34	52,3	65	100,0
IV, 463—522	—	0,0	—	0,0	2	3,3	19	31,7	4	6,7	35	58,3	60	100,0
II, 339—395	—	0,0	—	0,0	1	1,8	15	26,3	5	8,8	36	63,2	57	100,0
III, 32—72	1	2,4	—	0,0	—	0,0	10	24,4	6	14,6	24	58,5	41	100,0
I, 358—386	—	0,0	—	0,0	1,5	5,3	9	31,6	3	10,5	15	52,6	28,5	100,0
IV, 275—300	—	0,0	—	0,0	1	3,8	9	34,6	2	7,7	14	53,8	26	100,0
II, 96—120	—	0,0	—	0,0	—	0,0	12	48,0	2	8,0	11	44,0	25	100,0
III, 139—159	—	0,0	—	0,0	1	4,8	6	28,6	2	9,5	12	57,1	21	100,0
<b>Всего</b>	<b>2</b>	<b>0,6</b>	<b>—</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>	<b>2,3</b>	<b>100</b>	<b>30,9</b>	<b>33</b>	<b>10,2</b>	<b>181</b>	<b>56,0</b>	<b>323,5</b>	<b>100,0</b>
<b>Фамусов</b>														
II, 262—318	—	0,0	1	1,8	—	0,0	12	21,1	18	31,6	26	45,6	57	100,0
II, 62—95	—	0,0	—	0,0	2	5,9	10	29,4	8	23,5	14	41,2	34	100,0
II, 1—33	—	0,0	—	0,0	—	0,0	18	55,6	7,4	22,8	7	21,6	32,4	100,0
IV, 433—462	—	0,0	—	0,0	1	3,3	10	33,3	4	13,3	15	50,0	30	100,0
II, 158—179	—	0,0	—	0,0	—	0,0	7	31,8	5	22,7	10	45,5	22	100,0
<b>Всего</b>	<b>—</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0,6</b>	<b>3</b>	<b>1,7</b>	<b>57</b>	<b>32,5</b>	<b>42,4</b>	<b>24,2</b>	<b>72</b>	<b>41,0</b>	<b>175,4</b>	<b>100,0</b>
<b>Репетилов</b>														
IV, 120—173	—	0,0	1	1,9	1	1,9	19	35,6	6,4	12,0	26	48,7	53,4	100,0
IV, 196—222	1	3,7	1	3,7	1	3,7	11	40,7	2	7,4	11	40,7	27	100,0
IV, 40—60	—	0,0	—	0,0	—	0,0	13	61,9	2	9,5	6	28,6	21	100,0
<b>Всего</b>	<b>1</b>	<b>1,0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>2</b>	<b>2,0</b>	<b>43</b>	<b>42,4</b>	<b>10,4</b>	<b>10,3</b>	<b>43</b>	<b>42,4</b>	<b>101,4</b>	<b>100,0</b>

Как известно, одной из важнейших характеристик вольного ямба — размера, которым написано "Горю от ума", — является частота употребления строк разной длины, выражающаяся в процентной доле каждого вида от общего количества стихов [11, 12]. Данные по всей пьесе (см. табл. 1; ср. отличные от наших результаты М.П. Штокмара [12, с. 139], С.В. Шувалова [10, с. 126 примеч. 1] и Б.В. Томашевского [13, с. 150, 152, 155, 158, 159, 162, 165]) сопоставлялись с аналогичными показателями, полученными при дифференцированном обследовании реплик различных персонажей (см. табл. 2). Так как при быстрой смене говорящих индивидуальные ритмические тенденции почти неуловимы, нами были рассмотрены только длинные реплики, насчитывающие не менее 20 полных стихов. Их произносят три персонажа: Чацкий (8 реплик), Фамусов (5) и Репетилов (3) — всего 16 реплик, но они составляют более четверти объема комедии (27,0%; 600,3 стиха).

Из табл. 2 видно, что стихотворная речь Чацкого окрашена абсолютным и относительным преобладанием 6-стопников (их у него в среднем — 56,0%, максимум в реплике — 63,2%) — это больше средней цифры не только по пьесе в целом (44,3%; см. табл. 1), но и по длинным репликам (49,3%). Речь Фамусова, напротив, характеризуется уменьшением удельного веса 6-стопных стихов (41,0%, минимум — 21,6 %), которое компенсируется большей (по сравнению с Чацким и Репетилловым) встречаемостью 5-стопников (24,2%, максимум — 31,6%; в среднем по пьесе — 16,9%, по длинным репликам — 14,3%). Особый ритмический рисунок имеет стих Репетилова: его отличает относительное преобладание 4-стопного ямба (42,4%, максимум — 61,9%; в среднем по пьесе — 33,9%, по длинным репликам — 33,3%), а также не свойственное "Горю от ума" равенство удельного веса 4- и 6-стопных строк (по 42,4%). Конечно, этот паритет может показаться случайным; видимо, так оно и есть, но характерно все же, что равное количество 4- и 6-иктных строк отмечено не только по монологам Репетилова в целом, но и в одной из его центральных реплик (действие IV, стихи 196—222) — по 40,7% стихов каждого вида.

Семантическая дифференциация ритмических форм налицо. Стилистический контраст 6-стопной окраски реплик Чацкого и 5-стопной окраски реплик Фамусова — это проявление общего композиционного противопоставления главного героя и его основного ("идеологического") противника. В содержательном плане этот контраст тем важнее, что формально "пятистопный ямба в некоторых отношениях близок к шестистопному; это тоже длинный стих" [13, с. 153] (ср. [14]) — следовательно, различие между репликами обоих персонажей продиктовано требованиями не техники, а семантики. "Стих Чацкого" и "стих Фамусова" находятся как бы "в дополнительной дистрибуции", не меняя при этом конструкцию в целом: "в то время как число шестистопных ямбов возрастает на протяжении комедии, число пятистопных ямбов в той же мере падает", "хотя в общей сумме длинные стихи" "встают на одном уровне — около 60% общего количества" [13, с. 152—153]. По мере превращения комедии в трагедию "стиховая тема" Фамусова резко ослабевает (почти вдвое: с 24,4% в I акте до 12,8% в IV), а "стиховая тема" Чацкого все усиливается (с 37,4% до 49,2% соответственно; см. табл. 1).

Композиционное значение ритмических окрасок ярко проявилось в 5-м явлении II действия, где идут подряд большие монологи Чацкого и Фамусова. Как писал Г.О. Винокур, "нельзя не видеть прямого композиционного задания в том, что центральное пространство второго акта занято двукратной полемикой Фамусова и Чацкого", причем "вторые монологи в точности совпадают по протяженности, занимая по 57 стихов" [15, с. 199]. Но на деле видимая симметрия оказывается скрытой асимметрией: реплики протагониста и антагониста имеют разную ритмическую структуру. Монолог Чацкого занимает первое место в пьесе по процентному содержанию 6-стопных стихов (63,2%), а 5-стопных стихов в нем сравнительно мало (всего лишь 8,8%). В реплике Фамусова, напротив, относитель-

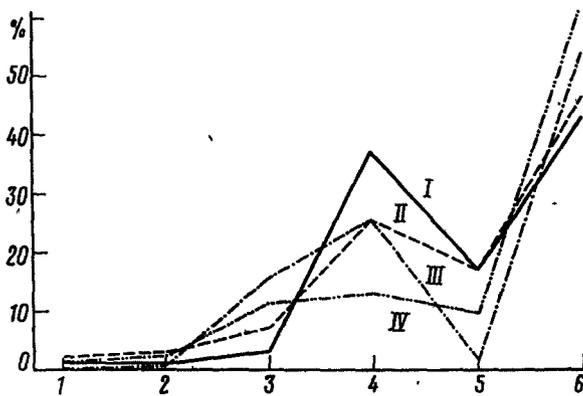


Рис. 1. Ритмическая структура вольного ямба у Грибоедова и его современников.

I — Грибоедов ("Горе от ума"); II — Крылов ("Басни", книги 1, 6, 7, 8, 9); III — Батюшков (лирика); IV — Шаховской ("Не любо — не слушай").

ный максимум 5-стопников (31,6%), а процент александрийских стихов сравнительно невелик (45,6%). 4-стопных ямбов у обоих меньше среднего (26,3% и 21,1%), однако у Чацкого их при этом втрое больше, чем 5-стопных, а у Фамусова — в полтора раза меньше. Кратких и сверхкратких стихов почти нет, но кое-какое различие можно заметить и здесь: у Чацкого находим один 3-стопный стих, у Фамусова — один 2-стопный.

Статистический анализ показывает, что речь каждого из трех персонажей имеет своеобразную ритмическую окраску, подчеркивающую его индивидуальность (ср. рис. 1). Хотя метрическая формула вольного ямба (6—4—5) остается неизменной у всех персонажей комедии (у Репетилова она обретает характерную двузначность: не то 6—4—5, не то 4—6—5; см. табл. 2), внутри общей схемы сталкиваются альтернативные ритмические варианты, непосредственно связанные со смысловым содержанием драматических образов<sup>1</sup>. Наибольшее число экстремумов (три) выделяет главного героя — у него максимум 6-стопных стихов и минимум 5- и 4-стопных; у Фамусова — два экстремума (максимум 5-стопных ямбов и минимум 6-стопных); у Репетилова — один (максимум 4-стопных ямбов). В целом стиховую структуру "Горя от ума" определяют две оппозиции (см. табл. 3): во-первых, легкость репетиловской болтовни "о матерях важных" (максимум 4-стопников) карикатурно противопоставлена тяжеловесности серьезных монологов Чацкого (минимум 4-стопников); во-вторых, идеологический спор Фамусова и Чацкого ведется средствами длинных стихов различной протяженности (минимум 5-стопных и максимум 6-стопных ямбов у Чацкого, максимум 5-стопных и минимум 6-стопных у Фамусова). Эти ритмические оппозиции, возможно, незаметные "на глаз" и даже не вполне осознанные самим автором, тем не менее играют важную роль в характеристике действующих лиц. Здесь

<sup>1</sup> Под непосредственной (неконвенциональной) связью стиха и смысла имеется в виду индивидуальное, органическое, единственное в своем роде соответствие конкретного ритмического рисунка конфликтной поэтической семантике [1, с. 74 и далее].

<sup>2</sup> Трудно все же не заметить, что именно скопление 4-стопников в речи Репетилова создает стихию неудержимого словесного потока, столь же стремительного, сколь и невесомого: Репетилов. <...> Сейчас... растолковать прошу, // Как будто знал, сюда спешу, // Хвать, об порог задел ногою, // И растянулся во весь рост. // Пожалуй смейся надо мною, // Что Репетилов врет, что Репетилов прост, // А у меня к тебе влеченье, род недуга, // Любовь какая-то и страсть, // Готов я душу прозаклясть, // Что в мире не найдешь себе такого друга, // Такого верного, ей-ей; // Пускай лишусь жены, детей // Оставлен буду целым светом, // Пускай умру на месте этом, // И разразит меня Господь... // Чацкий. Да полно вздор молоть (IV, 46—61).

Ритмико-характерологические оппозиции в стихе "Горя от ума" (по монологам)

Стопность	Фамусов	Чацкий	Репетилов
6	min	max	
5	max	min	
4		min	max

работает один из двух основных законов развития стиха — закон ритмизации (= семантизации) метра.

2. Однако ритмическая семантика оказывается, в свою очередь, во многом зависимой от семантики метра: индивидуализируя стих разных персонажей, Грибоедов, несомненно, учитывал нормативные значения, присущие "чистым" размерам в современной стиховой культуре<sup>3</sup>. Так, своеобразие репетиловского стиха было, как нам кажется, мотивировано употреблением "чистого" 4-стопного ямба, который в 1810-е годы осознавался уже не как размер торжественной "ораторской" оды, а как размер культивировавшейся карамзинистами "легкой поэзии", *poésie fugitive* [17, с. 57—58, 107] (ср.: "Четверостопные ямбические суть любимѣйшіе стихи нашихъ лириковъ, хотя, можетъ быть, и не самые для нихъ приличные" [18, с. 239]). В этой склонности персонажа к 4-иктным строкам легко просматривается параллель с пристрастием его к "легким" речевым и литературным жанрам [19, с. 36 и др.]<sup>4</sup>. Особенности "вольного размера" у "арханста" Чацкого были во многом подсказаны исторической смежностью александрійского стиха с высокими жанрами классической поэзии [17, с. 58—59] (ср.: "<...> сочинения мѣлкія, неважнаго содержанія, можно писать съ большею приятностію стихами вольными; но длинныя, возвышеннаго рода сочинения требуютъ почти всегда равностопныхъ, и именно стиховъ въ шесть стопъ" [18, с. 235]). И наконец, индивидуальные вариации метра у Фамусова были отчасти предопределены узусом 5-стопного ямба, в ту пору вообще не связанного с какой бы то ни было определенной традицией употребления [17, с. 115—116]; согласно М.Л. Гаспарову, в XVIII в. 5-стопники занимали 0,2% от общего количества ямбов (всего несколько случаев), в первое десятилетие XIX в. они практически не встречались и только с 1810-х годов постепенно входили в моду "стараниями Жуковского", "Вяземского, Пушкина и их современников", составляя приблизительно 4,0% всех ямбов [22, 23] (ср.: "Одними пятистопными ямбами у насъ почти никогда не пишутъ, а перемѣшиваютъ ихъ обыкновенно съ другими"; "Если бы мы допустили и здѣсь болѣе пресѣченій, то обогатили бы свое

<sup>3</sup> Здесь и далее речь идет об эстетической норме, которая, "хотя и обладает тенденцией к неограниченной силе действия, одновременно сама себя этой тенденцией ограничивает. Она не только может быть нарушена, но даже нетрудно представить — и на практике это весьма часто имеет место — параллельное существование двух или нескольких, конкурирующих между собой норм" [16].

<sup>4</sup> Может возникнуть вопрос, причем тут "говорной" стих "легкой поэзии", если 4-стопники "Горя от ума" имеют ритмический профиль, более свойственный "арханскому" XVIII в., нежели 20-м годам XIX: и в дирике Грибоедова, и в его комедии на первую стопу 4-стопного ямба ударения падают чаще, чем на вторую [20]. Но, во-первых, до середины 1810-х годов первый икт был сильнее второго не только в 4-стопном ямбе старших арханстов, но и в лирике Жуковского, Батюшкова, Вяземского, Дельвига и др. [21, табл. II], а во-вторых, ритм 4-стопных строк в монологах Репетилова существенно иной по сравнению с "Горем от ума": в целом: у Репетилова 4-й слог оказывается ударным чаще 2-го. Ритмический профиль свойственных этому персонажу 4-стопников качественно отличается от средних показателей по пьесе и имеет чрезвычайное сходство с профилем "Графа Нулина". Ударность первых трех иктов в "Горе от ума": 89,6% — 79,3% — 60,3%, в монологах Репетилова: 83,7% — 88,4% — 51,2%, в "Графе Нулине": 84,0% — 88,6% — 51,1%; по "Горю от ума" — данные М.П. Штокмара [12, с. 156] (ср. [10, с. 135]) с поправками В.С. Баяевского [20, с. 239], по поэме Пушкина — данные К.Ф. Гарановского [21, табл. III], по монологам Репетилова — наши собственные.

стихосложение пятистопными ямбами, которые нынѣ, по причинѣ своего уродливаго единообразія, употребляются, какъ мы сказали, только въ смѣшеніи съ другими" [18, с. 238, 239]). "Низкій" герой (*низкопаклонник и делец*) оказался отмечен стихом, не имеющим столько-нибудь выраженной функционально-семантической (= жанровой) окраски. Это вполне согласуется с тем высоким аксиологическим статусом, который получила у архаистов идея традиции, наследования, идеологической и языковой преемственности.

Даже сама метрическая форма "Горя от ума" — и та мотивирована извне (так сказать, "стилем эпохи" [24]). Вопреки тому, что утверждает С.А. Матяш (ср. [25, с. 124]), в четырех первых комедиях Шаховского, написанных вольными стихами, этот размер всякий раз выступал в разных своих вариантах: 6—4—3 ("Не любо — не слушай, а лгать не мешай", 1818), 6—5 ("Тетушка, или Она не так глупа", 1821), 6—5—3 ("Урок женатым", 1823), 6—5—4 ("Любопытная, или Догадки не попад", 1823) (удельный вес стихов разной длины — от 1-стопных до 7-стопных — в первой пьесе: 0,5% — 1,7% — 11,5% — 13,8% — 10,5% — 61,9% — 0,0%; во второй: 0,3% — 1,1% — 8,0% — 8,7% — 17,3% — 64,3% — 0,3%; в третьей: 0,0% — 0,8% — 10,9% — 10,1% — 15,8% — 62,5% — 0,0%; в четвертой: 0,1% — 1,8% — 8,5% — 16,6% — 16,3% — 56,1% — 0,5%<sup>5</sup>). Но несмотря на всю оригинальность Грибоедова, впервые (!) употребившего вольный ямб с формулой 6—4—5 не только в комедии, но и в драматургии вообще, появление у него этого размера было в "духе времени" и объясняется отчасти влиянием крыловской басни: на смену стиху с формулой 6—4—3 (конец XVIII — начало XIX в.) шел стих с формулой 6—4—5 — у Крылова, у Вяземского (эпиграммы), у Пушкина (элегии) и т.д. [11, с. 109—110; 12, с. 159; 17, с. 62—63, 108—109; 26; 27, с. 73]. Именно этот размер искал в своих пьесах Шаховской, но нашел его только Грибоедов. По своим ритмическим характеристикам вольный ямб "Горя от ума" наиболее близок как раз к басенному стиху Крылова, а по ряду важнейших параметров подходит к нему вплотную (ср. [28]).

Итак, ритмические модификации вольного ямба выразились в "Горе от ума" в метрически обусловленных отклонениях стиха каждого из трех ведущих персонажей в сторону какой-либо одной (предпочтительной) размерности: 6-, 5- или 4-стопной. При этом выяснилось, что стихи разной длины (и даже, в известном смысле, 5-стопники) "помнят" о своем родстве с соответствующими монометрическими структурами. Эта "память" сказалась и на ритмической форме стихов, и на их семантике, превратив вольный ямб грибоедовской комедии в своеобразную "микро-" или даже "сверхмикрполиметрическую" композицию (ср. [17, с. 216 и др.]). А поскольку "метр живет в сознании и подсознании поэта не только в виде закона", но и в форме определенной системы предпочтений и тенденций" [29], это значит, что на материале "Горя от ума" наряду с ритмизацией метра мы сталкиваемся и с обратным, едва ли не более мощным и глобальным процессом метризации (= семиотизации) ритма.

Здесь мы вплотную приближаемся к пониманию диалектики стиха. Метр, а точнее размер (вольный ямб), а еще точнее — разновидность размера (вольный ямб с формулой 6—4—5), последовательно ритмизуется, в том числе порождая и такие модификации, которые ставят под сомнение его субстанциальность: так, в монологах Репетилова устанавливается динамическое равновесие между 6-стопным и 4-стопными стихами. Но само обилие 4-стопников, придающее ритмическое своеобразие стиху этого персонажа, есть результат метрического влияния "со стороны": ритм метризуется, поскольку и его форма, и его семантика мотивированы размером *poésie fugitive*. Однако метризованный ритм, в свою очередь, вновь ритмизуется: у Репетилова 4-стопные ямбы имеют ритмичес-

<sup>5</sup> Результаты по "Любопытной" следует расценивать как приблизительные: пьеса не опубликована, а подсчеты произведены по неисправному списку, хранящемуся в Государственной театральной библиотеке (С.-Петербург).

## Стих и реплика в "Горе от ума"

Стопность	Реплики						По пьесе в целом
	не менее 60 стихов	не менее 50 стихов	не менее 40 стихов	не менее 30 стихов	не менее 20 стихов	не менее 10 стихов	
6	55,2	53,7	54,3	50,5	49,3	45,7	44,3
5	10,4	14,5	14,5	15,8	14,3	16,2	16,9
4	31,2	29,1	28,5	30,9	33,3	34,9	34,1
3	2,4	1,7	1,5	1,9	2,1	2,2	3,3
1+2	0,8	1,0	1,2	1,0	1,0	1,0	1,4

кий профиль, несвойственный пьесе в целом. Однако и он, опять-таки, обусловлен не чем другим, как метризацией двух основных разновидностей "чистого" 4-стопника: в отличие от "архаического" 4-иктного ямба, у которого первая стопа сильнее второй ( $IV > I > II > III$ ), у Репетилова вторая стопа сильнее первой ( $IV > II > I > III$ ) — так же, как у модных поэтов 1810—1820-х годов. В этой цепочке ритмизаций и метризаций нет ни первого, ни последнего звена: рано или поздно ритмы становятся метрами, стимулирующими поиск все новых и новых ритмов.

3. Метризации стиховых форм в большой мере способствует то, что можно было бы назвать исторической системностью их значений: формы с близкой или тождественной семантикой комбинируются между собой, тяготея друг к другу и образуя устойчивые (= нормативные) сочетания. В частности, в "Горе от ума" обнаруживается тяготение длинных стихов к длинным репликам, за которым нельзя не увидеть конвенциональную связь классического монолога с классическим александрийцем: обе формы имели высокую, в первую очередь трагическую, семантику. Как показали исследования Б.И. Ярхо, средняя длина реплики в трагедиях Корнеля была почти вдвое больше, чем в его комедиях (см. об этом [30, с. 510]). В отечественной драматургии XVIII — первой четверти XIX в. это различие между жанрами оказалось еще значительнее, нежели у французов: в трагедиях того времени реплики в среднем в 3,4 раза длиннее по сравнению с комедиями<sup>6</sup>. С другой стороны, длинный (6-стопный) ямб также был связан именно с трагедией: "Среди драматических жанров классицизма в русской литературе наименьшим распространением пользовался тот, который у французов считался вторым после трагедии по степени важности — большая комедия в стихах" [34]. Так, все 9 трагедий основоположника русского классицизма были написаны александрийским ямбом и все 12 его комедий — прозой [35, с. 33]. В целом же стихотворные пьесы составляли приблизительно всего одну десятую продукции русской Талии [36].

Чтобы установить корреляцию между близкими по значению формами, реплики "Горя от ума" были сгруппированы в зависимости от их длины: 1) не менее 60 стихов (2 реплики), 2) не менее 50 (2+3 реплики), 3) не менее 40 (2+3+1), 4) не менее 30 (2+3+1+3), 5) не менее 20 (2+3+1+3+7), 6) не менее 10 (2+3+1+3+7+30) и 7) по пьесе в целом (2+3+1+3+7+30+540=586 реплик; ср. данные В.А. Филиппова [9, с. 163 примеч. 23, с. 164 примеч. 28] и Г.О. Винокура [15, с. 197 примеч. 2\*]). Для каждой группы было определено процентное содержание стихов разной протяженности; сведениями о 7-й группе мы располагали ранее (см. табл. 1), они и послужили исходным материалом для сравнения (см. табл. 4).

<sup>6</sup> Эти данные, опубликованные лишь частично (ср. [31, с. 351, примеч. 3]), получены нами в ходе обследования 18 стихотворных драматических произведений Сумарокова, Ломоносова, В. Майкова, Я. Княжнина, Хераскова, Капниста, Озерова, Шаховского; рассматривались только 5-актные пьесы (ср. также наблюдения Л.И. Тимофеева над протяженностью реплик в классической и романтической трагедии [32, 33]).

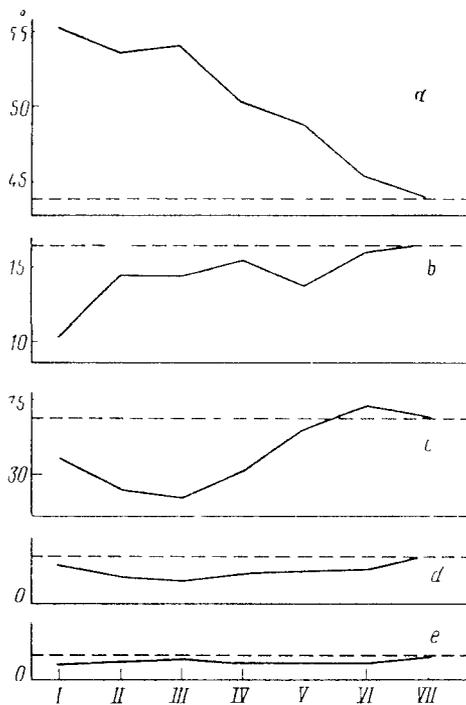


Рис. 2. Доля стихов: а—6-стопных, б—5-стопных, с—4-стопных, d—3-стопных, е—(1+2)-стопных — в репликах протяженностью: не менее 60 полных стихов (I), не менее 50 (II), не менее 40 (III), не менее 30 (IV), не менее 20 (V), не менее 10 (VI), любой длины (VII).

Для большей наглядности результаты представлены в виде графика (см. рис. 2). Он показывает, что расширение выборки за счет все более коротких реплик сопровождается неуклонным сокращением доли александрийских стихов в общем объеме, в то время как удельный вес других размеров растет. Показатели по 6-стопникам в длинных репликах оказываются неизменно выше среднего, а по другим стихам — ниже (исключение составляют 4-стопные строки, которые при включении в выборку реплик длиной от 10 до 19 стихов перекрывают среднюю цифру).

Очевидно, что связь монологических высказываний с александрийскими ямбами, тяготение их друг к другу в комедии Грибоедова имеет конвенциональную природу; характер этой связи не семантический (смысловой), а семиотический (знаковый) — она складывалась постепенно, в рамках определенной историко-литературной традиции. Таким образом, нормализующее воздействие поэтики классицизма на художественную систему "Горя от ума" отразилось даже на таких аспектах поэтической формы, кодовый характер которых нелегко предсказать заранее и выявить без помощи статистики.

4. Ни органическое единство поэтической семантики, ни ее историческую системность не следует абсолютизировать. "Единство литературного произведения — вероятно, миф" [37]. "Ни в одном произведении нет связи между всеми частями" [38] (ср. [39]). Сплошь и рядом семиотические потенции остаются неосуществленными; устойчивые корреляции между формами с близкой семантикой рвутся, открывая путь индивидуальному соотношению содержания и выражения.

Нарушение органического единства поэтических форм проявляется в их относительной независимости друг от друга. Хотя версификационные средства

Стих, слово и предложение в "Горе от ума" (по монологам)

	ср. длина стиха (в стопах)	ср. длина предложения (в стихах)	ср. длина предложения (в стопах)	ср. длина слова (в слогах)
Чацкий	5,18	2,61	13,51	1,87
Фамусов	5,03	2,09	10,51	1,83
Репетилов	4,86	2,82	13,69	1,86

и входят в систему изобразительных приемов "Горя от ума" (см. табл. 2), они обладают при этом известной автономностью по отношению к другим уровням поэтического языка, например к синтаксису. Так, было бы неправильно думать, что тяготение Чацкого к длинному стиху производно от длины (или сложности) его синтаксических конструкций. А priori можно предположить, что "книжные" предложения одного героя требуют для себя более длинных строчек, чем "разговорные" предложения другого, однако in actu такой зависимости нет. Несоответствие длины стиха и длины предложения, на первый взгляд, кажущееся случайным, неожиданно подтверждает фундаментальный принцип двойной сегментации текста [40] (ср. [31, с. 341—342]), в соответствии с которым основное формальное отличие поэзии от прозы заключается в постоянной возможности несовпадения ритмических и грамматических членений. (Как тут не вспомнить освященные авторитетом Гончарова досужие разговоры о якобы особой "прозаичности" драматического разноstopника; ср., впрочем, [41].)

Мы проверили, нет ли зависимости между длиной стиха и длиной предложения (см. табл. 5)<sup>7</sup>. Результат получился обратный: укорочение строки компенсируется удлинением предложения. Выяснилось, что, если взять за единицу измерения стих, у Чацкого фразы окажутся в среднем несколько короче, чем у его пародийного двойника. В частности, в первом монологе Репетилова всего два предложения (причем второе оборвано!), но они занимают целых 18 стихов, на две трети состоящих из 4-стопных ямбов (о многоречивости и самоповторениях этого героя см. [19]). Если измерять длину фразы не в стихах, а в стопах, различие между пока ателями становится совсем незначительным, хотя и тут Чацкий немного уступает Репетилову. Но, сближаясь друг с другом, они оба отчетливо противопоставляются Фамусову — его предложения приблизительно в 1,3 раза короче, чем у двух других персонажей. Следовательно, протяженность синтаксической единицы действительно служила Грибоедову для индивидуальной характеристики действующих лиц, но только взята непосредственно, а не в совокупности со средствами стихосложения.

Величина стиха не зависит также и от величины лексемы: у Чацкого, Фамусова и Репетилова слова имеют почти одинаковую длину, отличаясь в среднем лишь на сотые доли слога (см. табл. 5). "Литературная" лексика Чацкого (и Репетилова) в такой же степени ритмически иррелевантна, в какой и "бытовая" лексика Фамусова (ср., однако, поразительные по своей краткости реплики князя Тугоуховского, состоящие из одних междометий и не превышающие двух слогов [15, с. 199])<sup>8</sup>. По-видимому, здесь мы уже "переступаем границы

<sup>7</sup> Предложением считался отрезок текста между двумя точками. Многоточие, вопросительный и восклицательный знаки рассматривались как конец предложения, лишь когда за ними следовала прописная буква. В сомнительных случаях (там, где пунктуационный знак приходится на границу стиха) решение принималось по аналогии.

<sup>8</sup> О речевой индивидуализации грибоедовских персонажей писали В.Н. Куницкий, Н.К. Пиксанов, П.В. Шаблиовский, В.В. Литвинов, Г.О. Винокур, В.А. Филиппов, А.С. Орлов, В.Н. Орлов, М.Е. Шнейерсон, В.Д. Кучинский, О.Е. Шелепина, Л.И. Еремина, И.Б. Качинская (литературу вопроса см. [31, с. 356 примеч. 63, ср. с. 357 примеч. 67]).

замысла": в "Горе от ума" протяженность слова, будучи в эстетическом отношении категорией почти случайной, "выходит за рамки преднамеренности" — как семиотической, так и семантической, как сознательной, так и бессознательной [42]<sup>9</sup>.

5. Наряду с нарушением единства поэтических форм мы отмечаем и нарушение их системности. Это бывает, когда близкие по значению формы оказываются безразличными по отношению друг к другу. Так, в комедии Грибоедова употребление парной — стилистически "высокой" — рифмовки, связанной исторически с традицией александрийского ямба и классического монолога (ср. [44]), не зависит ни от длинных ("высоких") стихов, ни от длинных ("высоких") реплик; не тяготеет оно и к высказываниям "высокого" героя — Чацкого. Из 465 двустиший "Горя от ума" (ср. [9, с. 155; 13, с. 180]) на идущие один за другим 6-стопники приходится 22,6% (105 пар). А по подсчетам С.А. Матяш [27, с. 76] (которым, правда, нельзя доверять вполне [31, с. 355 примеч. 51]), сочетания двух александрийских стихов подряд составляют 22,7% всех случаев. Иными словами, на 22,7% текста приходится такая же доля парных рифм — 22,6%. Комбинацию форм, между которыми нет ни тяготения, ни отталкивания, нужно признать семиотически иррелевантной, и это вопреки тому, что в XVIII в. "стих парной рифмовки на 87%" состоял «из шестистопного ямба, вобрав в себя больше половины (63%) всего "наличного состава"» 6-стопников [45, с. 145].

По отношению к пространным репликам (не менее 20 полных стихов) и к монологам главного героя двустишия обнаруживают скорее даже не безразличие, а отталкивание: в длинных высказываниях парные рифмы занимают 33,4%, тогда как во всей пьесе — 41,9%. При этом между персонажами они распределяются неравномерно: у Чацкого их меньше среднего (24,8%), у Фамусова — больше среднего (44,6%), у Репетилова — столько же, сколько в среднем (41,6%) (ср. [9, с. 161])<sup>10</sup>. Эти цифры можно интерпретировать двояким образом: либо как индивидуальную (неметрическую) характеристику персонажей, действующую *hic et nunc* вопреки традиционному значению формы (ср. [9, с. 158—162]), либо как реализацию иных метрических потенций, заключенных в генетической связи двустиший с раешником интермедий и интерлюдий начала XVIII в. [47, с. 187 примеч. 24]. Конечно, комическая окраска парной рифмовки действительно могла бы объяснить, почему в монологах Фамусова и Репетилова эта форма встречается много чаще, чем у Чацкого. Но в таком случае в контексте "Горя от ума" одна и та же стиховая форма оказалась бы двужанровой, актуально связанной и с трагическим жанром элитарной литературы, и с комическими жанрами народной словесности [48, с. 16—17] (по данным Б.И. Ярхо, в интермедиях — 98% двустиший, в интерлюдиях — 100% [49])<sup>11</sup>.

За отсутствием прогнозируемой (нормативной) корреляции между традиционными формами скрываются три различных возможности: знаковая (связь

<sup>9</sup> Теоретически невозможной считал такую ситуацию М.М. Бахтин: "<...> в искусстве значение совершенно неотделимо от всех деталей воплощающего его материального тела". "Художественное произведение значимо все сплошь" [43].

<sup>10</sup> Показательно, что из шести случайно подобранных примеров, призванных иллюстрировать афористическую емкость грибоедовских двустиший, три (!) принадлежат Фамусову и только по одному — Молчалину, Лизе и Чацкому (см. [46]).

<sup>11</sup> Интересно, что изобразительную роль двустиший в свое время почувствовал М.С. Щепкин — и использовал их как средство индивидуальной характеристики своего персонажа (Фамусова). Подчеркивая *enjambement*'ами все парные рифмы, в прочих местах актер жертвовал ритмическими паузами в пользу синтаксических. По воспоминаниям Л.И. Поливанова, "там, гдѣ риторическій періодъ расходитсѣ съ просодическимъ", "Щепкинъ отдавалсѣ потоку періода риторическаго, едва отмѣчая грани просодическаго. Гдѣ же самъ авторъ, подобно французамъ-классикамъ, видимо рассчитывалъ на эффектъ дистиха — и Щепкинъ выдвигалъ этотъ эффектъ", выделяя двустишия "съ обѣихъ сторонъ значительными паузами" [50, с. CLV, ср. с. CLI—CLII; 51].

формы с другой традицией), смысловая (нетрадиционная связь формы и содержания) и асемантическая (содержательная иррелевантность формы). "Нельзя обращать внимание только на тенденцию к объединению отдельных элементов произведения в общем значении; нужно видеть и противоположную тенденцию, ведущую к нарушению смыслового единства произведения" [42, с. 192].

6. Если не любой элемент поэтической формы значим, то любой может таковым стать (ср. [52, 53]). Если некоторое значение формы не проявилось в одном контексте, оно может дать себя знать в другом. В самом деле, в комбинации с александрийскими стихами, длинными репликами и монологами главного героя парная рифмовка либо иррелевантна, либо реализует свое комическое значение. И совсем по-другому она проявляет себя, когда выступает в качестве критерия жанровой дифференциации: доля двустушии растет пропорционально "возвышенности" драматического жанра.

В русской литературе XVIII в. парная рифма была обязательным атрибутом трагедии (почти 100% случаев). Исключения составляли некоторые пьесы несумароковской школы: так, "Тамира и Селим" М.В. Ломоносова (1750) имела парную рифмовку, а его "Демофонт" (1751) — перекрестную: вольному стиху "Титова милосердия" (Я. Княжнин, 1778) соответствовал вольный характер рифмовки; белым стихом была написана преромантическая трагедия Нарезного "Кровавая ночь, или Конечное падение дому Кадмова" (1799) (ср. [54]). На другие драматические жанры это пристрастие к двустушиям не распространялось: стихотворные комедии, мелодрамы, куплеты комических опер — наряду с прочими строфическими формами — могли иметь вольную рифмовку. Такое соотношение сохранялось и в начале XIX в.: строгие двустушии трагического стиха часто контрастировали со строфическим разнообразием стиха комического.

Условно принимая показатель парных рифм в классицистической трагедии за приближающийся к 100%, мы сравнили долю двустушии в других жанрах — комедии, мелодраме, музыкальной трагедии, опере, духовной драме (см. табл. 6) — с данными по "Горю от ума" (см. табл. 7)<sup>12</sup>. Для обследования были выбраны следующие произведения: у Сумарокова — "Цефал и Прокрис" (1755), "Альпеста" (1757), "Пустынник" (1757), "Новые лавры" (1759), у Я. Княжнина — "Орфей" (1769), "Титово милосердие" (1778), "Чудаки" (1790), у А. Княжнина — "Андромеда и Персей" (1802), у Державина — "Добрыня" (1804) и "Грозный, или Покорение Казани" (1814), у Шаховского — "Урок кокеткам, или Липецкие воды" (1815), "Пустодомы" (1818), "Не любо — не слушай, а лгать не мешай" (1818), "Какаду, или Следствие Урока кокеткам" (1819). "Тетушка, или Она не так глупа" (1821), "Урок женатым" (1823), "Любопытная, или Догадки невпопад" (1823), у Хмельницкого — "Арзамасские гуси" (1825?), у Катенина — "Вражда и любовь" (1827). Лишь малая часть этих произведений написана александрийским ямбом ("Чудаки" Княжнина и некоторые комедии Шаховского): в драматических жанрах вольная рифмовка, как правило, сопутствует вольному стиху<sup>13</sup>. В операх Сумарокова и Державина наряду с разностопным ямбом встречаются инометрические вставки (в ариях): это вольный, 3-стопный и 4-стопный хорей, хорей с чередованием 3- и 4-стопных строк, 3- и 4-стопный ямб, 3-стопный дактиль, 2-стопный амфибрахий и т.д. У Сумарокова в опере "Цефал и Прокрис" есть даже белый силлабический 12-сложник с разноударными клаузулами и цезурой после 6-го слога.

Результаты исследования позволили объединить произведения в несколько групп. Наименьшее число двустушии (от 18,9% до 32,7%) оказалось в комедиях: 18,9% ("Вражда и любовь"), 20,4% ("Любопытная"), 25,1% ("Тетушка"), 25,3%

<sup>12</sup> Комедии, написанные александрийским стихом со сплошными парными рифмами, разумеется, не рассматривались.

<sup>13</sup> "В стихе вольной рифмовки львиную долю — 80% — занимает вольный ямб" [45, с. 146].

Соотношение строфоидов в русской драматургии второй половины XVIII — первой трети XIX в.

	аа	АА	аВаВ	АбАб	аВВа	АbbА	прочие	кол-во стихов
"Цефал и Прокрис", 1755	26,4	26,0	2,7	10,7	10,0	13,4	10,9	599
"Альцеста", 1757	25,1	29,1	3,9	14,1	8,6	5,5	13,6	509
"Пустынный", 1757	45,0	44,1	1,0	—	1,9	—	8,0	413
"Новые лавры", 1759	23,2	26,8	9,8	12,2	12,2	9,8	6,1	164
"Орфей", 1769	17,3	20,4	4,1	12,2	12,2	10,2	23,5	196
"Титово милосердие", 1778	22,0	21,5	9,7	12,1	9,4	12,9	12,3	1524
"Чудаки", 1790	17,6	15,1	11,6	13,5	8,9	12,6	20,6	2341
"Андромеда и Персей", 1802	11,4	14,1	8,1	28,2	16,1	12,1	10,1	298
"Добрыня", 1804	15,9	17,7	6,7	28,6	5,4	3,6	22,1	1550
"Грозный", 1814	24,0	22,0	7,1	24,6	4,5	4,8	13,0	1073
"Липецкие воды", 1815	14,7	12,8	18,5	19,3	14,1	18,7	1,7	2008
"Пустодомы", 1818	17,2	13,2	17,4	18,8	12,8	19,3	1,3	1723
"Не люблю — не слушай" 1818	15,4	10,9	15,8	18,2	14,2	23,5	2,0	988
"Какаду", 1818	15,7	14,9	16,9	15,7	15,7	18,5	2,5	712
"Тетушка", 1821	13,1	12,0	18,4	16,3	14,6	17,1	8,4	933
"Урок женатым", 1823	13,6	11,7	16,3	29,6	10,9	15,6	2,3	514
"Любопытная", 1823	13,7	6,7	16,1	16,9	9,6	26,1	11,0	921
"Арзамасские гуси", 1825	15,3	16,2	21,6	7,2	7,2	7,2	25,2	222
"Вражда и любовь", 1827	9,8	9,0	8,2	11,5	13,1	13,1	35,2	244

Таблица 7

Соотношение строфоидов в "Горе от ума"

	Действие				Всего	
	I	II	III	IV	кол-во	%
аа	69	60	73	50	252	22,7
АА	59	56	60	38	213	19,2
аВаВ	21	35	34	28	118	21,3
АбАб	14	24	22	19	79	14,2
аВВа	6	6	8	12	32	5,8
АbbА	14	13	24	24	75	13,5
ааа	—	—	1	—	1	} 3,4
ааВВа	—	1	—	—	1	
аВааВ	—	—	1	1	2	
аВаВа	—	1	1	—	2	
АбАбА	1	—	—	—	1	
АбАbb	—	—	—	1	1	
АbbАА	1	—	—	1	2	
аВаВаВ	—	1	—	—	1	
аВаВссВ	—	—	1	—	1	
аВВаСаС	—	1	—	1	2	

("Урок женатым"), 26,3% ("Не люблю — не слушай"), 27,6% ("Липецкие воды"), 30,4% ("Пустодомы"), 30,6% ("Какаду"), 31,5% ("Арзамасские гуси"), 32,7% ("Чудаки"). Следующую группу образовали музыкальные драмы, в которых содержание парных рифм колеблется в пределах от 25,5% до 37,8%: "Андромеда и Персей" ("мело-драмма") — 25,5%, "Добрыня" ("театральное представление с музыкою") — 33,5% и "Орфей" ("мело-драмма") — 37,8%. Особняком стоит музыкальная трагедия "Титово милосердие" — 43,6%. Еще больше доля двустий в вольной рифмовке опер: "Грозный" — 46,0%, "Цефал и Прокрис" — 52,5%, "Альцеста" — 54,2% (ср. [48, с. 9]). Сюда же — 50,0% двустий — попадает и "драмма" "Новые лавры" (это Пролог к балету, представленный "при торжественном Тезоименитства Ея Императорскаго Величества по преславной побѣдѣ одержанной

Россійскимъ войскомъ 1759 года Августа въ 1 день при Франкфуртъ”). И уже совсем близко к максимуму — 89,1% — подходит духовная “драмма” “Пустынник”, “сюжетно представляющая разработку первой части легенды об Алексее человеке божием” [35, с. 98]<sup>14</sup>. В этот ряд замечательным образом вписывается “Горе от ума”, соединяющее в себе традиционные черты комических и трагических пьес: здесь 41,9% двустушии — меньше, чем в музыкальной трагедии, в операх и духовной драме, но больше, чем в комедиях и мелодрамах.

Действие этого закона (как и любого другого, установленного эмпирическим путем) ограничено — в нашем случае, он приблизительно верен с 1750-х по 1820-е годы. Его результаты корректируются со стороны более широкого процесса сокращения доли двустушии в драматическом стихе: например, показатели по опере падают с 54,2% у Сумарокова (1757) до 46,0% у Державина (1814), по комедии — с 32,7% у Княжнина (1790) до 18,9% у Катенина (1827). За пределами указанного хронологического промежутка (его можно называть “классическим”) находятся произведения, в которых доля дистихов в жанровом отношении иррелевантна. С этой точки зрения почти сплошные двустушия досумароковской драматургии мало чем отличаются от относительно редких двустушии романтической драмы: так, в лермонтовском “Маскараде” (1835) парная рифмовка занимает только 17,4% (ср. отличные от наших цифры С.А. Матяш [47, с. 186]).

Полученные результаты еще раз подтверждают значение методов “точного литературоведения” (Б.И. Ярхо) в определении жанровой специфики — в особенности это касается произведений, сочетающих в себе разнородные признаки (см. [30, с. 511]). Удельный вес парной рифмовки оказался в прямой зависимости от “высоты” драматического жанра: по числу двустушии трагикомедия Грибоедова уступает трагедии, но превосходит комедию. Это прекрасно согласуется с историко-литературными выводами о жанровой синтетичности “Горя от ума”, в котором “комичность является средством трагического, а комедия — видом трагедии” [55]. С другой стороны, жанровая двузначность служит своего рода оправданием двузначности стиховой формы: парная рифмовка соединяет в себе оба нормативных (традиционных) значения — трагическое и комическое — внутри одного трагикомического произведения. “Горе от ума” учитывает и использует самые разные, порой противоположные коннотации поэтической формы и является их диалектическим отрицанием. Оно снимает противоречия между “тезисом” и “антитезисом”, реализуя и до предела исчерпывая их семантические потенции.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шатр М.И. *Metrum et rhythmus sub specie semioticae* // Даугава. 1990. № 10.
2. Печников Е.Д. Общий фонетический принцип всякой поэтической техники // ВЯ. 1963. № 1. С. 99.
3. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: “за” и “против”. М., 1975. С. 204—225.
4. Тарановский К. Основные задачи статистического изучения славянского стиха // *Poetics. Poetyka. Poetika*. V. II. Warszawa, 1966. P. 185—186 n. 10.
5. Гарлинская М. Ритмическая дифференциация персонажей драм Шекспира // Шекспировские чтения 1978 М., 1981. С. 300 и др.

<sup>14</sup> Нельзя не отметить, что господство двустушии в рифмической организации “Пустынника” (89,1%) согласуется с местом 6-стопников в его ритмической структуре — 81,0%; ср. соответствующие цифры по сумароковским операм и прологу (сначала указывается доля парных рифм, затем — доля 6-стопников): “Цефал и Прокрис” — 52,5% и 46,9%, “Альеста” — 54,2% и 55,6%, “Новые лавры” — 50,0% и 44,8% (сведения о ритмике взяты из работ С.А. Матяш [27, с. 73; 25 с. 122]).

6. *Tarlinskaja M.* Shakespeare's verse: Iambic pentameter and the poet's idiosyncrasies. New York; Bern; Frankfurt am Main; Paris, 1987. P. 25—28, 135, 152—176.
7. *Гаспаров М.Л.* // ИАН СЛЯ. 1990. № 1. С. 82. Рец. на кн.: *Tarlinskaja M.* Shakespeare's verse: Iambic pentameter and the poet's idiosyncrasies. New York; Bern; Frankfurt am Main; Paris, 1987.
8. *Руднев П.А.* О стихе драмы А. Блока "Роза и крест" // Уч. зап. Тарт. ун-та. 1970. Вып. 251.
9. *Филиппов В.* Проблемы стиха в "Горе от ума": Материал для сценических характеристик // Искусство. 1925. № 2.
10. *Шувалов С.* О стихе комедии "Горе от ума": (К социологии ритмики комедии) // А.С. Грибоедов. М., 1929.
11. *Тимофеев Л.И.* Вольный стих XVIII века // *Ars poetica*. Вып. II: Стих и проза. М., 1928.
12. *Штокмар М.П.* Вольный стих XIX века // *Ars poetica*. Вып. II: Стих и проза. М., 1928.
13. *Томашевский Б.В.* Стих "Горя от ума" // *Томашевский Б.В. Стих и язык: Филологические очерки*. М.; Л., 1959.
14. *Винокур Г.* Критика поэтического текста. М., 1927. С. 73.
15. *Винокур Г.О.* "Горе от ума" как памятник русской художественной речи // *Винокур Г.О. Филологические исследования: Лингвистика и поэтика*. М., 1990.
16. *Мукаряжовский Я.* Эстетическая функция, норма и ценность как социальные факты // Уч. зап. Тарт. ун-та. 1975. Вып. 365. С. 257.
17. *Гаспаров М.Л.* Очерк истории русского стиха: Метрика; Ритмика; Рифма; Строфика. М., 1984.
18. *Самсонов Д.* Краткое рассуждение о Русском стихосложении // *Вестн. Европы*. 1817. Ч. XCIV. № 15/16.
19. *Качинская И.Б.* Язык и образ: о речевой маске Репетилова // *Quinquagenario Alexandri Pušini oblata*. М., 1990.
20. *Биевский В.С.* Стих "Горя от ума" в сравнении со стихом "Евгения Онегина" // А.С. Грибоедов: Материалы к биографии. Л., 1989.
21. *Тарановски К.* Руски дводелни ритмови. Београд, 1953. [Къ.] I/II.
22. *Гаспаров М.Л.* Современный русский стих: Метрика и ритмика. М., 1974. С. 54, 56—57.
23. *Томашевский Б.* Пятистопный ямб Пушкина // *Томашевский Б. О стихе*. Л., 1929. С. 149—152.
24. *Илюшин А.А.* О метрике силлаботонического стиха // *Советское славяноведение*. 1986. № 5. С. 54.
25. *Матяш С.А.* Русский драматический вольный стих XVIII—XIX вв. в сравнении с французским и немецким и проблема типологии драматического вольного стиха // Уч. зап. Тарт. ун-та. 1985. Вып. 709.
26. *Матяш С.А.* Русский и немецкий вольный ямб XVIII — начала XIX века и вольные ямбы Жуковского // *Исследования по теории стиха*. Л., 1978. С. 92, 102—103.
27. *Матяш С.А.* О сочетаниях смежных стихов в вольных ямбах // *Проблемы теории стиха*. Л., 1984.
28. *Маймин Е.А.* Русский вольный ямб и стих "Горя от ума" // А.С. Грибоедов: Творчество; Биография; Традиции. Л., 1977.
29. *Колмогоров А.Н.* Пример изучения метра и его ритмических вариантов // *Теория стиха*. Л., 1968. С. 151.
30. *Гаспаров М.Л.* Работы Б.И. Ярхо по теории литературы // Уч. зап. Тарт. ун-та. 1969. Вып. 236.
31. *Шапир М.И.* Комментарии // *Винокур Г.О. Филологические исследования: Лингвистика и поэтика*. М., 1990.
32. *Тимофеев Л.* Теория стиха. М., 1939. С. 197—201.
33. *Тимофеев Л.И.* Очерки теории и истории русского стиха. М., 1958. С. 356—358.
34. *Гуковский Г.А.* Русская литература XVIII века. М., 1939. С. 369.
35. *Берков П.Н.* Александр Петрович Сумароков. 1717—1777. Л.; М., 1949.
36. *Борисов Ю.Н.* "Горе от ума" и русская стихотворная комедия: (У истоков жанра). Саратов, 1978. С. 15.
37. *Шкловский В.* Орнаментальная проза: Андрей Белый // *Шкловский В. О теории прозы*. М., 1929. С. 215.
38. *Ярхо Б.И.* Методология точного литературоведения: набросок плана // ЦГАЛИ. Ф. 2186 (Б.И. и Г.И. Ярхо). Оп. 1. Ед. хр. 41. Л. 257.
39. *Ярхо Б.И.* Простейшие основания формального анализа // *Ars poetica*. Вып. I. М., 1927. С. 26—27.
40. *Бухштаб Б.Я.* Об основах и типах русского стиха // *Intern. j. Slav. ling. and poetics*. 1973. V. XVI. P. 110—111.
41. *Матяш С.А.* Метр, синтаксис и рифма в композиции вольного стиха // *Вестн. Ленингр. ун-та. История; Язык; Литература*. 1984. № 8. Вып. 2. С. 50 и др.
42. *Мукаряжовский Я.* Преднамеренное и непреднамеренное в искусстве // *Структурализм: "за" и "против"*. М., 1975.
43. *Медведев П.Н.*, [*Бахтин М.М.*] Формальный метод в литературоведении: Критическое введение в социологическую поэтику. Л., 1928. С. 22.
44. *Голенищев-Кутузов И.Н.* Александрийский ямб в России и на Западе // *Голенищев-Кутузов И.Н. Славянские литературы*. М., 1973. С. 375.

45. Вишневский К.Д. Русская метрика XVIII века // Уч. зап. Пенз. пед. ин-та. Сер. филол. 1972. Т. 123.
46. Орлов В. Грибоедов: Очерк жизни и творчества. М., 1954. С. 193.
47. Матяш С.А. Басенный и драматический вольный ямб: (К проблеме генезиса стиха комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума") // Русск. лит.-ра. 1984. № 1.
48. Матяш С.А. Вольное рифмование русского вольного стиха // Исследования по истории и семантике стиха. Караганда, 1989.
49. Ярхо Б.И. Рифмованная проза русских интермедий и ингерлюдий // Теория стиха. Л., 1968. С. 244, 265.
50. Поливанов Л. Русский александрийский стих // Расин Ж. Гофолия. М., 1892.
51. Филиппов В. Пять Фамусовых // Сто лет Малому театру. 1824—1924. М., [1924]. С. 68—69.
52. Якобсон Р. Поэзия грамматики и грамматика поэзии // Семиотика. М., 1983. С. 469.
53. Шапир М.И. Язык быта / языки духовной культуры // Rling. 1990. V. 14. № 2. P. 138—139.
54. Вишневский К.Д. К вопросу об использовании количественных методов в стиховедении // Контекст 1976: Лит.-теорет. исследования. М., 1977. С. 147.
55. Тынянов Ю.Н. Сюжет "Горя от ума" // Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. М., 1968. С. 367.

© 1992 г. ЛИ ТОАН ТХАНГ

**"ФОРМА", "РАЗМЕР" И "РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА"  
В ПОЗНАНИИ И В ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ  
ВЬЕТНАМСКОГО ЯЗЫКА)**

**1. Постановка вопроса.** При изучении восприятия человеком пространства и пространственного представления недостаточное внимание уделяется исследованию существительных: обычно рассматриваются только пространственные глаголы (движения), прилагательные (размера) и предлоги (локативы). Целью нашей работы является как раз изучение существительных, которые описывают пространственные характеристики объектов окружающего нас мира. В частности, будет рассмотрен особый подкласс существительных — так называемые классификаторы и некоторые другие "счетные" слова во вьетнамском языке.

Классификаторы в разных языках обычно изучаются с точки зрения их грамматических особенностей, однако при этом недостаточно исследуются семантические основания их группировки, весьма тонкие, сложные и нестабильные даже для носителей данного языка. В связи с этим мы будем стремиться выявить, как во вьетнамском языке посредством классификаторов описывается форма, размер и расположение объекта, обозначаемого стоящим после них именем. При этом на основе языковых фактов мы попытаемся также доказать, что существует какой-то, по крайней мере в некоторых чертах специфический, способ членения, концептуализации, категоризации, классификации и описания мира у вьетнамцев.

**2. Грамматическая и семантическая справка о классификаторах вьетнамского языка.** Для удобства читателя, не являющегося специалистом по вьетнамскому языку, мы кратко охарактеризуем основные грамматические и семантические особенности его классификаторов (см. также [1—6]).

**2.1. Наличие классификаторов (их приблизительно 40) как особого подкласса существительных** является одной из особенностей вьетнамского языка. Основная функция классификаторов (сокр. — клф) заключается в выражении единичности предмета, обозначаемого стоящим после них существительным. Отсюда — их способность сочетаться с числительным при счете. Например, когда мы говорим по-вьетнамски *con gà* (букв. "клф курица") "курица", мы всегда воспринимаем курицу как нечто единичное, выделяя ее из класса ей подобных<sup>1</sup>. Неслучайно, что название повести Н. Гоголя "Нос" было переведено на вьетнамский язык как "*Cái mũi*" (букв. "клф нос"), а рассказа А. Чехова "Дама с собачкой" — как "*Ngũ'đi đàn bà có con chó nhỏ*" (букв. "клф женщина иметь клф собачка маленькая").

Второй, неглавной, функцией классификаторов является то, что они участвуют в делении объектов действительности на разные типы (например, человек, животные, неодушевленные предметы и пр.) и описании пространственных характеристик названного именем предмета. Например, клф *lá* со значением "лист (дереза)" в

<sup>1</sup> При отсутствии клф *con* слово *gà* в зависимости от контекста может обозначать как некоторый класс предметов, так и конкретного представителя данного класса. Ср., например *Nó nuôi gà* "Он разводит кур" и *Gà đàu roi?* "Где курица?". В последнем случае речь идет о конкретной курице.

словосочетании *lá thư* (букв. "клф письмо") "письмо" дает представление о том, что данное письмо воспринимается как плоский предмет в двухмерном измерении. Следует подчеркнуть, что в этом случае мы имеем дело с описанием не некоторого класса предметов, а только его конкретного представителя<sup>2</sup>: речь идет лишь об одном письме с его (описываемой классификатором) "картиной". Можно также заметить, что такого рода описание предмета в его единичности носит эксплицитный характер. В русском языке, например, признак "шарообразность" входит лишь в свернутом виде в значение имени *мяч* [8]. Во вьетнамском же языке этот признак получает эксплицитное выражение при помощи клф *quả* "плод": *quả bóng* (букв. "клф мяч") "мяч".

Именно на основе второй функции классификаторов мы можем сказать о том, что они характеризуют, классифицируют или описывают предметы по определенным признакам.

2.2. При учете их разных функций можно разделить классификаторы на две группы: нумеральные (т.е. неописательные) и дескриптивные (описательные) классификаторы. Ср.: *cái tranh* (букв. "клф картина") "картина" — в этом случае нумеральный клф *cái* лишь выделяет данную картину из ей подобных; *bút* *c tranh* (букв. "клф картина") "картина" — в этом случае дескриптивный клф *bút* выделяет картину и одновременно описывает ее как плоский предмет.

Употребление нумеральных классификаторов строго определяется прежде всего значением имени объекта. Ср., например: *con* употребляется для животных<sup>3</sup> — *con bò* (букв. "клф корова") "корова"; *cái* употребляется для предметов — *cái ghế* (букв. "клф стул") "стул"; *đồng* употребляется для молодых людей — *đồng bạn* (букв. "клф друг") "друг".

Использование дескриптивных классификаторов, наоборот, не имеет такого жесткого характера: оно во многих случаях варьируется в зависимости от самых разнообразных факторов (об этом пойдет речь ниже).

Дескриптивные классификаторы употребляются, как правило, только с существительными, обозначающими неодушевленные предметы. При этом не все неодушевленные предметы, а лишь немногие из них отбираются говорящим на основании их пространственных свойств. Так, например, почти все предметы домашнего обихода, такие, как кровать, корзина, стакан, рубашка и пр., не описываются дескриптивными классификаторами, а лишь нумеральными, за исключением нескольких случаев: *ngọn đèn* "керосиновая лампа" — клф *ngọn* дает представление о лампе в форме верхушки дерева; *con dao* "нож" — клф *con* (для животных) указывает на существование такого признака формы или действия ножа, который позволяет воспринимать нож как одушевленный предмет. Ср.: *con sông* (букв. "клф река") "река", *con thuyền* (букв. "клф лодка") "лодка"; здесь употребление *con* связано с наличием аналогичных ассоциаций.

Каждый из дескриптивных классификаторов обычно употребляется с классом, состоящим из небольшого количества предметов (в среднем от 5 до 7). Например, клф *id'* может употребляться для таких предметов, как газета, картина, фотография, календарь (в форме листа), карточка и т.д. В нашей работе рассматриваются только дескриптивные классификаторы.

3. Деление классификаторами предметов по их пространственным характеристикам.

3.1. Общие замечания. На основе пространственных характеристик, выражаемых классификаторами, мы можем разделить предметы окружающего нас мира на три группы:

<sup>2</sup> Подобно этому в английском языке прилагательное *tall* в отличие от *high* употребляется в некоторых случаях только для описания конкретного представителя целого класса; см. [7].

<sup>3</sup> Более точно следовало бы сказать: "классификатор, употребляющийся со словами, обозначающими животных". Однако здесь и далее в аналогичных случаях мы будем использовать сокращенное описание, например: "классификатор для животных".

а) группа трехмерных объектов (т.е. объемных предметов); например, клф *quít* употребляется со словами, обозначающими такие объемные предметы, как сердце, почки, яйцо, граната, бомба и др.;

б) группа двухмерных объектов (т.е. плоских предметов); например, клф *iát* употребляется со словами, обозначающими такие плоские предметы, как ковер, занавес, штора, ширма, створка (двери) и др.;

в) группа одномерных объектов (т.е. линейных предметов); например, клф *sáu* употребляется со словами, обозначающими такие линейные предметы, как столб, ружье, копьё, свеча и др.

В нашей классификации мы используем критерий "измерение" (а не "форма") по двум соображениям. Во-первых, как мы увидим дальше, классификаторы описывают не только форму, но и размер, а также положение предметов в пространстве. Во-вторых, с точки зрения теории восприятия пространства и пространственного представления (см. [9—10]) объекты внешнего мира концептуализуются преимущественно их пространственными свойствами с помощью разных геометрических и топологических схем или карт. В пользу этого свидетельствуют многочисленные факты употребления пространственных предлогов, прилагательных и глаголов. Имеются даже такие пространственные представления, для которых не существует коррелятов в физическом мире. Например, во фразе *the bird in the tree* предлог *in* предполагает, что дерево воспринимается англичанами как закрытый контур, в границах которого сидит птица [11, с. 152].

**3.2. Понятие "выделенность" (saliency).** Сделаем несколько уточнений перед тем, как представить полный список дескриптивных классификаторов. Целесообразность употребления психологического термина "выделенность" становится очевидной при описании использования различных классификаторов или одного и того же классификатора. Дело в том, что восприятие человеком пространственных объектов носит относительный характер и во многих случаях классификация и концептуализация зависят от "выделенности" какого-нибудь свойства на фоне остальных. Начну с наиболее известных фактов. Например, на выбор объекта в качестве локализуемого субъекта или ориентира влияет "выделенность" такого его свойства, как "способность движения". Ср. два предложения английского языка: *The bike is near the house*; *\*The house is near the bike*. Второе из них — ненормативно, так как велосипед "выделенно" считается более подвижным по сравнению с домом; иными словами, место дома "выделено" как более постоянное, чем велосипеда [12, с. 231]. Такова же ненормативность фразы *\*the bottle under the cup* [11, с. 85]. "Выделенность" поперечного размера в выборе пространственных прилагательных типа *широкий* и *длинный* (ср. *широкий дом* и *длинный дом*) хорошо описана в работе А.Н. Журина [13].

Особенно легко наблюдать признак "выделенность" при восприятии человеком пространственных свойств объекта при сопоставлении разных языков. Например, русские, англичане, вьетнамцы и французы одинаково воспринимают дорогу как плоскость: *на дороге, on the road, sur la route, trên đườ'ng*. Однако представители языка тай-нунг на севере Вьетнама воспринимают ее как огороженное с двух сторон пространство и говорят *chang tang* (букв. "внутри дороги"); ср. *chang slu'o'n* "в доме, внутри дома" [14]. Уместно было бы здесь напомнить о дискуссии Д.С. Беннета [15, с. 71] с Дж. Личем по поводу того, что, по мнению Беннета, дорога во фразе *on the road* воспринимается как плоскость, а не как линия в понимании Лича [16].

Вернемся к нашим дескриптивным классификаторам. Например, предметы типа меча и сабли являются длинными предметами, как и ружье, копьё, пика. Однако в отличие от последних они "выделенно" рассматриваются в качестве плоских предметов с небольшой толщиной и незначительной шириной, поэтому для меча и сабли употребляется клф *thanh*, который по значению ассоциируется с его омонимом — прилагательным *thanh* "тонкий" (о фигуре или частях тела человека). А для ружья, копья, пика употребляется клф *sáu* "дерево", т.е.

эти предметы "выделенно" воспринимаются как "деревобразные". Приведем еще один пример. Стена имеет и длину, и ширину, и высоту, т.е. она имеет "право" восприниматься человеком как трехмерное тело (ср.: *высокая стенка, длинная стенка, широкая стенка и тонкая стенка*). Однако в словосочетании *bú'c tu'd'ng* (букв. "клф стена") "стена" дескриптивный клф *bú'c* указывает, что стена рассматривается во вьетнамском языке только как письмо или фотография (ср. *bú'c thu'* "письмо", *bú'c dnh* "фотография"), т.е. с признаком "выделенно" двухмерной плоскости.

Интересны в этой связи и данные классификаторов индейских языков Северной Америки. Например, в языке тараскан (см. [17]) фрукты обычно квалифицируются как трехмерные; однако банан — как одномерный. Или другой пример: в этом языке животные обычно квалифицируются как одномерные, а лягушка и жаба — как трехмерные, так как они считаются "округлыми" (в языке навахо они воспринимаются как грязеподобный предмет).

**3.3. О понятии "значение классификаторов".** В толковых словарях вьетнамского языка (например, [18]) значение классификаторов обычно сообщается в следующем виде: "для указания на отдельную единицу предметов, имеющих форму...". Однако в более узком и точном смысле, на наш взгляд, на классификаторов не существует значения. Строго говоря, они не имеют ни сигнификата, ни денотата. В их содержании отражается лишь допонятийный чувственный образ одного конкретного представителя целого класса предметов, обозначаемых существительными (даже в тех случаях, когда их значение метафорично, как, например, значение клф *lá* "лист дерева"). Иными словами, мы имеем дело только с непосредственным (перцептивным), а не с когнитивным (эпистемическим) восприятием действительности [19].

В дальнейшем мы будем все же говорить о значении классификаторов, но его надо понимать психологически, например, в духе "предметного значения" по А.Н. Леонтьеву (см. [20]).

**3.4. Список наиболее употребительных классификаторов и разделение ими предметов по пространственным характеристикам.** Учитывая два фактора — "выделенность" признака для восприятия и предметное значение классификаторов — мы будем строить нашу классификацию следующим образом: а) в каждой группе в порядке ослабления их предметного значения; б) в толковании каждого классификатора указываются в основном "выделенные" пространственные характеристики предметов.

Итак, как мы показали выше, существуют три группы предметов, классифицируемых с помощью дескриптивных классификаторов.

#### **А. Группа объемных предметов:**

1. Клф *qud* "плод" (его диалектный синоним: *trái*) употребляется для описания "плодообразных" предметов "выделенно" округлой формы: *qud thậп* "почка" (анат.), *qud tim* "сердце", *qud trứng* "яйцо", *qud đầi* "холм", *qud bóпg* "мяч", *qud đặп cầu* "глобус", *qud lự'и đặп* "граната", *qud bom* "бомба" и др.

2. Клф *ngọп* "верхушка или вершина дерева" употребляется для описания "верхушкообразных" предметов "выделенно" конической формы: *ngọп núi* "гора", *ngọп thấп* "башня", *ngọп đẻп* "керосиновая лампа", *ngọп sóпg* "волна", *ngọп lử'a* "пламя", *ngọп gió* "ветер".

3. Клф *hòn* употребляется для описания объемных предметов "выделенно" округлой формы: *hòn núi* "гора", *hòn đầu* "остров", *hòn đặп* "пуля (округлой формы)" и др. [ср. *hòn đấi* "ком земли", *hòn ngọc* "драгоценный камень (округлой формы)"].

4. Клф *viẻп* употребляется для описания объемных предметов "выделенно" маленьких по размеру и округлой формы: *viẻп thuấс tễ* "пилюля", *viẻп bi* "шарик" (во вьетнамской детской игре) и др. [ср. *viẻп ngọc trại* "жемчужина", *viẻп đứ'đ'ng* "сахар (кусочек)"].

### Б. Группа плоских предметов:

5. Клф *lá* "лист (дерева)" употребляется для описания "листообразных" предметов: *lá thư* "письмо", *lá cờ* "флаг", *lá phôi* "легкое (анат.)", *lá gan* "печень" и др.

6. Клф *lô* "лист для бумаги" употребляется для описания "листообразных" предметов "выделенно" прямоугольной формы: *lô báo* "газета", *lô truyền đơn* "листовка", *lô tranh* "картина (репродукция)" и др. (ср. *lô giấy* "лист бумаги").

7. Клф *bức* употребляется для описания плоских предметов вертикально ориентированного расположения: *bức tường* "стена", *bức vách* "перегородка", *bức bình phong* "ширма" и др.

8. Клф *tấm* употребляется для описания плоских предметов с "выделенно" небольшой толщиной и горизонтально ориентированного расположения: *tấm ảnh* "фотография", *tấm thảm* "ковёр", *tấm màn* "занавес" и др. (ср. *tấm gỗ* "деревянная дощечка").

9. Клф *thanh* употребляется для описания плоских предметов "выделенно" удлинненной формы с небольшой толщиной и небольшой шириной: *thanh kiềm* "мяч", *thanh gươm* "сабля" и др. (ср. *thanh gỗ* "деревянная планка", *thanh sô cô lát* "шоколадная плитка").

### В. Группа линейных предметов:

10. Клф *cây* "дерево" употребляется для описания "деревообразных" предметов "выделенно" цилиндрической формы и вертикально ориентированного расположения: *cây cột* "столб", *cây giáo* "копье", *cây nến* "свеча" и др. (ср. *cây gỗ* "бревно"),

11. Клф *que* "палочка" употребляется для описания "палочкообразных" предметов, "выделенно" маленьких по размеру: *que diêm* "спичка", *que tăm* "бамбуковая зубочистка" и др.

12. Клф *dòng* "поток, струя" употребляется для описания линейных предметов "выделенно" горизонтального расположения: *dòng sông* "река", *dòng suối* "ручей" (ср. *dòng nước* "струя воды", *dòng người* "поток, колонна людей").

13. Клф *sợi* "волокно, нить" употребляется для описания линейных предметов, "выделенно" маленьких в диаметре и горизонтально ориентированного расположения: *sợi dây thừng* "веревка", *sợi dây đàn* "струна", *sợi tóc* "волос на голове" и др. (ср. *sợi chỉ* "нитка").

Сразу же можно заметить, что многие из этих классификаторов носят характер флороморфизма (а не антропоморфизма), что свидетельствует о специфическом способе отражения мира во вьетнамском языке. Отметим здесь еще два момента. Во-первых, можно было бы более детально толковать употребление некоторых классификаторов. Например, в словаре обычно дается два значения клф *hòn*: а) *hòn<sub>1</sub>* употребляется для объемных предметов, маленьких по размеру и округлых по форме: *hòn đất* "ком земли", *hòn ngọc* "драгоценный камень (округлой формы)", б) *hòn<sub>2</sub>* употребляется для горы или острова (как единичных предметов). Или, у клф *bức* также два значения: а) *bức<sub>1</sub>* употребляется для плоских предметов прямоугольной формы, использованных для преграды или защиты: *bức tường* "стена", *bức vách* "перегородка", б) *bức<sub>2</sub>* употребляется для плоских предметов, использованных для письма, рисования или печати: *bức thư* "письмо", *bức tranh* "картина". Однако мы включаем их в одно предметное значение, так как нас интересуют прежде всего общие пространственные свойства предметов. Во-вторых, вьетнамские лингвисты считают, что настоящие классификаторы сочетаются лишь с именем "предмета", а не "вещества" (например [1, с. 53]). В связи с этим в нашей классификации некоторые примеры с именами "веществ" даются в скобках (для сравнения с именами "предметов"). К этому мы вернемся в дальнейшем изложении.

Наше описание вьетнамских дескриптивных классификаторов отражает универсальный "минимум" восприятия человеком трех разных форм предметов — округлой (мячеобразной), плоской (лепешкообразной) и длинной (палкообразной)

(см. [17]), как это было показано в описаниях других языков; использующих дескриптивные классификаторы. Таким образом, для выявления различных "взглядов" на мир у разных народов нам необходимо исследовать факторы, обуславливающие употребление и выбор конкретного классификатора.

4. Абсолютная и относительная ориентация в описании пространственных свойств объекта. При пространственном измерении объектов внешнего мира человек оперирует, с одной стороны, с относительными величинами. Например, с помощью дескриптивного клф *qud* "плод" человек включает в одну группу довольно различные по объему и форме "плодообразные" предметы: гору, сердце, бомбу, гранату, глобус. С другой стороны, пространственное восприятие у человека носит и абсолютный характер: письмо рассматривается, например, как плоскость, как лист дерева, и поэтому мы не можем присоединять к нему клф *qud* "плод".

На основе употребления дескриптивных классификаторов мы можем выделить два вида ориентации при описании пространственных характеристик предметов: абсолютную и относительную (см. другое понимание у Ю.Д. Апресяна [21 с. 110]).

4.1. Абсолютная ориентация в описании. При данной ориентации с каждым предметом соотносится только один дескриптивный классификатор. Его употребление зависит от следующих факторов.

1. Форма предмета. Как мы показали выше, клф *qud* "плод" употребляется постоянно с несколькими предметами округлой формы [его нельзя заменить нейтральным и абстрагированным клф *sái* (для неодушевленных предметов)]. Аналогичным образом функционирует клф *lò* "лист бумаги" в сочетании с именем *báo* "газета". Хорошим примером служит и описание легкого человека: для обозначения одного из них служит клф *lá* "лист дерева", а для их описания в целом — счетное слово *bidng* с образом "гроздь бананов" (о различии классификаторов и счетных слов речь пойдет ниже).

2. Размер предмета. Релевантность этого фактора четко выявляется при сравнении двух классификаторов: *qud* "плод" и *viên*. Если *qud* "плод" употребляется для предметов "выделенно" округлой формы, как мяч, глобус, снаряд, то *viên* — только для маленьких — конфета, шарик, пуля, пилюля, таблетка. Сложнее описать классификаторы *qud* "плод" и *hòn*. На первый взгляд они "не различаются" при квалификации размера предмета, ср. *qud núí* «гора» и *hòn núí* «гора». Однако их противопоставленность выявляется в таких оппозициях: *qud núí* «гора» — *hòn non bậ* "макет горы (в саду или бассейне)" (ср. также пару: *qud đất* "земной шар" и *hòn đất* "ком земли").

Явны также и различия в использовании классификаторов *sây* "дерево" и *que* "палочка": первый употребляется для столба, пики, ружья, свечи, второй — для спицы, зубочистки.

3. Расположение предмета (или его положение в пространстве. Данный фактор раскрывается в содержании двух классификаторов: *sây* "дерево" и *bú's*, которые указывают на ориентированность предмета по вертикали. Первый из них указывает на вертикально ориентированное расположение предмета в форме цилиндра, поэтому можно употребить *sây* "дерево" в сочетании со словами типа *колонна*, *шест*, *копье*, *ручка* и т.д., но не *веревка*, *струна*, *нитка*. Второй из них — *bú's* указывает на вертикальное положение плоского предмета типа стены, перегородки, его нельзя заменить клф *lám* (выражающим ориентированность по горизонтали), употребляемым для предметов типа ковра, деревянной стойки и др. Отметим, что створки двери, хотя и "стоят" (т.е. расположены вертикально), но они описываются при помощи клф *lám* (горизонтальное расположение): *lám cánh cửa* (букв. "клф створка дверь") "створка". Это объясняется тем, что дверь не имеет самостоятельного изолированного положения в пространстве, так как она прикрепляется к стене.

**4.2. Относительная ориентация в описании.** При данной ориентации один и тот же предмет описывается по-разному различными классификаторами, употребление которых зависит от следующих факторов:

1. "Выделенный" характер формы предмета. Ориентация в описании определяется конкретной формой предмета, фиксируемой в момент речи. Например, гора описывается при помощи клф *quá* "плод", если на фоне ее пространственных свойств мы хотим выделить ее округлость. Если мы бы захотели "увидеть" ее коническую форму, мы употребили бы клф *ngq̄n* "верхушка". Аналогичным образом соотносится употребление клф *lá* "лист дерева" и *ngq̄n* "верхушка" для описания флага. Этот фактор значим и в тех случаях, когда употребляется клф *con* (условный перевод: "живое существо") для описания зооморфной формы предмета. Ср.: *con z̄ng* (букв. "живое существо река") "река" и *dòng sông* (букв. "поток, струя река") "река"; *con thuyền* (букв. "живое существо лодка") "лодка" и *cái thuyền* (букв. "штука лодка") "лодка".

Иногда возможен выбор и между "выделенными" характеристиками формы или расположения одного и того же предмета. Ср. употребление классификаторов *ngq̄n* "верхушка" (по форме) и *cây* "дерево" (по вертикальному расположению) в: *ngq̄n bút* (букв. "верхушка ручка") "ручка" и *cây bút* (букв. "дерево ручка") "ручка".

2. "Выделенный" признак характера расположения. Предметы типа ковра, занавесей, штор и др. могут иметь два положения в пространстве: они либо "висят", либо "лежат". В связи с этим мы можем описать их в момент речи в зависимости от того, какое "выделенное" (вертикально или горизонтально) ориентированное расположение они занимают. Именно этим предопределяется употребление пары классификаторов *bú'c* (вертикальное расположение) и *tấm* (горизонтальное расположение): ср. *bú'c thảm* "ковёр" (для украшения, на стене) и *tấm thảm* "ковёр" (для покрытия, на полу). По-видимому, то же (но с оговорками) можно сказать и о "выделенном" признаке характера положения таких предметов в пространстве, как картина, письмо, фотография; ср. например: *bú'c ảnh* (букв. "клф фотография") "фотография" (вертикальное расположение) и *tấm ảnh* (букв. "клф фотография") "фотография" (горизонтальное расположение). В пользу этого свидетельствует словосочетание *bú'c tranh* (букв. "клф картина") "картина (в рамке)", так как употребление клф *bú'c* указывает на "выделенность" признака вертикального расположения картины на стене. Более того, с картиной (в рамке) не употребляются классификаторы типа *lá* "лист дерева", *tấm* (горизонтальное расположение). Исключением является лишь клф *tờ* "лист бумаги" в словосочетании *tờ tranh* (букв. "лист картины") "картина (репродукция без рамки)". Таким образом, классификаторы *bú'c* и *tấm* указывают на одну и ту же форму предмета, однако на разные "выделенные" признаки его ориентированности в пространстве.

3. "Выделенный" признак размера предмета. Предметы типа жемчуга описываются двумя классификаторами — *viên* (если его размер большой) и *hạt* (если его размер маленький, т.е. "жемчужина").

Поскольку подлинными классификаторами обычно считаются только счетные слова, стоящие перед именами "предмета", а не "вещества" (как мы видели выше), мы рассмотрим некоторые счетные слова, описывающие пространственные свойства "вещества".

## 5. Концептуальный анализ понятия "часть (кусок)" во вьетнамском языке

**5.1. Общие замечания.** Все вещи в физическом мире разделяются на две категории: одни непосредственно исчисляются "поштучно" и имеют относительно определенную форму (например, гора, дом, нож, книга); это — предметы. Другие не исчисляются непосредственно и приобретают какую-то "форму" только в виде массы, кусков (например, вода, камень, ткань, мясо) или продуктов, полученных из них; это — вещества. Таким образом, мы можем описывать не какое-то вещество вообще, а вещество в его конкретной форме, например: *dòng nước* "поток, струя воды", *giọt nước* "капля воды", *cuộn len* "моток шерсти", *tảng đá* "глыба камня". В этом отношении, на первый взгляд,

имеется как будто бы много сходного при описании "вещества" в разных языках. Однако есть и различия, причем показательны и интересны тонкие различия. В русском языке при описании можно просто использовать имена веществ, например: *весенние воды*. Во вьетнамском же языке для этих случаев необходимо наличие счетного слова, указывающего на форму или размер "парциалла" вещества, ср.: *những dòng nước mùa xuân* (букв. "поток, струя вода весна") "весенние воды". В русском предложении *Вода бьет струями* слово *струя* должно переводиться на вьетнамский язык одним из трех вариантов: а) *dòng* "поток", если струя воды имеет форму широкой полосы; б) *lũng* "сильный поток", т.е. с учетом силы потока воды; в) *tia* (букв. "луч"), если струя имеет форму узкой полосы, например, струя душа (ср. *tia nắng* "солнечный луч"). Поэма В. Маяковского "Облако в штанах" была переведена на вьетнамский язык под названием "Đám mây mặc quần" (букв. "куча, скопление облако надевать штаны").

Следует подчеркнуть, что при описании (с помощью описательных определений) наличие счетного слова необходимо не только для имени вещества, но и для имени предмета, например: *Nàng có cặp mắt rất đẹp* (букв. "она имеет пара глаза очень красивый") "У нее очень красивые глаза".

Как мы видим, именно наличие счетного слова *cặp* "пара" перед именем предмета *mắt* "глаза" является специфическим свойством вьетнамского языка по сравнению с русским. Еще один пример: *Tôi rất thích ngắm khuôn mặt ngây thơ của cháu* (букв. "я очень люблю любоваться формочка лицо наивной племянница") "Я очень люблю смотреть на наивное лицо этой девчонки". В этом случае также показательно появление счетного слова *khuôn* "форма" перед именем *mặt* "лицо".

Все сказанное дает основание говорить о том, что при описании "парциалла" вещества мы имеем дело с еще одной подгруппой существительных, стоящих перед именами вещества. Такие существительные можно назвать "счетно-описательными" словами. Рассмотрим их использование при обозначении понятия "часть (кусок)" во вьетнамском языке.

5.2. Классификация разных типов "часть (кусок)" по их пространственным характеристикам. Во вьетнамском языке разделяются счетно-описательными словами некоторые типы "часть (кусок)" по их пространственным свойствам: а) тип объемных частей (кусков), например: *tảng, cục, hòn, viên*; б) тип плоских частей (кусков): *tấm, mảnh, mảng, thanh, khoan, lát*; в) тип длинных частей (кусков): *khúc, đoạn, thẻo, rẻo*; г) тип маленьких частей (кусков): *mẩu* и д) тип бесформенных частей (кусков): *miếng*. Для того, чтобы легче было представить себе разницу между этими частями (кусками), приведем наиболее наглядные случаи (при помощи рисунков). Допустим, что у нас есть одно бревно. Его "части (куски)" различной формы и размеров получаются следующим образом:

А. При продольной распиловке бревна мы получим:

1) *tấm* "плоский кусок прямоугольной удлиненной формы", например: *tấm gỗ* "доска" (букв. "кусок дерево"). Ср. *tấm kính* "стекло" (для окна, двери) (букв. "кусок стекло"). Напомню, что данное слово употребляется как классификатор в случае типа *tấm thảm* "ковер" (букв. "клф ковер"). См. рис. I А.

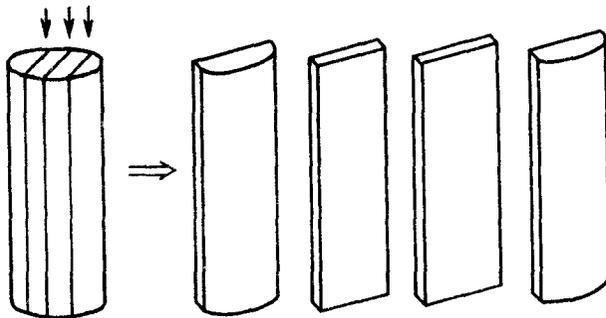


Рис. I А: *tấm gỗ* "деревянная доска"

Б. При поперечной распиловке бревна мы получим:

2) *khúc* "кусок, часть определенной длины", например: *khúc gỗ* "брус дерева". Ср.: *khúc cá* "кусок рыбы" (поперечный разрез), *khúc xương* "кость" (букв. "кусок кости"), *khúc đê* "отрезок, часть дамбы", *khúc sông* "отрезок, часть реки", *khúc đường* "отрезок, часть дороги". Следует указать, что для содержания данного слова *khúc* существенен семантический признак "в виде целого куска или целой части", отличающийся от семантического признака "кусок небольшой длины" в слове *đoạn* [см. ниже, в (6)]. См. рис. II Б.

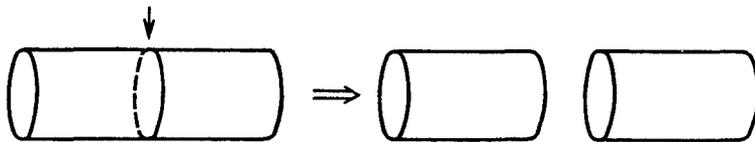


Рис. II Б: *khúc gỗ* "брус дерева"

3) *cục* "небольшой объемный кусок производной формы, но не плоской и не продолговатой", например: *cục gỗ* "кусок дерева". Ср.: *cục đất* "кусок земли", *cục đá* "кусок камня", *cục cứt chó* "кусок собачьего кала", *cục xà phòng* "кусок мыла", *cục thịt băm* "кусок котлеты". Ср. также два вида камня (как строительный материал) *đá cục*: "булыжник" (букв. "камень кусок") и *đá dăm* "щебень" (букв. "камень мелкая частица"). См. рис. III Б;

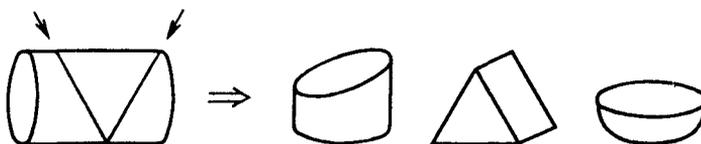


Рис. III Б: *cục gỗ* "кусок дерева"

4) *khoanh* "кусок цилиндрической формы и небольшой толщины", например: *khoanh gỗ* "кусок, круг дерева". Ср.: *khoanh giò* "кусок, круг колбасы", *khoanh bánh mì* "кусок хлеба", *khoanh bí* "кусок, круг тыквы". См. рис. IV Б.

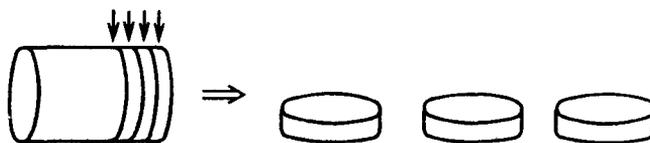


Рис. IV Б: *khoanh gỗ* "кусок, круг дерева"

В. Продолжая рубить или пилить доску, мы получим "части (куски)" следующих типов:

5) *thanh* "плоский и узкий кусок удлиненной формы". например: *thanh gỗ* "деревянная планка". Ср.: *thanh sắt* "полоса железа", *thanh củi* "полено" (букв. "кусок дрова"), *thanh sô cô lát* "плитка шоколада". Напомню, что это слово

выступает и в функции классификатора при слове *kiếm* "меч" в словосочетании *thanh kiếm* "меч". См. рис. V B;

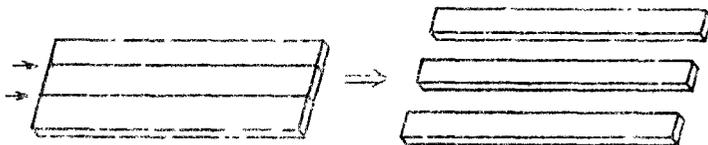


Рис V B *thanh gỗ* "деревянная планка"

6) *đoạn* "кусочек небольшой длины", например, *đoạn gỗ* "кусочек дерева". Следует заметить, что данный тип "куска" всегда "подчеркивает" линейную, удлиненную форму предмета. Ср.: *đoạn thẳng* "отрезок прямой", *đoạn chỉ* "кусочек нитки"; *đoạn phim* "кусочек фотографии" (букв. "отрезок фильма"), *đoạn sông* "отрезок, участок реки", *đoạn đường* "отрезок, участок дороги". См. рис. VI B.



Рис VI B. *đoạn gỗ* "кусочек дерева"

Г. Для названия остальных маленьких частей (кусков) дерева можно употребить следующие слова:

7) *mảnh* "маленький плоский кусок", например, *mảnh gỗ* "кусочек дерева, дощечка". Ср. *mảnh kính vỡ* "кусок (разбитого) стекла, обломок стекла" и *mảnh đất* "маленький участок, клочок земли". Если слово *mảnh* употребляется для имени предмета, оно придает ему такой семантический оттенок: этот предмет воспринимается более маленьким, незаметным в ряду ему подобных. Ср. *tấm bằng* (букв. "кляф диплом") "диплом" и *mảnh bằng* (букв. "кусочек диплом") "дипломчик" в уменьшительном или уничижительном смысле.

8) *rẻo* "маленький и узкий кусочек удлиненной формы" ("полоска"), например: *rẻo gỗ* "полоска дерева". Ср.: *rẻo vải* "полоска ткани", *rẻo giấy* "полоска бумаги" и *rẻo đất* "полоска, клочок земли";

9) *mẩu* "очень маленький кусочек" ("кусочек"), например: *mẩu gỗ* "кусочек дерева". Ср.: *mẩu bánh mì* "кусочек хлеба", *mẩu giấy* "кусочек бумаги", *mẩu da* "кусочек, лоскуток кожи", *mẩu bút chì* "кусочек карандаша" и *mẩu đất* "маленький участок земли, клочок земли".

Итак, мы рассмотрели девять типов "частей (кусков)" дерева, специфицируемых четко-описательными словами: *tấm, khúc, cục, khoanh, thanh, đoạn, mảnh, rẻo, mẩu*. Рассмотрим еще шесть остальных слов: *tảng, hòn, viên, lát, mảng* и *miếng*, которые не сочетаются с именем вещества *gỗ* "дерево":

10) *tảng* "большой по объему кусок", например: *tảng đá* "глыба камня", *tảng băng* "глыба льда", *tảng thịt* (букв. "глыба мясо") "большой кусок мяса", *đang mây* (букв. "глыба облако") "облако";

11) *hòn* "небольшой по объему кусочек круглой формы": *hòn đá* "кусочек камня", *hòn đất* "кусочек земли, ком земли", *hòn ngọc* "драгоценный камень круглой формы" (как ювелирное изделие). Напомним, что это слово употребляется и в функции глф в *hòn bi* "шарик (сделанный из камня или стекла в детской вьетнамской игре)", *hòn sỏi* "галечка";

12) *viên* "маленький по объему кусочек круглой формы": *viên đá* "кусочек камня",

*viên thịt băm* "кусочек мяса котлеты или люля-кебаба", *viên đu'ò'ng* "кусочек сахара". Это же слово может выступать и в качестве клф в *viên đạn* "пуля", *viên gạch* "кирпич", *viên thuốc* "пилюля, таблетка";

13) *lát* "плоский, тонкий кусок" (получаемый при поперечном разрезе), например: *lát bánh mì* "кусок хлеба", *lát bơ* "кусок масла", *lát chanh* "кусок лимона", *lát khoai* "кусок, ломтик батата", *lát giò* "кусок колбасы" (ср. *khoanh giò* "кусок колбасы в форме круга");

14) *thèo* "узкий и длинный кусок" (получаемый путем обреза по краю чего-л.): *thèo bánh* "кусок торта", *thèo thịt* "кусок мяса" и *thèo đất* "кочок земли на краю поля";

15) *mảng* "плоская, большая по площади часть", например: *mảng tu'ò'ng đờ* "обломок стены", *mảng da* "кусок кожи" (когда кожа шелушится большими кусками). Укажем на различие между этим словом и словом *mảnh* [см. выше, в (7)]. Ср. два предложения:

*Củ'a kính vỡ' làm ba mảnh* "Дверное стекло разбилось на три куска", в этом случае обязательно употребляется слово *mảnh*, и поэтому можно сказать: *những mảnh kính vỡ'* "куски разбитого стекла".

*Củ'a kính vỡ' một mảng tu' ở'ng* "От дверного стекла отбилась большой кусок", в этом случае обязательно употребляется слово *mảng*, и поэтому нельзя сказать *\*những mảng kính vỡ'* "куски разбитого стекла".

В первом предложении речь идет о "куске" как обломке, осколке стекла; во втором предложении — о куске в качестве "части" целого стекла.

16) *miếng* "любой отдельный кусок без учета его формы и размера"; например, *miếng thịt* "кусок мяса". он может быть большой, как кусок мяса в магазине или маленький, как кусок бифштекса или гуляша; *miếng vải* "кусок ткани"; он может пойти на рубашку, а также для покрытия дыры в старой рубашке; *miếng cam* "ломтик апельсина" (получаемый при продольном разрезе), *miếng bánh* "кусок торта", *miếng đất* "участок земли".

## 6. Заключение.

1. Для того, чтобы получить полное представление о восприятии пространства человеком, нам необходимо исследовать не только пространственные глаголы, прилагательные и предлоги, но и существительные. В этом отношении наглядным оказывается подкласс дескриптивных классификаторов и счетно-описательных слов во вьетнамском языке.

2. Собранные языковые факторы позволяют говорить о различных способах концептуализации, категоризации, классификации и описания мира разными народами, например, о способе перцептуального восприятия предмета в его единичности и его образном описании у вьетнамцев. В более широком контексте можно говорить также о каком-то специфическом способе видения мира.

3. Можно построить типологию общих пространственных картин мира в разных языках (например, на базе пространственных слов) или частных картин (например, на основе дескриптивных классификаторов).

Выражаю свою признательность Ю.С. Степанову, А.А. Леонтьеву, Ю.А. Сорокину за их советы и замечания, а также сотруднику Сектора психолингвистики и теории коммуникации за поддержку моих работ во время стажировки в Институте языкознания РАН.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Nguyen Tai Kan*. К вопросу о классификаторах во вьетнамском языке // Филология стран Востока. Л., 1963.
2. *Nguyen Tai C'а'n*. *Ngũ' pháp tiếng Việt*. Hà nội, 1975.
3. *Панфилов В.С.* О вьетнамских классификаторах // ВЯ. 1988. № 4.
4. *Морев Л.Н., Плам Ю Я., Москалев А.А.* Лаосский язык. М., 1972.

5. *Лакофф Дж.* Мышление в зеркале классификаторов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIII: Когнитивные аспекты языка. М., 1988.
6. *Виноградов В.А.* Классификатор // Лингвистический словарь. М., 1990.
7. *Исмаилов К.А.* Семантический анализ пространственных прилагательных в английском языке. Дис. канд. филол. наук. М., 1979.
8. *Ожегов С.И.* Словарь русского языка. М., 1973.
9. *Ли Тоан Тханг.* Движение в пространстве и проблема картины мира // ИАН СЛЯ. 1990. Т. 49.
10. *Ли Тоан Тханг.* К вопросу о пространственной ориентации во вьетнамском языке в связи с картиной мира // ВЯ. 1989. № 3.
11. *Herskovits A.* Language and spatial cognition. Cambridge, 1988.
12. *Talmy L.* How language structures space // Spatial orientation: theory, research and application. N.Y., 1983.
13. *Журинский А.Н.* О семантической структуре пространственных прилагательных // Семантическая структура. М., 1971.
14. *Hoàng Văn Ma, Lục Văn Đảo, Hoàng Chí.* Ngũ' pháp tiếng Tày-Nùng. Hà nội, 1971.
15. *Bennett D.C.* Spatial and temporal uses of English prepositions. L., 1971.
16. *Leech G.N.* Towards a semantic description of English. L., 1969.
17. *Friedrich P.* Shape in grammar // Language. 1970. V. 46. № 2 (pt 1).
18. *Từ' điề'n tiề'ng Việt/Hoàng Phê chu' biên.* Hà nội, 1988.
19. *Вежбицка А.* Восприятие: семантика абстрактного словаря // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 18: Логический анализ естественного языка. М., 1986.
20. *Леонтьев А.А.* Формы существования значения // Психолингвистические проблемы семантики. М., 1983.
21. *Апресян Ю.Д.* Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.

© 1992 г. ШЕКА Ю.В.

**ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ СИНТАКСИЧЕСКОЙ СВЯЗИ И ИНТОНОЛОГИИ  
В СИНХРОНИЧЕСКОМ И ДИАХРОНИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ**

(НА МАТЕРИАЛЕ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА)

Любые синтаксические отношения выражаются не только грамматическими показателями, но и интонацией. Особенно этот момент подчеркивается при изучении асиндетона и примыкания: "Объединение предложений в бессоюзное сочетание осуществляется посредством интонации" [1], при примыкании "зависимость подчиненного слова выражается лексически, порядком слов и интонацией" [2, с. 336]. Наряду с соответствующими грамматическими категориями интонация играет определяющую роль для различения предикативного и атрибутивного типов связи: "В нашей отечественной грамматической науке выдвинуты два общих характерных признака предложения в русском языке... — интонация сообщения и предикативность... Наличие обоих этих признаков для предложения обязательно" [3, с. 264].

Вместе с тем сказанные В.В. Виноградовым слова о том, что "взаимоотношение и взаимодействие этих признаков до настоящего времени остаются не вполне определенными" [3, с. 264], сохраняют свою актуальность и сейчас. Всеобщим молчаливым признанием пользуется полагание некоторого взаимно однозначного соответствия между выраженностью категорий предикативности и их интонационным оформлением, т.е. эксплицитно не обоснованное полагание симметрии между предикативностью и соответствующей интонологической структурой. Это постоянно проявляется в том, что исследователи предикативности сопровождают те или иные свои выводы словами "при соответствующей интонации". Но как быть, если интонация как раз не соответствует, противоречит формальной выраженности предикативных категорий, причем если это имеет не характер случайных речевых отклонений, а относится к одной из центральных особенностей целой сферы функционирования языка — например, разговорной речи?

Рассмотрим очень распространенный в турецкой разговорной речи пример инвертированного предложения (см. рис. 1). С точки зрения интонации данный пример является интономой, состоящей из двух мелодем, которые разделены двойной чертой, отмечающей одновременно и границу между ремой и темой (об интономе и мелодеме как интонологических единицах, соотносящихся с предложением и синтагмой соответственно, см. [4]). Основным структурным элементом мелодемы, оформляющей связь слов в словосочетании, является постоянство тактовой размерности (в первой мелодеме она равна  $\frac{3}{4}$ , а во второй —  $\frac{1}{4}$ ) и темпа (в первой мелодеме длительность четвертной ноты равна 225 мс, а во второй — 152 мс), сбой которых на стыке мелодем или непосредственно вблизи этого стыка как в приведенном примере, и отмечает деление разговорного высказывания обычно на две синтагмы (интономы на две мелодемы) [5]. Мы видим, что часть высказывания *ben söktüm* интонационно оформляется посредством мелодемы, т.е. так же, как оформляются атрибутивные словосочетания, а связь инвертированного прямого дополнения с глаголом — посредством интономы, т.е. интонологической единицы, оформляющей предикативную связь. Таким образом, налицо типичный случай противоречия между

Ben zöküm // şifreyi (P - T)  
 $\left| \begin{array}{c} 2 \\ 4 \end{array} \right| \downarrow \downarrow \downarrow \left| \begin{array}{c} 8 \\ 4 \end{array} \right| \downarrow \downarrow \downarrow \dots$   
 $\downarrow = 225$   $\downarrow = 152$

“Я разгадал [этот] шифр”.

Рис. 1

интонацией и категориями предикативности, со всей полнотой выраженными в сочетании *ben zöküm*. В данном примере как бы истинная предикативная связь имеет место не между подлежащим и сказуемым, а между компонентами актуального членения, т.е. между темой и ремой.

Невыявленность интонологических единиц становится тормозом развития всей лингвистической теории. В этой связи формулировка основных принципов интонологии представляется чрезвычайно актуальной. Как будет показано ниже, описание наиболее важных особенностей ритмической организации речи тесно связано с учетом закономерностей исторического становления ритма на каждом соответствующем языковом уровне. Этим объясняется представленность в данной работе диахронического аспекта.

Конкретным материалом послужил экспериментальный анализ текста зачитанного по анкарскому радио летом 1974 г. правительственного сообщения о высадке турецких войск на Кипре, в котором, как представляется, наиболее ярко отражены нормы устной реализации письменной разновидности турецкого литературного языка. Паузация этого текста уже послужила предметом отдельной работы [6], в которой описана применявшаяся методика выявления его темпово-ритмических особенностей, а также сегментации на мелодемы (синтагмы). В данной работе будут использоваться и некоторые результаты экспериментального исследования разговорных высказываний, проводившегося нами ранее [5], а также понятия следующих интонологических единиц: гармонема (соответствует гласной фонеме или, если последнюю рассматривать вместе с обрамляющими ее согласными, слогу), тактема (ей соответствует слово), мелодема (синтагма), интонема (предложение), композема (сверхфразовое единство) [4]. Исследованный текст приведен в приложении. Под строкой указано разделение на такты и помечена их размерность. Над тактовой чертой записана интегральная интенсивность первого (ударного) слога такта в условных единицах (см.). Максимум этого показателя, т.е. интегральная интенсивность слога (пропорциональная величине площади под кривой интенсивности на интонограмме), большая не только, чем в двух непосредственно соседних слогах, но и чем в ударных слогах предыдущего и последующего тактов, образует начало мелодемного такта, помеченное двойной тактовой чертой, рядом с которой указана длина временного отрезка до следующего мелодемного максимума в мс. Например, в синтагме 1.1 (первая синтагма первого предложения — см. приложение) слог *kur* имеет интегральную интенсивность, равную 45 ед., что превышает ударные доли как предыдущего (43 ед.), так и последующего (29 ед.) тактов. Мелодемный максимум в работе называется также мелодемным ударением.

Интонационное выражение синтаксических связей базируется наряду с такими параметрами, как высотная мелодия, мелодия певучести и гармония, каждый из которых также выступает в виде ритмособоразующего, на динамико-ритмических свойствах человеческой речи. В работах [4--6] было показано, что в турецком языке существует три уровня изохронности динамических максимумов: гармонемный (слоговой), тактеменный (словесный) и мелодемный (на уровне синтагмы). Эти максимумы разделены соответственно динамическими минимумами различного качества вплоть до падения фонации до нуля, которые можно объединить понятием гиперогласных, подразделяющихся на собственно

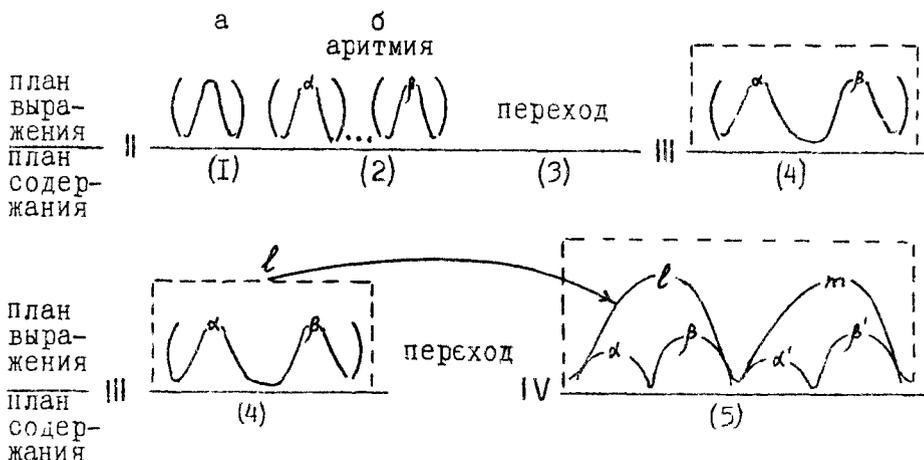


Рис. 2

Начинается с ||, так как имеется еще период | — ||, имеющий принципиальные особенности (см. в тексте статьи). Обозначения: (1) единичный элемент, (2) соположение, вызванное внешней ситуацией, (3) обобщенно-предикативное отношение, переходящее в связь, (4) обобщенно-сочинительная связь, пунктир — зарождение элемента следующего уровня, (5) аналогично тому, что представлено на предыдущем уровне || — |||, при этом модулированное сочетание пакетов  $\alpha$  и  $\beta$  дает обобщенно-атрибутивную связь.



Рис. 2а

В данных схемах отражен ритмико-выделительный аналог понятий "синтаксической равноправности" и "синтаксической неравноправности", на которых основывается различие сочинения и подчинения [2, с. 451, 292].

согласные (для гармонического уровня) и на различного вида минимумы и паузы для уровней тактемы, мелодемы и интономы. Таким образом, можно сказать, что человеческая речь, с точки зрения интонации, является суперпозицией волн (вернее, относительно регулярных последовательностей волновых пакетов — в физическом смысле этого термина) различных уровней. Этот момент принципиально отмечается и для других языков. Так, Д. Болинджер образно сравнивает интонацию с "рябью на волнах на гребнях на приливе и отливе" [7].

В самом общем виде ритмический механизм, лежащий в основе интонационного выражения синтаксических связей, может быть описан с помощью схем (рис. 2 и 2а). Изображение-символ волны (волнового пакета), заключенное в скобки, означает многократное повторение:  $\sim\sim\sim$ . В первобытной речи, как и в речи лишь начинающих говорить детей, отдельное четкое произнесение элемента (слога или несложного слова) невозможно (= отсутствие членораздельной речи), поэтому на этой стадии элемент может иметь лишь форму неопределенно-кратного самоповтора: гуление (*lalala...* или *anne, anne...*). Однократный звук возможен, но он будет лишь случайно-хаотичным по своим артикуляторно-фонетическим характеристикам, что отражает предыдущую стадию

полного отсутствия речи. Данный момент отражает роль ритма как самой необходимой первоосновы языка. Основополагающая роль ритма проявляется еще и на другом уровне. Возникающее ритмически закрепленное соположение двух различных элементов обобщенно-сочинительного типа (рис. 2а, 2) также еще весьма нестабильно и может существовать лишь в форме самоповтора (ср. выше *anne, anne...*). Возникновение стабильной связи обобщенно-атрибутивного типа, а значит, и качественно определенных элементов, могущих существовать отдельно-однократно или рядом с прочими в речевой цепи (рис. 2а, 3), возможно исключительно лишь благодаря появлению ритма более высокого уровня. Это отражено на схеме рис. 2, стадия IV, наложением ритма для *l* и *m*. Это естественно и с чисто физической точки зрения, поскольку модулированное колебание может возникнуть лишь при наложении ритма более высокого уровня<sup>1</sup>. Таким образом, развитие, а по сути и собственно становление интонологических, а вместе с ними и системно-языковых единиц осуществляется лишь параллельно с формированием ритмов более высоких уровней и прежде всего благодаря их формированию. Схема (рис. 3) получена путем разворота предыдущей схемы (рис. 2) в вертикальном направлении и отражает становление интонологических единиц в соотношении с этапами формирования ритмов более высоких уровней.

В связи со схемой (рис. 3) сделаем следующие замечания.

1. Все примеры иллюстрируют не полную (включая лексическую), а лишь интонационно-синтаксическую сторону вопроса, поэтому лексическое наполнение примеров является современным. Лексически примеры являются условными не только по форме (в затрагиваемые эпохи турецкого языка не существовало), но и по значению слов. Так, *kahvaltı* и *at* в примерах IV стадии как лексические единицы вряд ли возможны (в эпоху IV стадии лошадь еще не была домашним животным).

2. Примеры взяты из отражения турецкой разговорной речи в художественной литературе, поэтому часто требуется их интерпретационная корректировка (об этом см. также ниже), которая заключается прежде всего в снятии интонационного включения в контекст и чтении их с интонацией, указанной на схеме.

3. Пример к II стадии: *Ay, ay, ay! Dikkat etsene nasırıma bastın!* "Ой, ой! Будь внимательнее, ты мне наступил на мозоль!" [8, с. 35].

4. Поскольку на стадии III схемы фигурируют два однослоговых элемента, *şöyle* и *böyle* в оригинальном примере заменено на *şu* и *bu* (что при наших допущениях, указанных в замечании 1, несущественно, так как местоимениям *şu* и *bu* можно в данном случае просто приписать значение наречий). *Bir kız enseledim... Dün yoluma çıktı, dedi: böyle böyle... Dedim, iyi... Tak hemen sinema... Tak şöyle, tak böyle.* "Я тут девицу одну отхватил... Вчера повстречалась мне. Говорит, так мол и так... Я говорю: хорошо... Раз, и сразу в кино... Ну и пошло то и се" [9, с. 117].

5. Примеры к IV стадии: *Kahvaltı hazır, buyrun* "Завтрак готов, пожалуйста!" [10, с. 59]. *At bin!* употребляется в современном языке и означает: "По коням!". Интонационная интерпретация: *At.Bin.* Повтор *At* существенен для данной стадии из-за отсутствия ритма более высокого (интономного) уровня (такой повтор возможен и, очевидно, необходим и для примера с *kahvaltı*). В турецкой разговорной речи такие повторы весьма распространены: *Sirtına çifte çifte elbise yaptırđım, boyuna kiravat taktım, adam ettim adam.* "Я заказывал для него костюмы, повесил ему на шею галстук, сделал из него человека!" [9, с. 224].

6. Пример к стадии V: *Gözlere bak, tulum tulum* "Смотрите, какие (у нее) глаза! Все заплаканные!" [10, с. 7]. Показатели мн.ч. и дат.п. (присутствующие

<sup>1</sup> Имеется в виду наличие самой огибающей при суперпозиции, например, двух колебаний близкой частоты.



7. Возможна методика датировки указанных этапов, которая подлежит рассмотрению лишь в отдельной работе (готовится к печати): II — 8 млн, III — 2 млн, IV — 220 тыс., V — примерно 7—4,7 тыс., VI — примерно 1,5 тыс. лет назад.

Под предикативностью понимается "отнесенность высказываемого содержания к реальной действительности" посредством конкретизации "в синтаксических категориях модальности, а также времени и лица", которые "придают предложению значение основного средства общения, превращая строительный материал языка в живую, действенную речь" [3, с. 267—268]. В данном виде, однако, понятие предикативности оказывается ограниченным 1) состоянием языка, имеющего категории модальности, времени и лица (на стадиях IV и предыдущих собственно предложения — мелодемного ритма — и собственно синтаксических категорий не существовало) и 2) преимущественно сферой письменной разновидности литературного языка. Это обстоятельство подводит к необходимости сформулировать категории обобщенной грамматики, отражающей суть всех этапов и состояний языка в диахронии, а также всех его разновидностей и стилей в синхронии. Между обобщенной грамматикой и грамматикой традиционной существует отношение общего и частного (так же, как, скажем, классическая физика является частным случаем физики релятивистской).

Отнесенность к реальной действительности выступает не как факт структуры (ср. выше: "строительный материал"), но как факт из области взаимопревращения структуры и коммуникации (превращения структуры "в живую, действенную речь"). Реальность — это прежде всего движение с его противоречием, а не системной противопоставленностью, с его мистерией бесконечного (вспомним апории Зенона), а не системной отграниченностью. "Связи между предметами будут отражаться в языке в виде связей между существительными, прилагательными, глаголами в высказывании. Это положение бесспорно" [12]. Но такое отражение не изоморфизм структур, а величайшее чудо (т.е. само есть движение), поскольку связи между предметами и связи между существительными — вещи принципиально несопоставимые. Поэтому определение обобщенно-предикативной связи как перехода (рис. 2а, 1) и тем самым ее принципиальная противопоставленность обобщенно-атрибутивной связи как факту уже всецело внутрисистемному представляется весьма важным. Обобщенно-атрибутивные связи отражают прошлый опыт человечества. Поэтому они, строго говоря, никогда адекватно не отражают связи между предметами и явлениями (реальными, т.е. в настоящем) — "Мысль изреченная есть ложь" [13, 14]. Предикация и есть центральный момент постоянного снятия этой мистерии отраженности-неотраженности, т.е. самой жизни и развития языка.

Обобщенно-предикативная связь как переход от соположения элементов, вызванного первоначально исключительно лишь особенностями изменяющейся реальности, к ритмической фиксации в виде еще слабой и содержащей момент нового, рематического обобщенно-сочинительной связи является категорией обобщенной грамматики, одинаково присущей любому этапу и состоянию языка. Обобщенной грамматике противостоит собственно грамматика, где зыбкость категории перехода существенно подкрепляется твердью соответствующих формальных показателей и конкретной картиной взаимоотношений во всей системе грамматических категорий. Но грамматик должно существовать шесть — для каждого уровня (рис. 3) своя — и все они различны (дают иной набор и другую картину соотношения категорий). Мы же имеем лишь одну — традиционную, которая по указанной причине (объективно) не осознает своих границ, а потому категорию предикативности твердью форм не подкрепляет, а заменяет. Для нее как грамматики VI уровня категории предикативности — это известные категории модальности, времени и лица. Но грамматики других стадий и, что интересно, собственно современной стадии (см. ниже) существенно отличны!

Все без исключения языковые единицы и стоящие за ними категории были в свое время (и являются сейчас в соответствующей той или иной сфере функционирования) модально-предикативными, так как возникли из обобщенно-предикативного отношения и его первоначальной фиксации в виде связи обобщенно-сочинительной (в виде обобщенного предложения).

Применительно к стадии II—III следует говорить о грамматике междометий, включающей категории вопросительности, утвердительности, звательности (прасубстантивности), побудительности (праглагольности) и пр. С одной стороны, все единицы этой стадии модальны, но, с другой, часть их при поддержке жеста могла выступать в номинативной функции междометных местоимений указательного и указательно-личного характера (ср. междометия, поддерживаемые кивком головы в сторону собеседника или жестом руки от легкого прикосновения до бienia себя в грудь в современной разговорной речи). Обобщенное предложение этой стадии имело вид соединения обобщенно-сочинительной связью модального и функционально номинативного междометий.

Стабилизация тактемы на стадии III—IV ознаменовала прежде всего возникновение местоимений, которые подразделялись на номинативные (указательного и личного характера) и модальные (вопросительные). Основанием для такого заключения служит то, что местоимения обозначают пустую номинацию: "эта вещь есть все что угодно" [15], т.е. близки к междометиям, номинацию не выражающим. Близко к пустой номинации, выступающей как синкретичное единство крайних полюсов определенности-неопределенности, стоят имена собственные, поэтому одновременно должен был идти процесс формирования действительных (вначале типа имен собственных) и лишь затем глагола (в виде обобщенного повелительного наклонения вне лица и числа). К такому заключению можно прийти, анализируя разговорную речь, где действительное или местоимение + междометие: *Hadi be sen de!* "Да брось ты!" [9, с. 152, 35], *Heeey, Andavalli!* "Эй, чудак!" [9, с. 35], возможно, но, скажем, *Hi* (в номинативной функции) *getir!*<sup>2</sup> — нет. Обобщенное предложение имело, таким образом, несколько видов, из которых в конце этапа присутствовало и сочетание субстантива с глаголом. Части речи были тождественны членам предложения.

Обобщенно-атрибутивный<sup>3</sup> тип связи возникает с зарождением ритма более высокого уровня (рис. 2) и в этом смысле является сверткой обобщенно-сочинительной связи. В плане выражения благодаря объединению ритмом более высокого уровня обобщенно-атрибутивная связь обретает более высокую степень ритмической фиксации (стабильности). Элементы, соединенные этой связью, находятся вместе в силу особенностей самой языковой системы (выраженных прежде всего в ритме), но не в силу непосредственного отражения особенностей сиюминутной реальности. Поэтому в плане содержания свертка является интериоризацией реальных фактов (прошлого) в системе языка, где они хранятся в форме периодического воспроизведения (действия людей, воспроизводящих это прошлое, выступают как следствие активности субъектов, от которых исходит первый стимул — рекапитуляция социального опыта). Все категории языка — как грамматические, так и лексические, — не относящиеся на данном этапе к предикативным, представляют собой свертки предыдущих этапов, где эти категории выступали как предикативные.

Из понимания отмеченного типа грамматических категорий как сверток, а также из существования (и сосуществования в современном языке) многих грамматик следует принципиальная несостоятельность традиционного подхода к стилям и разновидностям языка как вариации норм: "Стилистическая функция... вытекает из возможности... варьирования одного и того же синтакси-

<sup>2</sup> Жест + *getir* возможно, но на месте жеста не бывает междометия.

<sup>3</sup> По имеющейся в тюркологии традиции термин "атрибутивный" понимается здесь широко — не только определительные, но и объектные, обстоятельственные [16].

ческого значения" [17, с. 34]. В частности, с этих позиций невозможно решить и проблему "... взаимосвязи синтаксических и интонационных значений" [17, с. 34], которая была поставлена в начале статьи. Пример на рис. 1 нельзя интерпретировать как разговорно-стилистическую вариацию нормативной предикативной связи. В этом примере обнажен отголосок совершенно другой грамматики<sup>4</sup> — V или V—VI стадии (вилка из-за наличия показателя вин.п.), когда собственно предложение и категории его членов находились в начальной стадии формирования, тождественно совпадая с компонентами актуального членения. В этой связи не удивительно, что традиционная грамматика (не осознавая своих границ) считает разговорную речь хаотичной и неорганизованной: «Если разговорная речь и имеет свои нормы... — то это такие нормы, которые складываются стихийно, ... разговорная речь, безусловно, противостоит всем функционально-речевым стилям уже в силу своей "неорганизованности"» [18]. В стилях и разновидностях языка разворачивается (обнажается) то, что традиционной грамматике известно лишь в качестве сверток. Поэтому различные формы разговорной речи отражают этапы становления языка [19]. Притом, если эти формы брать "в оригинале" (а не только через отражение в художественных произведениях — что, конечно, необходимо, но может требовать корректировки), то по ним можно изучать не только предшествующие состояния языка, но и саму предысторию, поскольку в разговорной речи "ситуация является полноправной составной частью акта коммуникации, она вливается в речь" [20].

Стадии I—II и VI—современность имеют принципиальные особенности. Формально образование слогового ритма, прослеживающееся на примере перехода от междометий типа *aaa!* (с колебанием голоса) [8, с. 7] через *ohoo!* (материализация ритмического спада в виде появления согласной) [8, с. 71] к типу *vauvauva!* [8, с. 76], также является возникновением модуляции непосредственно звуковых физических колебаний, которые (последние), однако, не соотносятся сами по себе с социальной сферой. Принципиальная особенность стадии I—II заключается в формировании первого социально значимого ритма. Одновременно должны были формироваться и все другие просодические параметры, которые, как известно, имеют и универсальные, и отличительные черты. Очевидно, в отличительных чертах скрыта первопричина дальнейших особенностей языковых семей, которые для алтайско-уральского праязыка выразились в наличии 1) гармонии гласных, 2) закона предшествования определения определяемому (последнее как особенность свертки, т.е. не для всех типов речи) [21, с. 113].

Гармония гласных является следствием, непосредственным современным проявлением того, что на стадиях возникновения и оформления тактемы (слова) — II—III и III—IV — элементы существовали в форме самоповтора (см. выше). При отсутствии достаточной дифференциации фонем относительная стабильность качества гласного неизбежно зависит от его воспроизведения в ряде соседних слогов. При этом имеется довольно широкая полоса вариативности реализаций дифференциальных признаков, которые обладают скорее вероятностными, чем точными характеристиками. Повторы элементов различных уровней и повторы с вариативными изменениями весьма распространены в современной разговорной, и в частности, турецкой речи. Они могут рассматриваться как рекапитуляции древних состояний. Аналогично отголоски древних состояний недифференцированности гласных отмечались в азербайджанских диалектах, что позволило Л. Йогансону ввести так называемую ступень недифференцированности в эволюции лабиальной гармонии [22]. Действие закона гармонии гласных в словообразовании и словоизменении является, по сути, продолжением тех же закономерностей самоповтора, но уже на стадиях IV—V

<sup>4</sup> Каждая грамматика разворачивается в своей речевой сфере, что не только не нарушает, но, наоборот, определяет единство языка.

и V—VI. При стяжении двух отдельных тактов в одну закон самоповтора проявляется как меньшая вероятностная устойчивость определенных дифференциальных признаков — например, ряда и лабиальности, что в конце концов и приводит к тем уподоблениям, которые мы наблюдаем в виде аффиксальных законов гармонии гласных

Универсальный характер II—III стадии выражается в том, что в различных языках "местоимения не располагают системой аффиксального словообразования" [23], которая начинает формироваться лишь на IV—V стадии. Особенностью же алтайско-уральского праязыка является формальная близость местоимений 1 и 2 лица ед. числа [21, с. 113], что гораздо показательнее любых других этимологических сопоставлений корней, поскольку последние образовались на более поздних стадиях. "Справедливо считается, что они (местоимения 1 и 2 лица. — *Щ Ю*) относятся к наиболее древнему пласту тюркской лексики и восходят если не к прототюркской, то во всяком случае к пратюркской эпохе" [24, с. 202]. Требование доказательности и взвешенности выводов (ср. оговорку "если не к прототюркской"), безусловно, оправданы. Вместе с тем сама методология доказательности нуждается в постоянном развитии. Если методологии реконструкции процессов, охватывающих десятки и сотни тысяч лет, ограничивать исключительно лишь теми подходами, которые сложились в традиционной исторической лингвистике, оперирующей сотнями и тысячами лет, то алтайская гипотеза никогда не будет решена. В пользу того, что в данном случае можно говорить не только о прототюркской эпохе, но и об эпохе алтайско-уральского праязыка, свидетельствует мнение ряда ученых о самой возможности сохранения форм на протяжении многих десятков тысячелетий [25 с. 14], о том, что личные местоимения 1 и 2 лица сохранились, например, в каждой ветви америндской семьи спустя 14 тыс лет [25, с. 15], а также выводы Дж. Гринберга о двух типах конкретных маркеров личных местоимений 1 и 2 лица ед. числа в языках мира и возможности на этой основе выделить две глобальные языковые ветви [26]. Генетическое родство алтайско-уральских народов, сомнение в котором высказывал Й. Бенцинг [27], подтверждается дерматоглифическими данными, по которым киргизы, казахи, каракалпаки, манси, ханты, лопари, орочи, удэгейцы относятся к монголоидным популяциям [28]. Этногенез и языковое родство, конечно, являются отдельными вопросами, которые не следует смешивать. Вместе с тем правомерно "по крайней мере, теоретически сравнивать филогенетическое древо человеческого рода, основанное на лингвистических данных, с аналогичным построением на основе биологических данных" [25, с. 17].

Стадия VI — современность принципиально отличается от предыдущих тем, что на высшем уровне композиль (сверхфразового единства) происходит постепенный отход от ритмического принципа организации речи (письменность)<sup>5</sup>. Это означает переход к совершенно другой грамматике, поскольку письменность является не чем иным, как новым типом выражения синтаксических связей, не похожим на все предыдущие. Обобщенно-предикативная связь в современном языке есть нечто принципиально иное по сравнению с традиционно понимаемыми предикативными отношениями, которые уже давно образуют свертку и относятся к обобщенно-атрибутивным. Этот момент отражается, например, в рассмотрении отношения между подлежащим и сказуемым в турецком языке как разновидности атрибутивно-определятельной связи [29] или в "признаках текста в качестве высшего элемента коммуникации" [30]. Традиционная лингвистика по своей центральной проблеме предикации и коммуникации отражает не фактическое, современное состояние языка, а то, которое имело место на стадии V—VI, т.е. несколько тысячелетий назад.

Как уже отмечалось, обобщенно-предикативная связь есть переход от сопо-

<sup>5</sup> Хотя небольшие по объему композиции так и имеют в своем составе элементы ритмической организации

ложения элементов, вызванного изменяющейся реальностью, к первой фиксации такого соположения обобщенно-сочинительной связью. Это имеет место и в грамматике письменности, где элементы, однако, уже не являются ритмическими. В исследованном тексте (см. приложение) ритм высшего уровня имеют мелодемы. Для первой фразы приблизительно изохронными могут считаться мелодемные динамические максимумы (двойная тактовая черта), приходящиеся на слова: *kurmay, ilişkiler, Lefkoşe'nin, Meriç, önemli, kurtarıldığını* (с переходом во вторую фразу) *deniz* с расстоянием соответственно (в с.): 2,74; 2,73; 3,42; 3,0; 3,14; 2,6 (имеющиеся отклонения вызваны колебаниями темпа). Другие (промежуточные) максимумы либо несколько сдвинуты, либо имеется синкопирование или, наоборот, дробление мелодемных тактов. Максимумы (интегральная интенсивность первого, ударного слога мелодемного такта в условиях единицах — см.) в целом близки к 40, хотя имеются и элементы модуляции (*deniz* в мелодеме 2.2 — 60, *Timbu* в 4.5 — 51 или в сторону уменьшения: *kurtarıldığını* в 1.8 — 19, *destekledikleri* в 2.6 — 19 и др.). Элементы ритма интонационного и композиционного уровня наблюдаются (должны быть рассмотрены отдельно), но все же основополагающим синтаксическим показателем становится сама письменная фиксация, а ритмическая организация на композиционном (текстовом) уровне уже оказывается невозможной. Если на любом другом уровне принципиальная аритмичность неизбежно означает случайно-хаотичный характер соположения, то для письменной фиксации (и текста, зачитываемого по бумаге) аритмия (переходящая в возможность передачи текста по частям с любыми временными интервалами, возможность отвлечься, вернуться повторно к предыдущему и пр.) вовсе не нарушает стабильности связей. Поэтому именно письменная фиксация и/или строго основывающееся на ней аритмичное соположение во времени выступает выразителем обобщенно-сочинительной связи и собственно предикативных отношений на современной стадии языка. Принципиально иным становится и характер свертывания, т.е. обобщенно-атрибутивной связи, которая в современном языке лежит в основе гиперэлементов (текстового уровня). Прежде всего это макроподлежащее и макросказуемое (или гиперподлежащее и гиперсказуемое).

Исследовавшийся текст организуется вокруг двух гиперэлементов — макроподлежащего и макросказуемого, выделяется также фраза-ядро уровня интоны (предложения). Макроподлежащее имеет общеноминативный характер — передает точно и строго (со ссылкой на источник: мелодемы 1.1 и 1.2, а также интоны 3) имевшие место события. Макроподлежащее строится на повторе (почти дословном): а) мелодемы 1.3—1.7 и 4.4—4.6, б) 2.2—2.6 и 5.1—5.2, в) 1.8 и 6.3—6.4. Макросказуемое имеет ярко выраженный общемодальный характер, связанный с резко отрицательной эмоциональной оценкой фактов прошлого. Оно охватывает мелодемы 6.1—6.2 и интоны 7 и 8. Мелодемы в макросказуемом отличаются краткостью, как бы большей обособленностью, часто совпадая с такемой (словом): 6.1; 7.2; 7.3; 7.8 или имея вид, близкий к простому нераспространенному предложению: 8.2—8.5. Макроподлежащее и макросказуемое объединены аритмичной (основанной на письменной фиксации) обобщенно-сочинительной связью, при этом макроподлежащее предшествует макросказуемому. Текст завершается фразой-ядром (или связкой): 9, где в концентрированной и эмоционально-напряженной форме подчеркивается результат и суть произошедшего, фиксируется изменившееся положение вещей. Очевидно, что в дальнейших текстах, связанных с тематикой данного, обобщенная предикация будет иметь какую-то другую направленность, а то новое, что имеет общемодальную окраску в данном тексте, будет изложено в виде свертки. Свертывание (переход от обобщенно-сочинительной связи к связи обобщенно-атрибутивной) в современном языке сопряжен с заменой общемодальных (эмоциональных) начал на начала общеноминативные (строгая, рациональная передача информации). Важно подчеркнуть, что современный гиперэлемент, построенный на



Рис. 4

обобщенно-атрибутивной связи (свертке), является аналогом слова (макрословом), поскольку органично продолжает тот процесс, который намечен осью развития тактем на рис. 3. Внешняя же несхожесть (состоит из многих собственно слов, занимающих значительные промежутки речи) вызвана лишь отмеченными принципиальными отличиями современной формы выражения связи.

Традиционные предикативные связи оформлены в виде а) интонаемы распространенного полипредикативного предложения: 1 4, 5, 7, б) интонаемы простого предложения (с однородными членами): 8, и в) мелодемы: 3.3; 6.4; 9.2, и г) тактемы: 2.6, при этом последние случаи "в" и "г" аналогично примеру на рис. 1 иллюстрируют асимметрию между традиционными предикативными категориями и интонацией. Как и интонаемы (предложения) внутри макроподлежащего и макросказуемого, группы мелодем, образующие зоны подлежащего и сказуемого во фразах "а", соединены ритмичной обобщенно-атрибутивной связью (являются свертками, основывающимися на письменной фиксации). Так, последовательности мелодемных максимумов упомянутых зон, образуя по силе несколько относительно монотонных вершин, не могут служить ритмическому взаимному выделению или объединению этих участков как целостных элементов<sup>6</sup>. В интонаеме 8 каждому из четырех однородных сказуемых соответствует своя мелодема, и, хотя мелодема группы подлежащего двуударная (выделение дополнительным мелодемным максимумом слова *yüzlerce*), соединение традиционно-предикативных членов имеет явно обобщенно-атрибутивный вид (рис. 2а, 3): динамическая вершина на подлежащем — 41 и меньшие вершины на мелодеме каждого сказуемого — 31, 36, 30, 30. Соединение подлежащего и сказуемого в одной мелодеме ("в") и одной тактеме ("г") следует рассматривать как ритмическое свертывание высших порядков.

Во всех случаях интонаемного оформления ("а" и "б") подлежащее стоит в конце мелодемы, которая отделяется паузой. Можно сказать, что правило отделения паузой дистантного подлежащего в турецком языке [31] связано с его конечным положением в мелодеме. Этот момент обусловлен законом предшествования определения определяемому, который имеет основание в ритме. Обобщенно-атрибутивная связь имеет два варианта: рис. 2а, 3 слева и справа. В результате первого свертывания происходит ослабление выделенности как общеноминативного элемента, так и (при удлинении цепочек и росте смысловой нагрузки обобщенного контекста) общемодального. При соединении (стадия III—IV) таких общеноминативно-выделенных и общемодально-выделенных цепочек в обобщенном предложении происходит их прерывание по общеноминативной модели: ... *At, bin, At* или общемодальной: ... *Gel, yavrum, Gel*. Такое прерывание приводит в дальнейшем к тюркскому типу словесного ударения. Прерывание же первой цепочки на *bin*, а второй — на *yavrum* дает принципиальную схему зарождения ударения другого типа<sup>7</sup>. Свертывание второго порядка (стадия IV—V, собственно атрибутивная связь) дает рис. 4. Простейшая

<sup>6</sup> Хотя следы ритмического выделения или объединения можно выявить в виде огибающей, если выбрать наиболее выдающиеся максимумы (косой чертой отделены зоны подлежащего и сказуемого): фраза 1 — 45, 41 / 46, 46, 50; фраза 4 — 43, 45 / 51, 41; фраза 5 — 44, 37, 24 / 38, 43, 28, 27; фраза 7 — 39, 44, 39, 38, 35 / 45, 42, 23. Если по указанным максимумам вычертить огибающую, то получатся линии с двумя (фразы 1, 5, 7) или с одной (фраза 4) вершинами.

<sup>7</sup> Из сказанного не следует делать вывод о расхождении языковых семей на IV стадии, так как затрагиваемые различия касались сферы функционирования в речи (обобщенного контекста). Собственно акцентная система сложилась в результате сложных процессов дальнейшего многоступенчатого свертывания на каждой из последующих стадий.

интонаема имеет лишь две вершины, поэтому варианты в скобках невозможны (появление лишней вершины, отмеченное стрелкой)<sup>8</sup>. Что же касается нормативно-письменного порядка следования подлежащего и сказуемого, то на нем сказывается последствие прерывания по общемодальной модели.

Как уже отмечалось, связь зон подлежащего и сказуемого во фразах "а" опирается на письменную фиксацию, поэтому интонационное выражение этой связи ослаблено: имеется лишь пауза, а на само подлежащее в предложениях 1, 4, 5 мелодемное ударение не падает. Все связи более низкого уровня являются ритмическими обобщенно-атрибутивными. Дистантные субъекты, выраженные род.п., в 1.3 и 2.2 выделены паузой и мелодемными ударениями, приходящимися на показатель род.п. Дистантные элементы посессивного изафета в 1.8a (*Kıbrıs'ın... merkezi*), 1.8b (*Sevdarlı'nın kurtarıldığı*), как и контактные в 2.4; 1.4 (определяемая часть составляет одну тактему, см. ниже) объединены в одной мелодеме. В случае 1.8a связь дистантного определения с определяемым подчеркивается одинаковой размерностью ( $\frac{5}{4}$ , хотя в определяемом такт с этой размерностью начинается после аффикса принадлежности), а в случае 1.8b весь изафет объединен постоянством ритма ( $\frac{1}{4}$ ) и темпа ( $\downarrow = 100$ ,  $\downarrow = 105$ ). В случаях 2.3 и 2.4 имеется разновидность ритмического объединения (соответственно  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{2}{4} + \frac{3}{4}$  и  $\frac{2}{4} + \frac{3}{4} + \frac{3}{4}$ ,  $\frac{5}{4}$ ). Изафет 1.4 совмещен с мелодемой и имеет постоянство темпа ( $\downarrow = 108$ ,  $\downarrow = 101$ ). Изафеты 3.2—3.3 (...*Şubesi'nin... açıklamaları*) и 5.1—5.2 (...*Kuvvetlerimiz'in... işbirliği*) объединены ритмически: в первом случае размерность  $\frac{3}{4}$ , во втором — сочетание размерностей  $\frac{3}{4} + \frac{4}{4}$ ,  $\frac{3}{4} + \frac{2}{4}$  ( $\frac{2}{4}$  и  $\frac{4}{4}$  кратны, т.е. минимально отличны). Один посессивный изафет — 6.1 — объединен в тактеме (*insafına* не имеет тактовой черты), что является примером свертывания более высокого порядка.

Одноаффиксные изафеты 2.2; 4.6 объединены размерностью и темпом. Изафеты 1.6; 1.7; 1.8 (*yerleşme merkezi*); 4.5b (*hava alanı*); 5.1 (*hava kuvvetleri*), а также сочетание ...*ilişkiler şubesi* в 1.2 и 3.2 объединены размерностью (в 1.2 —  $\frac{5}{4}$ , в 3.2 —  $\frac{3}{4}$ ). Переходными к тактевному объединению являются случаи, когда начала тактов приходится на края словосочетания (которое оказывается почти в одном такте, т.е. объединяется размерностью и темпом); 1.7; 3.1; 4.5a (*Timbu ilçesi*); 4.5b; 6.3. Следующей ступенью свертывания словосочетания в тактему выступают одноаффиксные изафеты в 1.4; 2.4; 7.10, где определение (первый элемент) не имеет тактовой черты, которая оказывается смещенной на соседний элемент. Безаффиксный изафет в 8.1 объединен ритмом ( $\frac{2}{4}$ ), в нем, как и в предыдущих трех случаях, ударение падает на определяемое. Ударное определяемое имеют также: *yakın işbirliği* (5.2), *askerî harekât* (5.2), *kendi olanak* (7.6) (ср. цифры над тактовой чертой). Однако модель рис. 4 отражает лишь простейшее состояние интонаемы и атрибутивного словосочетания. В сложной ритмике современной речи она обычно нарушается: во всех других посессивно-изафетных дистантных (2.3; 5.1), контактных (1.4; 2.4; 6.1), одноаффиксных изафетных (возможная большая ударность падежного окончания в определяемом не учитывалась) [1.1; 1.2 и 3.2; 1.5 и 4.5; 1.6 и 4.5; 1.7 и 4.6; 1.8 и 7.10 (*yerleşme merkezi*); 2.2 и 5.1; 2.3 (*kara birlikleri*); 3.1; 6.3 (*Türk sancağı*)] и содержащих прилагательное [1.8; 3.1 (*Genel... Başkanlığı*); 5.4; 5.5; 7.1 (*her olay*)] или причастие [5.3 (*yapılmış olan plan*); 6.2] словосочетаниях ударным является первый элемент. В случаях *geneî kurmay*, *genel sekreterlik* (1.1), *ileri harekât* (2.3) и *büyük bir başarı* (2.6) ударность близкая или равная. Ударность первого элемента

<sup>8</sup> Для двусложного номинативного элемента аналогично — его первый слог будет сильнее последнего в определении: *Türk bolge*.. (2.4). В интонаеме с двумя главноударными центрами (общемодальной в постпозиции) постпозиция обеих зависимых ритмических групп дала бы тип: *At bin Gel yavrum*, что невозможно (см. в тексте статьи). Если же одна группа в пре-, а другая в постпозиции, то нарушается изохронность главных ударений — стечение групп внутри или необходимость разрывающей интонаеме паузы (если обе группы снаружи). Таким образом, возможна лишь их пре-позиция.

свертки привела, очевидно, к особенностям ударения в именах собственных (ср. сильно ударные *Meriç, Timbu*) и, с другой стороны, указывает на возможность альтернативных путей формирования словесного ударения, словосочетаний и закономерностей порядка слов.

Аналогичны рассмотренным выше другие ритмические объединения определительных сочетаний — прилагательных (I) и причастий (II):

I. Ритм + темп: 1.1 (*Genel Kurmay*); 2.6 (*büyük bir başarı*); ритм: 1.8 (*önemli*); 3.3 (*konudaki*); 5.2 (*askerî*); 5.4 (*tam bir*). Возможно объединение общим ритмом с вставкой такта другой размерности: 3.1 (*genel... liği*); 7.1 (*Kibrîstaki*). Интересен дистантный случай *Kibrîstaki* в 7.8, где имеется схожее сочетание размерностей ( $\frac{2}{4} + \frac{3}{4}$ ,  $\frac{2}{4} + \frac{2}{4} + \frac{3}{4}$ ); кратный ритм: 2.3 (*ileri harekâtî*); 5.5 (*her istikamet*).

II. Ритм: 1.8 (*olan*); 5.2 (...mekte olan); 5.3 (...muş olan).

I. Смещенность тактовых черт к краям сочетания: 1.1 (*genel sekreterliği*); 5.5 (*her istikamet*).

Объединение одной тактемой: I — 5.2 (*yakın*); 7.6 (*kendi*); II — 4.3; 5.3.

Слово *kendisi* соединяется с глаголом кратным ритмом (8.2; 8.4) и раздвижением такта (8.3).

Связь дополнения, оформленного падежом или послелогом, с глаголом (отглагольной формой) может оформляться кратной размерностью: 8.2; 2.6; одинаковой размерностью: 6.2; одинаковой размерностью с вставкой: 6.1; постоянством темпа: 7.7; тактемой связью: 8.5 (*korudu* не имеет ударения). Тактемой (совпавшей здесь с мелодемой) оформлено сочетание *yüzü aşkın* (7.9). Тактемой связью присоединяются союзы, частицы, местоимения, *bir*. При этом они могут как нести, так и не нести ударение.

## ВЫВОДЫ

Случаи асимметрии между формальной и интонационной выраженностью синтаксических связей, имеющие распространение в сфере разговорной речи, приводят, с одной стороны, к проблеме выявления системы интонологических единиц, лежащих в основе собственно интонационного способа выражения связей, и, с другой, к проблеме границ применимости традиционных грамматических категорий, за пределами которых оказываются обнаженными более древние и качественно другие состояния языка.

В основе системы интонологических единиц лежит суперпозиция ритмов, важнейшими из которых выступают динамические максимумы гармонем, тактемы и мелодемы (соотносятся со слогами, словами и синтагмами соответственно). Выявление интонологических единиц как формальных показателей нового типа служит конкретной основой для выхода из сферы традиционных грамматических категорий и определения категорий обобщенной грамматики, охватывающей любые состояния, этапы эволюции и функциональные разновидности языка. Центральными представляются категории обобщенно-предикативной и обобщенно-атрибутивной связи. Первая возникает при переходе от ранее не соотносившихся друг с другом элементов к их первому взаимному соотношению в виде обобщенно-сочинительной связи равной выделенности. Равная интонационная выделенность по самой своей сути характеризуется отсутствием ритма более высокого уровня и потому на каждом этапе развития принадлежит к соответствующему наивысшему уровню эволюционирующей языковой системы. Сущность же предикации (ее "план содержания") заключается в снятии постоянно возникающего противоречия между сложившейся к данному времени системой языка и изменяющейся реальностью. Обобщенно-атрибутивная связь выступает как результат процесса свертывания, который заключается в том, что

<sup>9</sup> В монгольском языке с законом предшествования определения определяемому сочетается иная словесно-акцентная система [32].

возникновение ритма следующего, более высокого уровня на уровне данных элементов проявляется в их неравной интонационной выделенности. Имеющаяся при этом интонационная подчиненность одного элемента другому приводит к качественно более высокой степени их скрепленности, единства. Обобщенно-атрибутивные связи, или свертки, являются формой интериоризации и хранения в системе языка социального опыта.

Формирование каждого последующего уровня ритма, а с ним и фундамента соответствующих интонологических и традиционно-языковых единиц сопряжено со свертыванием не только на непосредственно предыдущем, но и на всех лежащих ниже уровнях, что связано с понятием порядка свертывания (свертка первого, второго и т.д. порядка). Свертки высших порядков характеризуются дальнейшим качественным повышением единства и синтеза входящих в них элементов. Как интонологические, так и традиционно-языковые единицы во всей полноте их конкретно-формальных показателей являются не чем иным, как результатом процессов многопорядкового свертывания. За уровневой иерархией языковых единиц стоит шесть весьма продолжительных этапов языковой эволюции, на каждом из которых действовала своя система грамматических категорий, принципиально отличная от известных категорий традиционной грамматики.

Современный этап характеризуется тем, что на формирующемся высшем уровне композемы (текста) связь между макрокомпонентами организуется уже не на принципе речевого ритма, а на письменности, которая сама по себе выступает в качестве важнейшего показателя синтаксических связей. На более низких уровнях интономы (частично), мелодемы, тактемы и гармонемы ритмическая организация этих единиц играет, наряду с традиционными формальными показателями, определяющую роль в выражении синтаксических связей при устной реализации текстов письменной функциональной разновидности.

Как следует из проведенного анализа, "ритмико-слоговой" аспект отвечает не только "за удобство произнесения" [33; 24, с. 50] — интонология лежит в основе всех без исключения как фонологических (на рис. 3 лишь намечено), так и прочих системных закономерностей языка. "Формирование языковых семей происходило, по мнению большинства советских и зарубежных ученых, в эпоху разложения первобытного общества" [34]. Но в эту эпоху происходили процессы свертывания четвертого (для фонем), третьего (для слов), второго (для словосочетаний) и первого (для предложений) порядка, т.е. формировался лишь самый внешний, конкретно-поверхностный край айсберга праязыка, который целиком дан в системе сверток каждого современного языка и продолжает жить в виде функционально-стилевых рекапитуляций. "Мы лишены возможности набросать историческую картину становления речи на основе письменных памятников" [35]. Однако мы можем не только набросать, но и изучить ее на основе интонологии.

ПРИЛОЖЕНИЕ

43	1570	29	29	1170	36
I.1 Genel Kurmay Genel Sekreterliği	45	41	41	I.2 Basın Yayın ve Halkla	
2/4 J=128	2/4 J=120	2/4 J=142	2/4 J=280	2/4 J=160	2/4 J=104
13	1750	20	40	980	1220
İlişkiler Şubesi	23	46	I.3 birliklerimizin	46	I.4 Lefkoşe'nin Güney
4/4 J=82	2/4 J=102	2/4 J=122	2/4 J=126	2/4 J=220	2/4 J=108
					2/4 J=101
23	2200	27	25	24	18
Doğusundaki	46	I.5 Timbu ilçesiyle	46	I.6 hava alanını	I.7 ve
3/8 J=205	2/4 J=125	2/8 J=192	2/4 J=140	2/4 J=98	2/4 J=122
					2/4 J=115
3010	24	18	16	26	660
Meriç bölgesini ele geçirdiklerini	50	I.8 Kıbrıs'ın önemli yerleşme	35	24	1060
4/4 J=172	2/4 J=55	2/4 J=77	2/4 J=82	2/4 J=172	2/4 J=120
					2/4 J=135
					2/4 J=195
15	22	1420	28	16	13
merkezlerinden biri olan Sevdarlı'nın da kurtarıldığını açıkladı.	30	30	19	19	9
2/4 J=150	2/4 J=107	2/4 J=88	2/4 J=150	2/4 J=100	2/4 J=105
					2/4 J=126
					2/4 J=126
13	34	1060	19	17	1140
2.I Açıklamada	60	2.2 Deniz ve Hava Kuvvetlerinin	27	2.3 Kara bir-	19
2/4 J=100	2/4 J=167	2/4 J=113	2/4 J=113	2/4 J=126	2/4 J=132
					2/4 J=122
3000	21	20	13	21	21
liklerimizin ileri hareketini	35	35	35	35	35
2/4 J=185	2/4 J=113	2/4 J=123	2/4 J=130	2/4 J=162	2/4 J=162
2070	29	27	19	15	1560
lerinin savunmalarını	20	20	24	24	23
2/4 J=125	2/4 J=130	2/4 J=68	2/4 J=120	2/4 J=75	2/4 J=136
					2/4 J=105
					2/4 J=105
21	12	2090	19	1370	24
başarıyla destekledikleri belirtildi.	19	40	40	40	40
2/4 J=85	2/4 J=98	2/4 J=70	2/4 J=150	2/4 J=200	2/4 J=200
					2/4 J=200

2380

21 40 18 17 17 15  
 □ 3.2 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şubesinin □ 3.3 bu konudaki  
 $\left| \frac{2}{4} \right. \text{J}=190 \left| \frac{4}{4} \right. \text{J}=155 \left| \frac{3}{4} \right. \text{J}=77 \left| \frac{3}{4} \right. \text{J}=86 \left| \frac{3}{4} \right. \text{J}=170 \left| \frac{3}{4} \right. \text{J}=153$

2740 870 790  
 7 18 15 20 43 24 28 27  
 açıklamaları □ söyle. □ 4.I Rumlar tarafından 4.2 tahkim edilen  
 $\left| \frac{3}{4} \right. \text{J}=100 \left| \frac{2}{4} \right. \text{J}=110 \left| \frac{2}{4} \right. \text{J}=100 \left| \frac{2}{4} \right. \text{J}=185 \left| \frac{2}{4} \right. \text{J}=160 \left| \frac{4}{4} \right.$

1580 1450 19  
 45 23 13 26 26  
 ve mayınlanan sahaları 4.4 temizleyerek geçen birliklerimiz □  
 $\text{J}=117 \left| \frac{2}{4} \right. \text{J}=182 \left| \frac{2}{4} \right. \text{J}=160 \left| \frac{2}{4} \right. \text{J}=175 \left| \frac{2}{4} \right. \text{J}=203 \left| \frac{4}{4} \right. \text{J}=210$

1880 1150  
 21 26 24 24 41 30 27 19  
 4.5 Tımbu ilçesini ve hava alanını □ 4.6 Meriç bölgesini ele geçir-  
 $\left| \frac{2}{4} \right. \text{J}=120 \left| \frac{2}{4} \right. \text{J}=123 \left| \frac{2}{4} \right. \text{J}=86 \left| \frac{2}{4} \right. \text{J}=78 \left| \frac{2}{4} \right. \text{J}=175 \left| \frac{2}{4} \right. \text{J}=170 \left| \frac{2}{4} \right. \text{J}=85$

2100 1080 1770  
 21 41 44 18 20 37  
 mışlardır. □ 5.I Kara □ Deniz □ ve Hava Kuvvetlerimizin □  
 $\left| \frac{4}{4} \right. \text{J}=160 \left| \frac{4}{4} \right. \text{J}=92 \left| \frac{3}{4} \right. \text{J}=86 \left| \frac{3}{4} \right. \text{J}=150 \left| \frac{4}{4} \right. \text{J}=142$

1750  
 29 25 22 20 24 15 20 26  
 5.2 yakın işbirliğiyle yürütülmekte olan askerî hareket □ 5.3 yapıl-  
 $\left| \frac{2}{4} \right. \text{J}=110 \left| \frac{2}{4} \right. \text{J}=110 \left| \frac{2}{4} \right. \text{J}=62 \left| \frac{2}{4} \right. \text{J}=113 \left| \frac{2}{4} \right. \text{J}=156 \left| \frac{4}{4} \right. \text{J}=88 \left| \frac{4}{4} \right. \text{J}=165 \left| \frac{2}{8} \right. \text{J}=180$

1080 1160 1910  
 38 35 43 27 26 28 24 21  
 mış olan plana □ 5.4 tam bir intibakla □ 5.5 her istikamette uy -  
 $\left| \frac{3}{4} \right. \text{J}=160 \left| \frac{5}{4} \right. \text{J}=120 \left| \frac{3}{4} \right. \text{J}=90 \left| \frac{3}{4} \right. \text{J}=153 \left| \frac{3}{4} \right. \text{J}=140 \left| \frac{4}{4} \right. \text{J}=122 \left| \frac{2}{4} \right. \text{J}=135$

4460 1970  
 20 27 39 42  
 gulanmakta □ 5.6 ve gelişmektedir. □ 6.I Yıllardır □ Rumların  
 $\text{J}=77 \left| \frac{6}{4} \right. \text{J}=153 \left| \frac{6}{4} \right. \text{J}=192 \left| \frac{6}{4} \right.$

1100 2070  
 29 14 28 26 20 33 33  
 insafına bağlı olarak □ 6.2 kuşatılmış durumda yaşayan □ 6.3 Sev-  
 $\text{J}=170 \left| \frac{2}{4} \right. \text{J}=83 \left| \frac{6}{4} \right. \text{J}=117 \left| \frac{2}{4} \right. \text{J}=93 \left| \frac{4}{4} \right. \text{J}=92 \left| \frac{4}{4} \right. \text{J}=112 \left| \frac{2}{4} \right.$

2420  
 31 24 36 47 13 36  
 darlı Türk sancağıyla □ 6.4 birliklerimiz birleşmiştir. □ 7.I Kıb-  
 $\text{J}=176 \left| \frac{4}{4} \right. \text{J}=162 \left| \frac{4}{4} \right. \text{J}=107 \left| \frac{3}{4} \right. \text{J}=153 \left| \frac{4}{4} \right. \text{J}=137 \left| \frac{4}{4} \right.$

1420 28 39 1750 43 31  
 rıs'taki her olayda  $\square$  7.2 yiyecekten  $\square$  7.3 içecekten  $\square$  7.4 il-

1260 740 780  
 actan yoksun bırakılan  $\square$  7.5 yokluklar içinde  $\square$  7.6 kendi ola -

2050 1150 1430  
 naklarıyla  $\square$  7.7 kendilerini savunan Sevdarlı  $\square$  7.8 Kıbrıs'taki

$\square$  7.9 yüzü aşkın  $\square$  7.10 gazi yerleşme merkezlerinden birisidir.

$\square$  8.1 Yüzlerce gazi keht  $\square$  8.2 silahını kendisi yaptı  $\square$

8.3 mermisini kendisi yaptı  $\square$  8.4 eğitimini kendisi yaptı  $\square$

8.5 varlığını ve Türklüğünü korudu.  $\square$  9.1 Şimdi Sevdarlı'da  $\square$

9.2 Mehmetler  $\square$  hasretle kucaklaşıyorlar

1. Отдел прессы, изданий и отношений с населением Аппарата главного секретаря Генерального штаба сообщил, что наши войска захватили волость Тимбу, находящуюся на юго-востоке от Никозии, аэродром и район Мерич и что освобождено Севдарлы, являющееся одним из важных населенных пунктов Кипра. 2. В сообщении указывается, что военно-морские и военно-воздушные силы постоянно и с большим успехом поддерживали продвижение наших сухопутных сил и оборону окруженных турецких районов. 3. Соответствующие сообщения Отдела прессы, изданий и отношений с населением Аппарата председателя Генерального штаба следующие. 4. Наши войска, которые продвигались, очищая укрепленные и заминированные греками районы, захватили волость и аэродром Тимбу, район Мерич. 5. Боевые операции, проходящие при тесном взаимодействии наших сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил, осуществляются в полном соответствии с имеющимся планом и развиваются по всем направлениям.

6. Наши подразделения воссоединились с турецким санджаком Севдарлы, который долгие годы был отдан на милость грекам и жил в их окружении. 7. Севдарлы, который при всех событиях на Кипре оставался без продуктов, водоснабжения и лекарств и который в условиях нехватки защищал себя своими силами, является одним из свыше ста героических населенных пунктов Кипра. 8. Сотни героических городов сами изготовляли оружие, сами готовили боеприпасы, сами обучались его использованию; они обеспечили свое существование и сохранили свою турецкую принадлежность. 9. Сейчас в Севдарлы Мехмеды с тоской обнимают друг друга.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Русская грамматика. Т. 2. М., 1982. С. 634.
2. Розенталь Д.А., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. М., 1976.
3. Виноградов В.В. Избр. труды. Исследования по русской грамматике. М., 1975.
4. Шека Ю.В. Гармонема и тактема как интонологические единицы и их особенности в турецкой разговорной речи // ВЯ. 1989. № 5.
5. Шека Ю.В. Роль речевого ритма в актуальном членении турецкой разговорной фразы // Вестн. МГУ. Востоковедение. 1987. № 4. С. 71.
6. Шека Ю.В. Паузация предложения и сверхфразового единства при устной реализации письменной функциональной разновидности турецкого литературного языка // СТ. 1991. № 4.
7. Bolinger D. Around the edge of language: intonation // Intonation. Selected readings / Ed. by Bolinger D. Harmondsworth, Midd'x, 1972. P. 19.
8. Ихмалян Ж.Г. Междометия и междометные выражения в турецком языке. М., 1977.
9. Kemal O. Devletkuşu. Istanbul, 1958.
10. Kemal O. Arkadaş ışıkları. Ankara, 1972.
11. Шека Ю.В. Связь текста посредством нулевого члена в турецкой разговорной речи // СТ. 1988. № 2. С. 36.
12. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания. М., 1975. С. 131—132.
13. Тютчев Ф.И. Стихотворения. Л., 1953. С. 127.
14. Библер В.С. Идея культуры в работах Бахтина // Одиссей. М., 1989. С. 32.
15. Гегель Г. Феноменология духа. СПб., 1913. С. 49.
16. Баскаков А.Н. Теоретическая грамматика турецкого языка. М., 1983. С. 104.
17. Ивановна-Лукьянова Г.И. Суперсегментная фонетика в функционально-стилистическом аспекте // Грамматические исследования. Функционально-стилистический аспект. М., 1989. С. 34.
18. Шмелев Д.Н. Функционально-стилистическая дифференциация языковых средств // Грамматические исследования. Функционально-стилистический аспект. М., 1989. С. 16.
19. Шека Ю.В. Принципы истории языка. Тюркология-88: Тез. докл. и сообщ. V Всесоюзной тюркологической конференции (7—9 сентября 1988 г.). Фрунзе, 1988. С. 75.
20. Земская Е.А. Разговорная речь и функциональные стили кодифицированного литературного языка. М., 1973. С. 19.
21. Aksan D. Her yönüyle dil. С. 1. Ankara, 1979. S. 113.
22. Johanson L. Linguistische Beiträge zur Turkologie. Вр., 1991. S. 33.
23. Ермакова О.П. Семантика, грамматика и стилистическая дифференциация местоимений // Грамматические исследования. Функционально-стилистический аспект. М., 1989. С. 153.
24. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Морфология. М., 1988.
25. Рулен М. Происхождение языка: ретроспектива и перспектива // ВЯ. 1991. № 1.
26. Greenberg J.H. Language in the Americas. Stanford, 1987. P. 55.
27. Benzing J. Einführung in das Studium der altaischen Philologie und der Türkologie. Wiesbaden, 1953. S. 3.
28. Хить Г.Л., Долинова Н.А. Расовая дифференциация человечества. М., 1990. С. 34—35, 195, 197.
29. Дмитриев Н.К. Турецкий язык. М., 1960. С. 70.
30. Анисимова Е.Е. Коммуникативно-прагматические нормы // ФН. 1988. № 6. С. 64.
31. Gençan T.N. Dil bigisi. Ankara, 1979. S. 564, 565.
32. Poppe N. Khalkha-mongolische Grammatik. Wiesbaden, 1951. S. 19, 98.
33. Барулин А.Н. Некоторые теоретические проблемы словоизменения турецкого существительного // Проблемы языков Азии и Африки (Фонетика, морфология, синтаксис, семантика). М., 1979. С. 20.
34. Редер Д.Г., Черкасова Е.А. История древнего мира. Ч. I. М., 1985. С. 36.
35. Пауль Г. Принципы истории языка. М., 1960. С. 56.

## ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
И.Е. АНИЧКОВА<sup>1</sup>

Профессор Игорь Евгеньевич Аничков (1896—1978) был оригинальным крупным мыслителем — философом, богословом, литературоведом и лингвистом. В последней области его перу принадлежат работы по общей лингвистике, английской филологии и методике преподавания иностранных языков.

Опубликование исследования И.Е. Аничкова "Идиоматика и семантика" непосредственно следует за публикациями Д.С. Лихачева "О готовящемся издании трудов по языкознанию И.Е. Аничкова" и Ю.Д. Апресяна "О работах И.Е. Аничкова по идиоматике", помещенными в настоящем журнале (№ 6 за 1989 г.). В последней статье рассмотрены, в частности, основные идеи предлагаемой ниже публикации, мои примечания к которой содержат поэтому отсылки к указанной работе.

В публикуемом исследовании И.Е. Аничков

1) выдвинул и обосновал новую лингвистическую науку — "идиоматику", которая должна изучать сочетания слов, в отличие от синтаксиса, который изучает сочетания форм слов;

2) выдвинул и проиллюстрировал положение, что любое слово в языке на каждом определенном этапе его развития так или иначе ограничено в своем употреблении, т.е. что абсолютно свободных сочетаний слов в языке не существует; что поэтому так называемые свободные словосочетания должны изучаться в рамках идиоматики наряду с любыми другими типами словосочетаний, вплоть до самых идиоматических;

3) предложил иерархически упорядоченную номенклатуру лингвистических наук с неизменным порядком: фонетика — морфология — синтаксис — идиоматика — семантика.

В русской лингвистике нет, по-видимому, другой работы, которая бы в столь сжатом виде (около 18 машинописных страниц, из которых семь занимают французские, английские и русские примеры) содержала такое число фундаментальных теоретических положений. По справедливой оценке Ю.Д. Апресяна, "это была в высшей степени оригинальная, стройная и глубокая теория, намного опережавшая свое время" (названная статья, с. 105).

Сказанное тем более примечательно, что это была первая лингвистическая работа 29-летнего автора (до этого в течение пяти лет — два года в Красноярске и три — в Петрограде — преподававшего английский язык), не имевшего высшего лингвистического образования.

И.Е. Аничков окончил в 1915 г. философское отделение историко-филологического факультета Петербургского университета. Октябрьская революция лишила глубоко религиозного ученого возможности заниматься науками, которые его тогда более всего интересовали, а именно, философией и богословием. Вспомним судьбу высланных из России по приказу В.И. Ленина в 1922 г. философов Бердяева, Лосского, Франка и др. И.Е. Аничков сделал лингвистику и преподавание английского языка своей "официальной" профессией, продолжая заниматься философией и богословием в свободное время.

<sup>1</sup> Фактический материал настоящей публикации основан на хранящемся у меня лингвистическом архиве И.Е. Аничкова. Я благодарю всех, кто так или иначе помог мне при подготовке публикации — Ю.Д. Апресяна, Е.Е. Корди, Д.С. Лихачева, Е.А. Реферовскую, С.Е. Яхонтова.

Сочетание глубоких философских знаний, в частности, в области классификации наук, владение тремя языками как родными (И.Е. Аничков в детстве около 10 лет провел во Франции, Англии и Швейцарии, получив среднее образование на французском языке), смелость и нестандартность мышления, с одной стороны, и, как сказано, невозможность зарабатывать на жизнь профессией, приобретенной в университете, с другой, способствовали, парадоксальным образом, созданию Игорем Евгеньевичем его оригинальной классификации основных лингвистических наук в их взаимном соотношении.

Содержание предлагаемой ниже публикации было доложено молодым автором 66 лет тому назад — 5 декабря 1925 г. в Ленинграде на заседании лингвистической секции Института научной педагогики под председательством проф. Л.В. Шербы. Тогда же Игорем Евгеньевичем был впервые предложен термин "идиоматика" для названия выдвинутой им новой лингвистической дисциплины. До этого времени существительного "идиоматика" в русском языке не существовало, как его нет до сих пор в ряде европейских языков, например, судя по словарям, в английском и французском<sup>2</sup>.

Публикуемая "записка" (так эту работу называл сам автор) была написана на французском языке в начале 1927 г. и послана с оказией в июле 1927 г. Антуану Мейе как одному из крупнейших лингвистов мира. Получив статью 14 января 1928 г., Мейе сразу же пишет ответ, где, в частности, отмечает, что работу прочитал "с живым интересом" (письмо А. Мейе в переводе самого И.Е. Аничкова и русский оригинал письма последнего прилагаются).

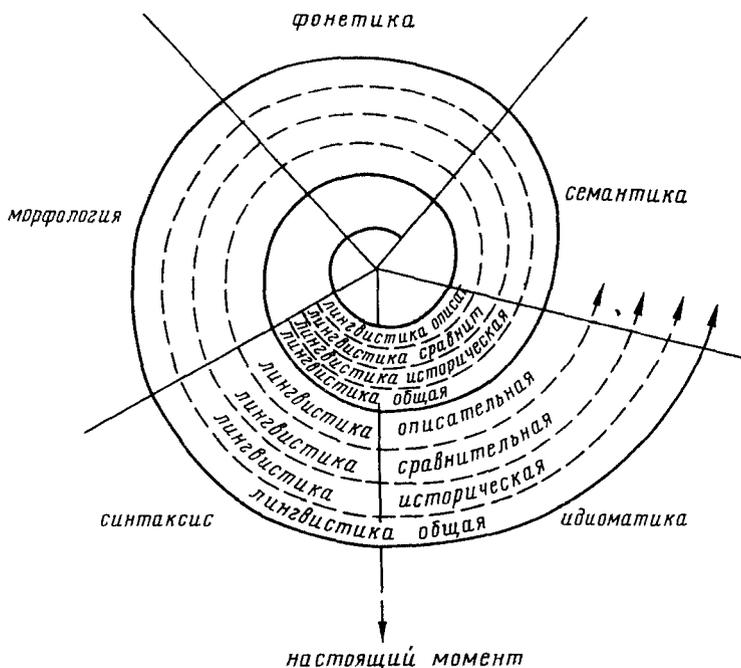
В 1927 г. с "запиской" И.Е. Аничкова ознакомились академики (или будущие академики) С.Ф. Ольденбург, Н.Я. Марр, И.И. Мещанинов, Л.В. Шерба, В.Ф. Шишмарев. Все они положительно отозвались о записке, а Н.Я. Марр даже выхлопотал для И.Е. Аничкова кабинет идиоматики в Институте языков и литератур Запада и Востока, где он сам был руководителем лингвистического отделения. Привожу несколько строк из его отзыва от 12 августа 1927 г.: «Образчик предпринятого тов. Аничковым ... труда, предложенный мне в изложении на французском языке под заглавием "Idiomatique et sémantique", привлекает к себе свежестью темы и жизненностью. Постановка правильная, захватывающая одновременно интересы теоретические и практические... Труд г. Аничкова ... заслуживает поощрения и, прежде всего, опубликования».

И.Е. Аничкову не удалось ни опубликовать свою методологическую работу (первая статья по идиоматике была опубликована лишь через 31 год после ее написания<sup>3</sup>), ни возглавить кабинет идиоматики: в начале февраля 1928 г. по ложному обвинению он был арестован и отправлен на три года в Соловецкий лагерь<sup>4</sup>, а в 1932 г. осужден на шесть лет административной ссылки в северные

<sup>2</sup> В первом издании БСЭ (1933, т. 27, с. 474) есть статья "идиоматика", написанная Н.Я. Марром, однако толкование этого понятия не совпадает с толкованием И.Е. Аничкова.

<sup>3</sup> См.: Аничков И.Е. О классификации, определениях и названиях частных языковедческих наук // Уч. зап. Ленинградского гос. пед. ин-та им. А.И. Герцена. 1958. Т. 181. Вып. 3.

<sup>4</sup> По недоразумению он оказался "однодольцем" Д.С. Лихачева. Об их пребывании на Соловках упоминает А.И. Солженицын в книге "Архипелаг Гулаг" (см. "Новый мир", 1989, № 10, с. 90). В лагере И.Е. Аничков не оставил лингвистику. Д.С. Лихачев рассказывает: «На Соловках в 13-й карантинной роте мы несколько дней работали на "общих работах". Нам выпала сравнительно легкая, но очень противная работа — возить на больших санках свиной навоз. Игорь Евгеньевич и здесь был своеобразен. Подчинялись мы плюгавому мужичонке, который обладал должностью заведующего двором Соловецкого сельхоза. Помню отчетливо, как в упражке "врядлов" ("временно исполняющих должность лошади") Игорь Евгеньевич громко рассуждал на тему — следует ли склонять сокращение "завдвор", которое наш начальник с гордостью носил: "завдвором", "завдворомой" (предлагались особые формы для завдвора-женщины) и т.д. Впоследствии на тех же Соловках я под влиянием идеоматической концепции Игоря Евгеньевича написал "феноменологию вопроса": я включил в нее все сочетания, в которые обычно входит слово "вопрос" (вопрос "встает", "ставится", "решается" и т.д. — несколько десятков сочетаний, особенно обычных в бюрократическом языке) и расположил их в порядке предполагаемой жизни "вопроса". Получилась довольно забавная "история", которой Игорь Евгеньевич весело смеялся, не делая поправок» [Д.С. Лихачев, С.С. Зилитин-кевич, В.П. Недялков. "И.Е. Аничков. Биографический очерк" (в печати)].



области (Сыктывкар и Ростов). В 1938 г. И.Е. Аничков возвращается в Ленинград и работает в Первом Ленинградском педагогическом институте иностранных языков.

К этому времени "заметка" оформляется в кандидатскую диссертацию "Идиоматика в ряду лингвистических наук" (38 страниц машинописи без примечаний), которая была представлена к защите в 1938 г. В этом же году, высоко оценив работу И.Е. Аничкова, Л.В. Щерба, в частности, писал в отзыве: "И.Е. Аничков убедил меня ... в теоретической важности того, что он называет идиоматикой". Однако защитить диссертацию удастся лишь в 1944 г. Выступая официальным оппонентом на защите И.Е. Аничковым кандидатской диссертации, Л.В. Щерба заявил: «Нашему суждению подлежит небольшая работа теоретического характера, автор которой пытается обосновать идиоматику как особую часть науки о языке... Надо прежде всего сказать, что автор исходит из несомненных и очень интересных фактов, мимо которых ученые проходили, не обращая на них должного внимания, и которые он сумел собрать и сопоставить... И.Е. Аничков постулирует необходимость особой части описания всякого языка под названием "идиоматика", где бы точно указывалась сочетаемость в данном языке отдельных слов друг с другом по смыслу, в противоположность синтаксису, где описываются сочетания форм слов. Все это совершенно непрерываемо. И тов. Аничкову принадлежит честь первым высказать все это совершенно членораздельно и обоснованно. Это признал в свое время и покойный Мейе...».

Защитив в 1948 г. все в том же Московском университете докторскую диссертацию на тему "Английские адвербиальные послелоги", И.Е. Аничков все еще не имел ни одной печатной работы. Он делает в последующие годы ряд попыток опубликовать под различными названиями основные положения своей идиоматики то в каких-либо ученых записках, то в "Известиях ОЛЯ" АН СССР, то в "Вопросах языкознания", но сталкивается с большими трудностями. По-видимому, здесь действовало в комплексе несколько факторов: необычность поведения и необычность изложения своих мыслей в статьях, предлагаемых к публикации, прогрессирующее падение духовного уровня нашего общества,

в частности, научного, и связанное с этим равнение на научно-командные авторитеты.

Некоторые положения идиоматики, в частности, отрицание принципиальной границы между свободными словообразованиями и фразеологизмами, противоречили той концепции фразеологии, которая была сформулирована Ш. Балли и развита В.В. Виноградовым в середине 40-х годов. И.Е. Аничков считал, что классификация В.В. Виноградова<sup>3</sup> "не только не осуществлена, но и неосуществима. Ни между так называемыми свободными и так называемыми несвободными, или связанными, словосочетаниями, ни между тремя разрядами так называемых связанных словосочетаний нельзя провести хоть сколько-нибудь четкие границы". Ответом В.В. Виноградова была отрицательная позиция по отношению к теории И.Е. Аничкова.

Интересно отметить, что если в 20-е годы почти все ведущие лингвисты (в том числе Н.Я. Марр и И.И. Мещанинов) поддержали теорию никому не известного молодого ученого и рекомендовали ее к публикации, то теперь, в 50-е годы, профессору доктору филологических наук И.Е. Аничкову приходится гораздо труднее добиваться признания его теории, не говоря уже об ее опубликовании. При этом — по иронии судьбы — мешают ему люди, которые вошли в историю нашей лингвистики как личности либеральные.

И дело здесь, по-видимому, не только в тех факторах, которые были названы выше. Большую роль сыграла, наверное, принципиальная новизна, необычность теории И.Е. Аничкова, что обрекало ее на непонимание даже в среде тех лингвистов, которые положительно относились к нему в личном плане. Он приобретал репутацию чудака, фантазера и вообще несерьезного человека, своего рода однозной фигуры и путаника. Часть аудитории нередко встречала его выступления ухмылками.

Приводимые факты призваны не заклеить задним числом людей, не понимавших или не хотевших понять теорию И.Е. Аничкова, но лишний раз напомнить о необходимости бережного подхода к новым идеям: слишком большой урон был понесен в недалеком прошлом нашей наукой и обществом из-за интеллектуальной нетерпимости.

Пытаясь привлечь внимание лингвистов "высшего эшелона" к своей теории, И.Е. Аничков делает 24 февраля 1956 г. доклад о теории словосочетаний в Институте языкознания АН СССР на заседании секции общего и сравнительно-исторического языкознания Ученого совета. Судя по стенограмме, аудитория не смогла оценить пионерское значение теории И.Е. Аничкова, хотя все выступавшие отмечали, что у докладчика много интересного материала.

Признанию крупного методологического достижения И.Е. Аничкова препятствовала не только решительная новизна его идей, но и сам облик малоизвестного профессора со старомодной, независимой манерой поведения, не опубликовавшего ни одной статьи, но позволявшего себе уверенно критиковать лингвистов на высоких административных постах и претендовавшего на далеко идущие теоретические обобщения. Все это удивляло и даже шокировало людей, недостаточно хорошо знавших его.

С 1957 г. Игорь Евгеньевич работает в педагогическом институте на половине оклада, его стараются отправить на пенсию. Усугубляются материальные трудности. И.Е. Аничков претендует на вакантное (более того, персонально для него выделенное Президиумом Академии наук) место в Ленинградском отделении Института языкознания АН СССР, надеясь организовать здесь группу по изучению идиоматики. Однако его зачислению помешала характеристика,

<sup>3</sup> Имеются в виду работы В.В. Виноградова: 1) Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины // Тр. юбилейной научной сессии Ленинградского ун-та. Секц. филол. наук. Л., 1946; 2) Об основных типах фразеологических единиц в русском языке // Академик А.А. Шахматов: Сб. статей и материалов / Под ред. Обнорского С.П. М.; Л., 1947.

в которой, в частности, говорилось, что он неосновательно претендует на научную инициативу в области идиоматики, тогда как "всем известно, что идиоматику основал В.В. Виноградов", и что И.Е. Аничков в основном "преподаватель-практик, хорошо владеющий английским языком, а не теоретик".

Надо сказать, что работы по лексической сочетаемости отвергались не только у И.Е. Аничкова, но и (позже) у других авторов. Здесь опять приходится констатировать часто наблюдаемую, к сожалению, драматическую ситуацию в науке — искреннее неприятие принципиально нового, непривычного.

Публикуемая статья И.Е. Аничкова имеет не только исторический интерес, она в значительной мере сохраняет актуальность и для настоящего времени. Об этом можно судить, например, по недавней книге М.М. Копыленко и З.Д. Поповой "Очерки по общей фразеологии" (Воронеж, 1989). Так, на с. 23 авторы утверждают: "Проблема сочетаемости слов, как лексической, так и синтаксической, — это тот новый ракурс рассмотрения языковых единиц, к которому с неизбежностью должны были прийти и пришли в результате изучения семантики фразеосочетаний фразеологи, лексикологи и синтаксисты". Можно, конечно, приветствовать то, что мы, наконец, пришли к проблеме лексической сочетаемости, но достойно сожаления, что мы не помним ученого, который еще 65 лет тому назад написал по данному вопросу, на мой взгляд, гораздо больше и лучше, чем это можно прочесть в разделе "Проблема сочетаемости слова" названной работы<sup>6</sup>.

Отбыв в молодости срок в Соловецком лагере и в ссылке, И.Е. Аничков до конца дней хранил в коридоре своей ленинградской коммунальной квартиры (Греческий проспект, 15, кв. 46) маленький чемодан с бельем — на случай возможных повторений. Грустно, что он не дожид до наших дней. Может быть, сейчас он бы убрал этот чемоданчик...

Недялков В.П.

© 1992 г. АНИЧКОВ И.

## ИДИОМАТИКА И СЕМАНТИКА

(ЗАМЕТКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ А. МЕЙЕ, 1927)<sup>1</sup>

Я предлагаю называть идиоматикой науку о сочетаниях слов. Эта наука отличается от синтаксиса, рассматривающего сочетания форм слов.

Возьмем для примера три выражения — французское, английское и русское: *en liberté*, *at liberty* и *на свободе*, и три сочетания слов: *une montre avance*, *a watch gains* и *часы спешат*. С точки зрения синтаксиса, три первых выражения состоят из предлога и имени; для русского выражения следует отметить, что предлог *на* управляет местным падежом. Три других сочетания включают в себя имя-субъект и глагол-предикат, причем глагол-предикат согласуется по роду и числу с именем-субъектом. С точки зрения синтаксиса, *en liberté* "на свободе" идентично *en fuite* "в бегстве", *en prison* "в тюрьме"; *une montre avance* "часы продвигаются" не отличается от *une montre marche* "часы шагают" или даже от *une montre pense*, *écoute*, *pleure* "часы думают, слушают, плачут". Эти последние сочетания, хотя и лишены смысла, не являют собой никаких нарушений синтаксиса<sup>2</sup>.

Совершенно иная точка зрения идиоматики. Для нее выражение *en liberté* состоит именно из предлога *en* и существительного *liberté*; выражение *une montre avance* — из существительного *montre* и глагола *avancer*. Сказать *à liberté*, как по-английски, или *sur liberté*, как по-русски, было бы нарушением идиоматики

<sup>6</sup> В указанном разделе (с. 23—26) среди 40 упоминаемых авторов не находим имени И.Е. Аничкова.

французского языка. Так же противоречило бы французской идиоматике выражение, на английский манер, *une montre gagne* "часы выигрывают" или, на русский, *une montre se dépêche* "часы спешат".

Каждое слово в каждом языке в определенный момент его развития входит в ограниченное количество более или менее устойчивых<sup>3</sup> сочетаний слов, и в каждом языке в определенный момент обращается ограниченное число сочетаний.

Каким бы странным ни показалось это утверждение на первый взгляд, общее число этих застывших или устойчивых сочетаний для каждого языка относительно невелико. В то же время любая фраза, произнесенная или взятая из любого текста, полностью из них состоит.

Такие выражения или сочетания я называю идиотизмами или, точнее, идиоматизмами<sup>4</sup>.

Старое определение идиоматизмов как выражений, свойственных одному языку и непереводаемых буквально на другие языки, вне всяких сомнений, неудовлетворительно.

Эти выражения в большинстве своем не совпадают буквально с соответствующими выражениями в других языках: часто они отличаются по своей грамматической структуре; иногда они не имеют коррелятивов в других языках и являются непереводаемыми.

Но словом "идиоматизм" следует, по-видимому, обозначать не только выражения, называемые обычно идиомами. Термином идиоматизм можно обозначать и более простые лингвистические факты, такие, как *en liberté, sur mesure* (ср. *to order, на заказ*), *crier après* или *contre (to shout at, кричать на)*, *promettre absolument (to promise faithfully, твердо обещать)*, но и более сложные случаи, например, поговорки и пословицы.

Пословица — самая краткая литературная форма; она непосредственно предшествует басне. Но, в то же время, она переходит из сферы литературы в сферу языка и там обращается. Она становится лингвистическим фактом.

Сочетания предлогов и слов или слов и предлогов, устойчивые сочетания слов, поговорки и пословицы суть явления одного порядка и должны обозначаться одним и тем же термином. Может быть, для этого было бы удобно слово "идиоматизм".

Все эти группы слов в каждом языке, и не только те, которые трудно буквально перевести на какой-либо другой язык, могут и должны быть собраны, зарегистрированы и расклассифицированы в соответствии с их грамматической структурой.

Речь идет не о том, чтобы просто перечислить эти выражения в алфавитном порядке начальных или значимых слов, не о классификации по смыслу, что было бы слишком сложно и в настоящий момент для нас бесполезно. Важно в первую очередь сблизить идиоматизмы, близкие или совпадающие по структуре.

Эти выражения образуют категории, которые должны быть последовательно заполнены и изучены, начиная с самых простых и кончая самыми сложными.

Например, для разработки идиоматики французского языка нужно будет выделить в одни и те же категории следующие сочетания<sup>5</sup>:

*Arriver à, songer à, parler à... Crier après, aboyer après, soupirer après... Feliciter de, remercier de, user de... Avoir pour (but, maître, u m.д.), passer pour, partir pour... Tirer sur, s'élancer sur, s'assurer sur...*

*Conforme à, fatal à, nuisible à... Dégouté de, étonné de, vexé de... Poli envers, affable envers, généreux envers... Bon pour, indulgent pour, partial pour...*

*Une obligation envers, des responsabilités envers... Un attachement pour, une aversion pour... Des détails sur, une conférence sur...*

*À fond, à outrance, à l'excès... D'emblée, d'ordinaire, de sang froid... En revanche, en sursaut, en suspens... Par coeur, par écrit, par mégarde... Sur pied, sur place, sur mesure...*

*Un jour crû, une joie débordante, un succès éclatant, une décision précipitée, une*

*nouvelle renversante... Une colère bleue, une verte réprimande, un grand silence, une lourde sottise, un mince érudit...*

*L'aiguille d'une montre, la bouche d'un canon... Un jeu de clefs, une pelote de laine, une nappe de lumière...*

*Une blessure cuite, un propos court, une conversation tombe, un fil casse, une fontaine joue... Un cheval s'emporte, une discussion s'envenime...*

*Suivre un cours, prendre un rhume, taire un secret, concevoir un projet, agiter une question, toucher de l'argent, faire une propagande, essuyer un refus, embrasser une profession...*

*Largement suffisant, sensiblement touché, rigoureusement vrai, fâcheusement indiscret.*

*Vouloir, promettre absolument; refuser net; déclarer carrément; nier formellement...*

*Répondre à un besoin, subvenir à des frais, absoutir à un accord... Jouer du piano, boiter d'une jambe...*

*Sourd comme un pot, beau comme le jour, fort comme un Turc, ivre comme un Polonais, pale comme un linge, long comme un jour sans pain...*

*Crier comme un sourd, boire comme un trou, battre comme plâtre, sauter comme une carpe, mentir comme un arracheur de dents...*

Если перейти, скажем, к английскому, то мы должны будем расклассифицировать выражения следующим образом:

*To hint at, to laugh at... To ask for, to thank for... To prevent from, to refrain from... To approve of... To depend on, to call on... To deal in, to delight in...*

*Amazed at, disgusted at... Eager for, fit for... Desirous of, ill of... Angry with, pleased with...*

*Astonishment at, attempt at... Respect for, zeal for... Confidence in, lessons in... A search into, an inquiry into... Revenge on, mercy on... An allusion to, an objection to...*

*At home, at school, at hand, at one, at dusk... Beyond measure, beyond belief... By heart, by rail... For fun, for example... In prison, in store... Of course, of late... On purpose, on principle... Within reach, within hearing...*

*A bad headache, a bad mistake, a sad mistake, a bitter wind, a heavy rain, a lame excuse, a flat denial, a dead loss...*

*A sheet of paper, the hand of a watch, the eye of a needle, a ball of worsted, a piece of information, the muzzle of a gun...*

*A conversation flags, a needle snaps, a sound swells, a clock loses or gains... A storm, a pestilence, is raging; a storm, mischief, is brewing... A storm, a revolution, breaks out; an engine breaks down; a party breaks up...*

*To enter the University, to attend lectures, to deliver a speech, to meet an expense, to overcome a difficulty, to keep or break a promise, to secure a door...*

*Widely different, heartily glad, highly respectable, utterly ruined, deadly pale...*

*To approve highly; to disbelieve flatly, to want badly, to work hard, to sleep soundly, to thrash soundly...*

*To burst into tears, to fall into disuse... To meet with an accident, to bristle with difficulties...*

*As cheap as dirt, as regular as chockwork, as cold as charity, as loyal as the needle is to the pole...*

*To sleep like a top, to fit like a glove, to burn like tinder, to drink like a fish, to jump like a parched pea...*

Вот некоторые группы, которые можно выделить в русском:

*Следить за (чем), сходиться за (чем)... стоять за (что), голосовать за (что)... Поспешить с (чем), справиться с (чем)... Прыгнуть с (чего), начать с (чего)... Защищаться от, дрожать от... Смеяться над, трудиться над... Приблизиться к, прибегнуть к... Смотреть на, надеяться на... Ехать в, играть в...*

*Обреченный на, похожий на... Убеденный в, сведущий в... Знакомый с, сходный с... Способный к, равнодушный к...*

*Ответ на, намек на... Недостаток в, участие в... Преимущество над,*

начальство над... Благодарность за, ответственность за... Любовь к, уважение к... Лекция о, сведения о...

В старину, в сумерки, в ходу... По желанию, по почте, по ошибке... Под рукой, под ключом... Под вечер, под диктовку... На досуге, на заре, на станции... При случае, при свете... Из лени, из честолюбия... За работой, за столом... С листа, с горя... От души, от века...

Круглый дурак, прямой мошенник, зеленая скука, закадычный друг, трескучий мороз, жидкая борода, окладистая борода, пустой человек, глухое место, крутой нрав...

Стрелка часов, ушко иглы, связка ключей, клубок шерсти, горлышко бутылки, рукав реки, ножка стола, дуло ружья...

Дождь идет, снег падает, мороз крепнет, лошадь несет, восстание вспыхивает, слух носится...

Сдержат слово, отдать приказание, подать пример, усвоить язык, посещать лекции, исполнять обещание, нанести обиду...

Твердо обещать, крепко призадуматься, плотно наестся, отказывать наотрез, работать усердно, спать крепко...

Крепко любящий, много набитый, кровно обиженный, непростительно глупый, непомерно гордый, несметно богатый...

Удостоиться чести, держаться старины... Залиться слезами, разразиться смехом, упасть духом...

Упасть в обморок, прийти в недоумение... Поступить на службу, накрыть на стол... Сойти с ума, покатываться со смеха...

Глух, как стена; глуп, как пробка, как сивый мерин; пьян, как сапожник; бледный, как полотно; гладкий, как ладонь...

Спать, как убитый; бояться, как огня; метаться, как угорелый; любить, как собака палку (ирон.); погибнуть, пропасть, как швед под Полтавой...

Встает вопрос: если предлоги являются вспомогательными словами и могут рассматриваться как грамматические формы, не относятся ли сочетания, состоящие из слова и предлога, к сфере синтаксиса?

Однако предлоги не напрасно называют словами. На самом деле они ведут себя в некоторых отношениях как слова. Во флективных языках они управляют падежами, как и другие слова. Значит, они не просто заменили собой склонение. Хотя русский и сохранил почти все индоевропейские именные окончания, предлоги в русском языке играют не меньшую роль, чем в английском. В этих двух языках — как, возможно, и во всех индоевропейских языках — предлоги выполняют особую идиоматическую функцию: они образуют определенные категории идиоматизмов и их подкатегории.

Полное описание употребления предлога должно бы состоять из перечисления и анализа всех выражений — наречных, адъективных, предложных и союзных, — начинающихся этим предлогом, всех слов — глаголов, имен, прилагательных, наречий, восклицаний, — и всех глагольных, именных и т.д. выражений, которые строятся с этим предлогом; наконец, групп слов, в которых этот предлог служит для связи между их компонентами. Английские и французские выражения: *to shake one's finger at*, *to cast an eye at*, *to have a hand at*, ... *Avoir la haute main sur*, *tomber a bras raccourcis sur*, *avoir de l'ascendant sur*... являются глагольными оборотами, которые строятся с предлогами *at* и *sur*.

Группы слов, где предлог служит для связи между членами, и глагольные обороты с предлогом, как и группы, состоящие из одного слова и предлога, образуют категории, которые подразделяются далее по использованному в них предлогу.

Следовательно, мы можем рассматривать слова с последующим предлогом как неполные или рудиментарные группы слов и включить их в идиоматику, изучающую группировку слов.

Такая процедура представляется целесообразной и с практической точки зрения.

Само собой разумеется, что в каждой категории идиоматизмов должны быть помечены архаизмы, неологизмы, разговорные выражения или выражения, имеющие какой-либо другой стилистический оттенок.

Сочетания, которые имеют тенденцию сокращаться до отдельных слов, но которые продолжают употребляться в языке и как сочетания (например, *le cabinet des ministres — le cabinet, un bateau à vapeur — un vapeur*), должны быть зарегистрированы в соответствующих категориях, с указанием нового употребления.

Кроме категорий, имеющих классические формы, существуют различные усложнения этих же форм и дефективные формы. Идиоматика любого языка по необходимости представляет собой очень сложную картину.

Поговорки и пословицы каждого языка также должны быть расклассифицированы в соответствии с их структурой, хотя сложные случаи будет трудно уложить в упрощенную классификацию.

Вот некоторые примеры английских поговорок и пословиц:

*A happy medium; the giddy throng; midsummer madness...*

*A leap in the dark; a drop in the bucket; ... A word of trouble; the balance of power...*

*Opinions differ; extremes meet; the cap fits...*

*To smell a rat; to bury the hatchet; to plough the sands... To shed crocodile tears; to gild refined gold; to ride the high horse...*

*To die in harness; to roll in riches... To rest on one's ears... To reckon without one's host... To dance on a tight rope... To die in the last ditch... To fall between two stools...*

*To buy a pig in a poke; to build castles in the air... To carry coals to Newcastle; to add fuel to the fire...*

*Silence gives consent; familiarity breeds contempt; pride apes humility... Ill weeds grow apace; new brooms sweep clean; still waters run deep... Facts are stubborn things; habit is a second nature; honesty is the best policy... A burnt child dreads the fire; too many cooks spoil the sauce; a rolling stone gathers no moss... A good cat deserves a good rat; an old ox makes a straight furrow; soft words win hard hearts...*

*Brevity is the soul of wit; necessity is the mother of invention; procrastination is the thief of time...*

*Example is better than precept; truth is stranger than fiction; blood is thicker than water...*

*Live and learn; bear and forbear... Do or die; sink or swim.*

*Don't blow your own trumpet; never refuse a good offer.*

*Never judge from appearance; puff not against the wind...*

*Look before you leap; don't call out till you are hurt...*

*A fool laughs when others laugh; friends are plenty when the purse is full...*

*While there's life, there's hope... Where there's a will, there's a way...*

*It's the early bird that catches the best worm; it's a poor mouse that has only one hole.*

Регистрация и классификация идиоматизмов языка в какой-то определенный момент его существования представляет собой то, что я называю описательной идиоматикой этого языка.

Только после того, как описательная идиоматика каждого языка будет завершена, можно перейти к сравнительной идиоматике двух языков или группы языков и к исторической идиоматике каждого языка и группы языков.

Среди лингвистических дисциплин идиоматика следует за фонетикой, морфологией и синтаксисом и предшествует семантике.

По моему мнению, при перечислении лингвистических наук лексику и этимологию не следует относить к различным наукам.

Как Вы показали (*Linguistique historique et linguistique générale*, I, Paris, 1921, p. 27 и сл.), этимология — не что иное, как историческая фонетика, историческая морфология и историческая семантика в их применении к отдельным словам. Но ничто не мешает говорить об этимологии идиоматизмов, сведя ее таким образом к особым случаям исторической идиоматики. Следовательно, этимология — это один из аспектов исторической лингвистики.

Что касается лексики, то Вы признаете вместе с Г. Шухардтом, что различие между этой сферой и морфологией не абсолютно (*ibid.*, p. 107).

Морфология изучает формы слов и слова с точки зрения их форм.

Верно, что морфология, понимаемая как система форм, мало подвержена заимствованию чужеродных элементов, тогда как лексика легко принимает их. Но так происходит всегда при любом материальном обмене: формы, свойственные новой сфере, налагаются на заимствованные элементы.

Полная система морфологии флективного языка должна включать, в результате изучения каждого типа именной или глагольной флексии, список всех слов, относящихся в этому типу, а также слов, называемых аномальными, дающих более или менее индивидуальные вариации основных типов, а для неизменяемых слов — списки всех этих слов, сгруппированных по их форме.

Таким образом, описательная морфология — вокабуляр должна представлять собой не перечисления слов языка по алфавиту — что представляло бы собой простой словарь, — а формальную классификацию всех этих слов<sup>6</sup>.

Синтаксис, после того как мы отделяем от него идиоматику, приобретает большую однородность. Точное определение синтаксиса как науки о комбинации форм становится наконец возможным или оправданным.

Но в первую очередь идиоматика делает возможной семантику. Как вы постоянно подчеркиваете, это наука скорее искомая, чем обретенная, скорее предвидимая, чем осуществленная.

Правда, для идиоматики, как и для фонетики, значения представляют лишь побочный интерес. Она, таким образом, не является ветвью семантики. Но благодаря тому, что она учитывает устойчивые сочетания, она служит семантике, которая должна выводить различные значения слова из его окружения, из разнообразных оборотов, в которые оно входит.

Впрочем, семантика должна также рассматривать идиоматизмы, каждый из которых при этом исследуется в его целостности. Таким образом, она может теперь считаться наукой, изучающей значения слов и идиоматизмов, или сочетаний слов, образующих, наряду со словами, особые семантические единицы.

Полная система дескриптивной семантики должна предлагать классификацию всех семантических единиц, как слов, так и идиоматизмов, в соответствии с их смыслом.

Тщетно было бы классифицировать по смыслу одни лишь слова. Если мы хотим классифицировать семантические единицы, то, очевидно, надо будет сближать, скажем, глагол *to flee* с идиоматизмами *to turn tail*, *to take to flight*, *to take to one's heels*, *to show a clean or a light pair of heels*; глаголы *s'enfuir*, *détaler* с идиоматизмами *tourner les talons*, *prendre ses jambes à son cou* и т.д.; прилагательное *uncommon* с адекативным оборотом *out of the way*.

Некоторые устойчивые сочетания слов или идиоматизмы выполняют роль какой-либо части речи (именная, глагольная, адекативная, наречная, предложная, союзная группа) и являются членами предложения; другие представляют собой фразы или последовательности фраз.

Оперируя словами и сочетаниями слов, необходимо различать три момента: 1) восприятие объекта — феномена или идеи, — который может быть обозначен тем или иным словом в том или ином языке; 2) усвоение слова или какого-либо лингвистического факта ребенком, иностранцем, неграмотным

или человеком, которому оно было неизвестно; 3) научный анализ слова или лингвистического факта.

Только третий случай относится собственно к лингвистике, хотя она предполагает и оба других.

Если речь идет, например, о каком-то редком тропическом растении, которое нам неизвестно и обозначено в нашем родном языке неизвестным нам словом, нужно прежде всего познакомиться с самим феноменом и лишь затем мы выучим слово, которым это растение обозначено. И только на третьем этапе мы можем переходить к научному изучению слова.

Поэтому, изучая иностранный язык, человек еще не занимается лингвистикой.

Для очень древних мертвых языков расшифровка текстов и выяснение языковых фактов, особенно значений, представляет собой очень серьезную и очень трудную научную работу, которая — как бы парадоксально это ни казалось — не относится к чистой лингвистике.

Не надо требовать от описательной семантики ни определений, ни общих сведений. Эта наука — не энциклопедия. Она не учит также значениям и их оттенкам<sup>7</sup>. Она предполагает, что они уже известны, и изучает их. Правда, она, вероятно, сможет представить тонкие методические указания для обучения языкам и перевода. Но как только к ней предъявляются такие требования, мы переходим из области чистой в область прикладной лингвистики.

В системе описательной семантики, т.е. в общей классификации семантических единиц, значения должны выводиться из 1) класса каждой единицы, 2) ее места в классе или разделе, 3) окружения, — при этом приблизительные синонимы сближаются, а антонимы противопоставляются; — и, наконец, 4) ее грамматической роли, которая также должна быть обозначена.

Так, в категории звуков и в сочетании *une brebis bêle* значение слова *bêle* несомненно. То же относится к каждому из терминов в серии *printemps, été, automne, hiver* в категории "времени года", или в серии *midshipman, sub-lieutenant, lieutenant* и т.д. в серии "офицеры английского флота".

Это очень простые случаи, и порядок следования в сериях не всегда жесткий и не всегда столь же легко устанавливается. Но и с более сложными случаями работа по существу та же.

Многочисленные слова и идиоматизмы, которые, отдельно взятые, являются центрами семантического изучения, предстанут в системе точками пересечения двух или нескольких — но редко больше, чем трех, — серий<sup>8</sup>, и должны входить в такое же количество рубрик, сколько значений они имеют<sup>9</sup>.

Таким образом, семантика предполагает идиоматику. Она может быть разработана только тогда, когда будет описана идиоматика.

Невозможно принимать за основу семантики ни логику, как это хотел сделать Дармстетер, ни психологию, как это предлагал Вундт. Базой для семантики не может служить и социология, хотя между этими двумя науками и существует родство, изучаемое Вами.

Только наблюдения над чисто лингвистическими фактами могут создать основу для семантики.

Идиоматика, или изучение сочетаний слов, могла бы стать полной и закрытой системой таких наблюдений.

Подобно тому, как описательная идиоматика должна предшествовать сравнительной идиоматике и исторической идиоматике, описательная семантика должна предшествовать сравнительной семантике и исторической семантике.

Историческая семантика сможет также черпать полезные сведения из исторической идиоматики.

Различные понимания одного отдельно взятого слова проистекают из сокращений сочетаний слов. Иногда это существительное, включившее в себя значение своего определения, иногда это прилагательное, замещающее существительное,

с которым оно было связано, иногда это глагол, который из транзитивного стал интранзитивным, имплицитно заменяя предыдущее дополнение.

Появление исторической семантики можно уже сейчас предвидеть. Но чтобы достигнуть этих конечных вершин лингвистики, нужно будет подниматься от одной области к другой, проходя последовательно через сферы описательной, сравнительной и исторической идиоматики и, наконец, описательной и сравнительной семантики.

Можно наметить следующую таблицу лингвистических наук:

Лингвистика	описательная	сравнительная	историческая	общая
Фонетика	"	"	"	"
Морфология	"	"	"	"
Синтаксис	"	"	"	"
Идиоматика	"	"	"	"
Семантика	"	"	"	"

В этой серии лингвистических наук должен быть жесткий порядок. Существует своего рода иерархия этих наук, причем каждая использует данные предшествующих.

Конечно, такие науки, как фонетика и морфология, тоже заимствуют некоторые данные у наук высшего порядка, прежде всего у семантики. Имеет место "обмен услугами", но не без определенной доли подчинения.

Общая лингвистика опирается на описательную лингвистику, сравнительную лингвистику и историческую лингвистику. Но именно она устанавливает главные разделительные линии и облегчает описательной лингвистике задачу включения в эти разделы данных соответствующего уровня.

Таким образом, мы наблюдаем постоянный круговорот, подобный порождению плода растением и растения — плодом. Было бы бессмысленным занятием задаваться вопросом, плод ли происходит из корня или корень — из плода<sup>10</sup>.

Эти отношения могут быть проиллюстрированы схемой, на которой спираль разворачивается и продолжается двойным движением. Эта схема воспроизводит таблицу лингвистических наук, преобразуя ее таким образом, чтобы показать эволюцию этих наук<sup>11</sup> (см. с. 138).

Самые общие биологические законы должны быть применены к языкам, которые, не являясь организмами, все же представляют собой органические системы со своими процессами развития и вырождения, со своей жизнью и смертью.

Среди этих идей одна из самых многообещающих — это идея сравнения онтогенеза и филогенеза.

Каждый язык имеет свой онтогенез. Но общая лингвистика должна признать и изучать филогенез человеческого языка<sup>12</sup>.

Например, французский язык не является простым продолжением латинского, а латинский — индоевропейского. Латинский язык пережил свой подъем, апогей и упадок; он исчез и уступил место другим языкам, которые сами проходят ту же эволюцию.

Изучение мертвого языка должно являть собой в первую очередь, как мне кажется, описание этого языка в эпоху его высшей точки, описание, которое, по вашей же формулировке, "не должно принимать во внимание историю" (*Linguistique historique et linguistique générale*, I, p. 9).

Это я и подразумеваю, когда ставлю описательную лингвистику перед сравнительной лингвистикой и исторической лингвистикой.

Сравнение в лингвистике означает сопоставление двух или нескольких заданных состояний.

Вы говорите, что "историческая лингвистика может быть только сопоставлением уже описанных последовательных состояний" (*ibid.*, p. 45).

Надо, таким образом, прежде всего определить термины, подлежащие сопоставлению.

Порядок, указанный здесь, мог бы дать возможность устранить дурной историзм, который до сих пор отягощает лингвистические исследования<sup>13</sup>.

Другое его преимущество — это, быть может, указание на задачу настоящего момента. Подлинный прогресс лингвистики не сможет осуществиться прежде, чем будет выполнена эта работа.

Если будет дан метод и намечены основные направления, будет нетрудно в каждом языке собрать факты и найти для каждого факта его собственное место<sup>14</sup>

До какой степени эти идеи справедливы?

Они были предугаданы, как мне кажется, если и не высказаны, Вами, а отчасти — уже Мишелем Бреалем, великим ученым, преемником которого на кафедре Вы являетесь.

Я мог бы привести многочисленные цитаты, но достаточно напомнить такие строки:

"Язык состоит не только из слов; он состоит из сочетаний слов и фраз" (M. Bréal, *Sémantique*, P., 1897, p. 322).

"Не следует рассматривать отдельно взятое слово: это — лишь пустая абстракция: слово проявляется только во фразе" (*Linguistique historique et linguistique générale*, I, p. 176).

"...Метод, который следует применять при изучении семантики, достаточно ясен. Рассматривая слово, следует прежде всего выяснить форму слова и степень его обособленности в языке; изолированное слово ведет себя не так, как слово, которое входит в сочетание..." (*ibid.*, p. 267).

Перевел с французского *Выдрин В.Ф.*

Письмо Антуану Мейе

Москва, 20 июля 1927

Господин профессор и дорогой метр!

Хотя я не имею чести знать Вас лично, я позволю себе направить Вам, при любезном посредничестве м. Патује, который сейчас находится в Москве, это исследование и представить на Ваше рассмотрение некоторые идеи в области лингвистики, выработанные в ходе моих исследований и преподавания в Ленинграде (Университет, Институт истории искусства, английский язык).

Надеясь, что мои исследования заслужат Вашего благосклонного внимания, я прошу Вас, дорогой метр, принять выражение чувства моего уважения и преданности.

*И. Аничков*

Ответ г. Антуана Мейе

16 января 1928

Милостивый государь!

М. Патује передал мне Вашу рукопись позавчера. Пока что я успел прочитать ее лишь наскоро. В ожидании возможности сообщить Вам свое мнение более детально я спешу Вас уведомить, что читал Вашу работу с живым интересом.

Весьма сердечно преданный Вам

*А. Мейе*

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Настоящий перевод с французского языка осуществлен с подлинника, хранящегося у меня. Считаю необходимым дать к основным положениям статьи И.Е. Аничкова комментарии Ю.Д. Апресяна, заимствованные из его статьи "О работах И.Е. Аничкова по идиоматике", опубликованной в "Вопросах языкознания" № 6 за 1989 г.

<sup>2</sup> Приводим интерпретацию этого места Ю.Д. Апресяном: «В этом рассуждении нетрудно обнаружить основную идею того, что тридцать лет спустя Н. Хомский назвал "автономным синтаксисом" ... и что составило эпоху в развитии теоретической мысли в этой области...

Предложение *Бесцветные зеленые идеи яростно спят* бессмысленно, однако грамматически безупречно...

Любопытно еще одно совпадение — характер примеров, послуживших И.Е. Аничкову и Н. Хомскому основанием для определения предмета синтаксиса. Скромные примеры И.Е. Аничкова — *Часы думают, слушают, плачут* — по существу вполне сопоставимы с только что процитированным знаменитым, породившим огромную литературу примером Н. Хомского.

Известно, что установки автономного синтаксиса в результате длительной и бурной дискуссии были признаны большинством лингвистов неосновательными. Синтаксис оказался чувствительным к лексико-семантическим классам слов... Однако из этой дискуссии и теоретический синтаксис, и общая лингвистическая теория вышли окрепшими и обогащенными новым значением. Нам остается только гадать, как пошло бы развитие лингвистики, случись подобная дискуссия на 30 лет раньше» (с. 115).

<sup>3</sup> Слово "устойчивый" не следует понимать как противопоставленное так называемым "неустойчивым", или "свободным". Свободных словосочетаний И.Е. Аничков не признавал. Привожу соответствующее высказывание из его более поздней неопубликованной работы: "Обычному, не высказанному никем, но всеми неглупо, как само собою разумеющийся, понимаемому взгляду о необъятности всего множества возможных на каждом языке сочетаний слов я противопоставляю тезис об устойчивости и уловимости сочетаний слов. Ни одно слово не может вступать в сочетание с любым другим словом; каждое слово сочетается с ограниченным числом других слов, и в каждом случае границы могут и должны быть нащупаны и установлены".

Ср. у Ю.Д. Апресяна (с. 111): "Вывод о том, что все словосочетания в большей или меньшей мере несвободны и что, следовательно, все лексические значения в большей или меньшей мере связаны, т.е. обусловлены семантическим, лексическим, синтаксическим или иным контекстом, был сделан независимо от И.Е. Аничкова, но на 40 лет позже его" (см.: *Апресян Ю.Д.* Экспериментальное исследование семантики русского глагола. М., 1967. С. 25).

<sup>4</sup> Позднее в этом значении И.Е. Аничков стал употреблять термин "идиома".  
<sup>5</sup> Характеризуя систематизацию примеров, приводимых И.Е. Аничковым, Ю.Д. Апресян пишет: "Нетрудно заметить, что лингвистическая интуиция вела И.Е. Аничкова по тому пути, в конце которого 40 лет спустя было сделано одно из самых замечательных теоретических и лексикографических открытий последнего времени — открытие лексических функций (см.: *Жолковский А.К., Мельчук И.А.* О семантическом синтезе // *Проблемы кибернетики*. 1967. Вып. 19). В частности, в цитированном выше материале И.Е. Аничкова представлены лексические функции  $\text{Magn}$  и  $\text{Anti Magn}$ ,  $\text{Oper}_1$  и  $\text{Real}_1$ ,  $\text{Func}_0$ ,  $\text{Inser Func}_0$  и  $\text{Fin Func}_0$ . Сама однородность классов привлекаемых к рассмотрению примеров показывает, как близок был И.Е. Аничков к открытию лексических функций" (с. 114).

<sup>6</sup> Можно считать, что подобный результат был достигнут лишь через 50 лет. См.: *Зализняк А.А.* Грамматический словарь русского языка. Словоизменение. М., 1977.

<sup>7</sup> Отказ от рассмотрения значений в описательной семантике несомненно является недостатком теории И.Е. Аничкова. Правда, утверждение И.Е. Аничкова, что семантика "предполагает, что они (значения. — Н.В.) уже известны, и изучает их", допускает мнение, что И.Е. Аничков относил определение значений к ведомству прикладной семантики, т.е. к лексикографии.

<sup>8</sup> Ср. критику А.Е. Кибриком искусственного, по его мнению, размножения значений в современной таксономической семантике и его постулат о единственности значения. См.: *Кибрик А.Е.* Лингвистические постулаты // *Уч. зап. Таргуского гос. ун-та*. 1983. Вып. 621. С. 36.

<sup>9</sup> Следует подчеркнуть, что объектом классификации, по И.Е. Аничкову, является не слово или словосочетание в целом, а каждое их значение в отдельности. Ю.Д. Апресян так оценивает этот принцип: "Принцип выбора отдельного значения, а не всей вокабулы, в качестве объекта классификации настолько естествен, что кажется почти тривиальным. Чтобы оценить его нетривиальность и смелость, необходимо иметь в виду, что даже в словарях синонимов, выходявших через 30 и 40 лет после работ И.Е. Аничкова, объектом описания оставались целые слова и притом только слова. Это справедливо в отношении таких авторитетных синонимических словарей, как словари Бенака, Дудена и Вебстера" (с. 116).

<sup>10</sup> Привожу основной комментарий Ю.Д. Апресяна к этому месту: «И.Е. Аничков мыслил язык как многоуровневую иерархическую структуру, хотя самого термина "уровень" или кокого-либо аналога этого термина он не употреблял... Уровневая идеология была явно сформулирована (правда, на 15—20 лет позже) американскими дистрибутивистами (Б. Блок, Ю. Найда, Дж. Трейдджер, Э. Харрис, Ч. Хоккет и др.)... Наде будет признать следующие заслуги И.Е. Аничкова в учении об уровневой иерархии языка.

1) В отличие от традиции и от американских дистрибутивистов И.Е. Аничков включает в число уровней не только придуманную им идиоматику, но и семантику, о которой в то время никто не думал как о серьезной лингвистической дисциплине.

2) ... Один из важнейших методологических принципов дистрибутивизма: при описании единиц данного уровня нельзя пользоваться единицами последующего уровня.

Гипноз этой заведомо ложной посылки и авторитет вытекающего из нее принципа были столь велики, что понадобилась растянувшаяся на полтора десятилетия дискуссия, чтобы отказаться от них и допустить возможность "челночного" описания разных уровней. Тем удивительнее тонкость и "мягкость" формулировки И.Е. Аничкова ... Таким образом, концепция нежесткой

лингвистической иерархии И.Е. Аничкова предвосхищала самые плодотворные идеи дискуссии о взаимоотношениях между уровнями за 20 лет до ее начала. В некоторых существенных деталях она даже шла значительно дальше этой дискуссии...» (с. 106—107).

<sup>11</sup> Характеризуя эту схему, Ю.Д. Апресян пишет: "Эта схема, являющая собой удивительный сплав научной мысли и поэтического воображения, поражает своей лаконичностью, емкостью и глубиной. Это — гигантская графическая метафора, не только обобщающая реальную историю лингвистики, но и открывающая неисчерпаемые возможности новых интерпретаций" (с. 109).

<sup>12</sup> Интерес к аналогиям в областях лингвистики и биологии, правда, в иных аспектах, вновь оживился. См. например: *Nerlich B. The evolution of the concept of "linguistics evolution" in the 19th and 20th century // Lingua. 1989. № 77; Dyen I. Genetic classification in linguistics and biology // Festschrift für Henry Hoenigswald / Ed. by Cardona G. and Zide N.H. Tübingen, 1987.*

<sup>13</sup> Под "дурным историзмом" И.Е. Аничков понимал "неизжитое еще в лингвистике, несмотря на критику де Соссюра" стремление относить «рассмотрение языка в его современном состоянии или в определенный исторический момент ... к "школьной" или элементарной грамматике и только сравнение языков и изучение прошлого их или изменений языковых явлений (диахроническое рассмотрение) признающего научной лингвистикой» (из неопубликованной рукописи 1937 г.).

<sup>14</sup> Эти два абзаца намечают широкий план работ, которые под силу лишь большому коллективу исследователей. И.Е. Аничков предполагает осуществить планомерное описание всех языковых объектов с использованием всех тех методов, которые были ему известны в то время. В какой-то мере здесь можно усмотреть прообраз современного интегрального описания языка. См., например: *Апресян Ю.Д. Типы информации для поверхностно-семантического компонента модели "смысл ↔ текст" [= Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband I] Wien, 1980. S. 3.*

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

**Britain 400-600: Language and history / Ed. by Bammesberger A. and Wollman A. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1990. 485 p.**

Работы участников симпозиума в Айштатте (ФРГ), вошедшие в рецензируемый сборник, распределены по трем главам. В первой главе (с. 17—93) анализируются вопросы археологии, истории и культуры "темных веков" британской истории. Две следующие главы, рассматриваемые в данной рецензии, — "Предыстория кельтских языков Британии" (с. 97—304) и "Предыстория древнеанглийского языка" (с. 307—465) — посвящены собственно лингвистическим проблемам.

Предметом анализа статей, помещенных во второй части сборника, является история общebritтского языкового развития до возникновения так называемых новобриттских языков — архаических валлийского, корнского и бретонского. Интерес к этому периоду истории кельтских языков не случаен. Открытые за последнее двадцатилетие новые кельтиберские и галльские надписи показали, что еще в первых веках нашей эры эти языки разделяли черты, общие для всех древних индоевропейских языков, таких, как, например, латынь или греческий. Прошедшая в эпоху "темных веков" британской истории коренная перестройка языковой системы изменила облик языка настолько, что для объяснения новообразований многим исследователям приходилось обращаться к теории субстратного влияния. Таким образом, с учетом достижений в изучении континентальных кельтских языков, с одной стороны, и новых открытий в истории новокельтских языков — с другой, важнейшей задачей представляется выявление процессов, происходивших в кельтских языках Британии и Ирландии в I—IV вв. н.э., т.е. установление "фактора X", превратившего, например, ирландский или бретонский языки в то, чем они стали уже к VII—VIII вв. [1]. Эти вопросы и обсуждаются на страницах работ, вошедших во вторую часть сборника.

Рассматриваемые статьи отличаются друг

от друга и по цели написания, и по масштабу. Так, три работы (В. Мейда, К.Х. Шмидта и Д.Э. Эванса) представляют собой своеобразные аналитические обзоры имеющегося материала по истории общebritтского языка. Часть статей посвящена более конкретным вопросам — исторической фонологии (Дж. Кук, П.-И. Ламбер), и морфологии (Ст. Циммер, А. Алквист). В исследовании П. Симс-Уильямса рассматриваются вопросы перехода от общек новобриттскому языковому состоянию. Несмотря на многообразие тем и различия в подходах, эти работы представляют нечто целое. Фактически перед нами предварительные материалы к исторической грамматике общebritтского языка. Поэтому представляется целесообразным рассмотреть общую концепцию (безусловно, с учетом расхождений) становления новобриттских языков, представленную участниками симпозиума.

Со времен опубликования монументального труда К. Джексона [2], создавшего историческую фонологию общebritтского языка на основании данных топонимики, ономастики и косвенных свидетельств "темных веков", прошло уже почти сорок лет. Однако несмотря на значительные достижения в этой области за последние десятилетия, эта работа остается настольной книгой любого бриттолога, своеобразной точкой отсчета для позднейших построений. Не являются исключением и работы участников симпозиума. Символично и то, что название сборника практически дословно повторяет название книги К. Джексона.

Основными вопросами развития бриттских языков, как отмечает К.Х. Шмидт, являются (1) датировка возникновения новобриттских языков, (2) установление причин структурных изменений в общebritтском и (3) установление относительной скорости лингвистических изменений (с. 134).

Традиционно (см. [2]), выделяются два

периода предьстории новобриттских языков — ранний (до 450 г.) и поздний (450—550 гг.). К.Х. Шмидт предлагает свою модификацию этой модели, выделяя два этапа раннего общебриттского — доримский (до 43 г.) и римский (до 450 г. н.э.) (с. 126). Действительно, латинское влияние на развитие бриттского языка было значительным и отразилось в морфологии, лексике и, возможно, в синтаксисе (см. [3, с. 204, 216]). Поэтому, с одной стороны, выделение римского этапа кажется логичным и обоснованным. Однако практически полное отсутствие информации о развитии бриттского языка до этого периода делает эту новую периодизацию весьма уязвимой.

Согласно концепции К. Джексона, распад позднебриттского привел к образованию архаических новобриттских языков. В этом отношении крайне важным является определение критериев отличий. Так, К. Джексон в качестве этих критериев выделяет потерю конечных слогов и синкопу [2, с. 5, 691]. П. Симс-Уильямс добавляет к ним два важных дополнительных критерия — появление глухих спирантов (бритт. \**broccos* "барсук", валл. *broch*) и так называемую новую количественную систему гласных, при которой долгота гласной становится позиционно обусловленной (с. 213—219). Так как основой выделения этих критериев является, с точки зрения автора, их роль маркеров, отличающих новобриттские языки от древних, вероятно, к ним стоит добавить и леницию [4]. Традиционно эти изменения датируются концом V — началом VI в. Работы участников симпозиума позволяют подвергнуть эту периодизацию сомнению.

Относительная хронология в работе К. Джексона основана на внутренней логике лингвистических изменений. В ряде случаев традиционные аргументы подвергаются критике. Так, П. Симс-Уильямс предполагает, что новая система гласных долгот могла возникнуть ранее спирантизации (с. 219). Абсолютная хронология в работе К. Джексона зависит от абсолютной хронологии взаимодействовавших с бриттским языков и датировки источников. В этом отношении, вероятно, наиболее важной поправкой является разделяемая П. Симс-Уильямсом датировка основного современного для общебриттского периода латинского источника — *De Excidio Britanniae* Гильдаса — 500—560 гг., а не 540 г., как предполагал К. Джексон (с. 225). (Этот вопрос рассматривается и в первой части сборника в статье М. Херрена.) Не менее важным является и соотнесение жизни Св. Патрика с более ранним периодом, т.е. 350—430 гг.

(Дж. Кук, с. 179 и сл.). Значение этой периодизации заключается в том, что такие явления древнеирландского языка, как спирантизация согласных в интервокальном положении, умлаут, апокопа и сокращения долгих гласных, могут быть датированы периодом до 400 г.

Проблема хронология миссии Св. Патрика тесно связана с вопросами собственно бриттского развития, в частности, с таким сложным морфонологическим явлением, как лениция (ослабление артикуляции согласных в интервокальном положении) рассматривается в работе К. Джексона как одновременно протекающий процесс в обеих группах языков — гойдельской и бриттской. Согласно его схеме, в островных языках лениция проходила в два этапа. На первой стадии, в общекельтском, сложилась система противопоставления согласных по силе/слабости. На втором этапе, во второй половине V в., слабые глухие смычные в гойдельском перешли в спиранты, а в бриттском — в звонкие смычные, слабые звонкие смычные перешли в обеих группах языков в звонкие спиранты. В двух работах участников симпозиума — Дж. Кука и П. Симс-Уильямса — предпринимается попытка по-иному взглянуть на этот процесс.

Концепция Дж. Кука, являющаяся модификацией конструкта А. Мартине [5], предлагает следующую схему. На первом этапе проходит "древнекельтская лениция", при которой смычные развились в сильные аллофоны в аялауте и слабые в интервокальной позиции. Вторым этапом является спирантизация в позднем архаичном древнеирландском. Автор предполагает, что озвончение глухих бриттских смычных произошло позднее традиционно приписываемого этому процессу времени и основано на постапокопном/синкопном распределении гласных и согласных (с. 198—202). Конструкт П. Симс-Уильямса состоит из трех стадий: 1) "первая спирантизация" звонких смычных (необязательно одновременно в ирландском и бриттском); 2) озвончение глухих смычных в бриттском и 3) "вторая спирантизация" глухих смычных в ирландском (с. 232—236). Представленные концепции, несмотря на различия, в том числе и методологические (Дж. Кук основывается на эмпирических данных, П. Симс-Уильямс — на внутренней логике звуковых изменений и большом фактическом материале), достаточно близки. В обеих высказываются "еретичные для бриттологов" (П. Симс-Уильямс) идеи о (1) хронологическом разделении гойдельской и бриттской лениции и о (2) лениции в брит-

тском как двухфазовом процессе. О судьбе этих безусловно революционных гипотез говорить сложно. Дальнейшее изучение вопроса, основанное на разумном синтезе этих двух концепций, может привести к значительным сдвигам в понимании лениции как процесса. Хочется надеяться, что они привлекут внимание кельтологов и не забудутся, как забылась оригинальная концепция порядка слов валлийского предложения Х. Пильха, которая даже не упоминается в части обзора Д.Э. Эванса, посвященной синтаксису (с. 166—172).

Авторы сборника весьма критически отнеслись к теории К. Джексона об изменении общebritтской языковой системы как следствию исторических катаклизмов и исчезновения лингвистически консервативного класса общества. Как справедливо отмечает К.Х. Шмидт, эта концепция, сама по себе слабодоказуемая, становится еще менее убедительной, если принять во внимание тот факт, что датированные приблизительно этим же временем изменения в ирландском прошли без влияния каких-либо исторических факторов, сопоставимых с англосаксонской оккупацией Британии. Автор считает, что сопоставительный анализ фонетических изменений в ирландском и бриттском может дать много нового для понимания этих процессов (с. 137, 138). Однако этому должен предшествовать критический анализ имеющегося древнейшего ирландского материала. Указанным вопросом посвящена статья Й. Гипперта, в которой излагаются обоснования нового издания корпуса огамических надписей. Идею важности гойдельских свидетельств для бриттской реконструкции подчеркивает и А. Алквист (с. 289). Рассматривая систему глагольных форм в имперфекте, автор отмечает, что в истории ирландского языка был период, в течение которого сосуществовали перифрастические и синтетические глагольные структуры. За этим периодом последовал процесс урбанизации (с. 287, 290). Данные изменения хронологически совпадают с процессами потери окончаний, синкопы и апокопы, т.е. теми явлениями, которые так сильно изменили систему ирландского языка.

Вопросы морфологии поднимаются и в статье Ст. Циммера. Автор предполагает, что анализ латинских заимствований эпохи "темных веков" на уровне морфологии более показателен, нежели анализ изолированных лексических заимствований (с. 265). В работе рассматриваются заимствованные в бриттский язык латинские суффиксы, распределенные по следующим группам: 1) заимствованные суффиксы без кельтских эквивалентов, 2) заимствованные суффиксы,

совпавшие с кельтскими и 3) кельтские суффиксы, продуктивность которых возросла после заимствования соответствующих латинских форм. В исследовании в большей степени освещены суффиксы первой группы. Стоит отметить, что в ряде случаев возможна и иная интерпретация предложенного автором материала. Так, можно предположить, что продуктивность валл. *-awd(w)r* (из лат. *-atorem*) в большей степени поддерживалась существованием валлийских сложных слов на *-wr* (< *gwr* "человек"). Это подтверждается и образованием множественного числа у подобных слов по аналогии с этими сложными словами (*-awd-wyr, gwyr*), о чем упоминает и сам автор. Поэтому безоговорочное соотнесение валл. *nomina agentis* на *-awd(w)r* с первой группой кажется несколько некорректным. Вызывает вопросы и выбор критерия для дистрибуции материала между второй и третьей группами.

Большинство участников симпозиума отметило скудость прямых источников для реконструкции бриттского языкового развития. Скептически оцениваются и лингвистические данные древнейших форм новобриттских языков (Д.Э. Эванс, с. 163—168). Все это заставляет исследователей искать дополнительный материал для исторических построений. Таким материалом могут послужить данные архаичной валлийской поэзии (Д.Э. Эванс, с. 166; К.Х. Шмидт, с. 136). Именно на основе сочетания этих данных (после значительной филологической обработки) с материалом древнейших новобриттских текстов возможно создание грамматики архаического валлийского языка [3, с. 211]. Важно также и использование показаний континентальных кельтских языков, особенно галльского. По мнению К.Х. Шмидта, наступило время для создания (по крайней мере, частично) галлобриттской грамматики (с. 139).

Так когда же все-таки появились новобриттские языки? Как отмечает в своем обзоре Д.Э. Эванс, кельтологи не считают необходимым или возможным установить точно датированное время их возникновения. Джексоновский "быстрый распад древнего языка" является иллюзией. Поэтому методологически важным представляется выделение додиалектной формы новобриттских языков — архаического общего новобриттского (Дж. Кук) или *Lingua Brittanica* (Л. Флерю). Анализ лингвистического материала показывает, что начало распада общebritтского может быть датировано ранним V в., и этот процесс мог завершиться уже к началу VI (П. Симс-Уильямс, с. 248; Д.Э. Эванс, с. 175).

Представленные в сборнике статьи по кельтологии показывают, что бриттонистика достигла нового уровня зрелости. Многое в истории бриттского языка еще остается непонятным; многие лингвистические выкладки кажутся спорными. Но можно с удовлетворением отметить, что кельтология сделала еще один шаг вперед к пониманию процессов, так преобразивших островные кельтские языки, к установлению "фактора X", так повлиявшего на их развитие.

В отличие от второй главы сборника, где статьи объединены общностью проблематики, сообщения, представленные в третьей главе, посвящены различным аспектам предыстории английского языка. В них обсуждаются такие вопросы, как состав германских племен, переселившихся в Британию, взаимодействие древнеанглийских диалектов, условия проникновения в древнеанглийский язык ранних латинских заимствований, а также проблемы англосаксонской рунической письменности.

Ревизия всего комплекса данных (литературных, археологических, топонимических, лингвистических), которые используются при оценке степени участия фризов в завоевании Британии, позволила Р. Бреммеру младшему по-новому подойти к традиционной проблеме. Вслед за другими исследователями [6, с. 498—507] он отмечает недостаточность сведений о существовании фризского королевства в Британии, приводимых в сочинении Прокопия — единственном источнике, где рассказывается о судьбе этих германцев после их переселения с континента. Современные археологические изыскания, по мнению Бреммера, ставят под сомнение исключительно англо-фризское происхождение керамики и гребней определенного типа, которые были обнаружены на островах. Поскольку в настоящее время эти предметы находят по обе стороны Северного моря, они могут свидетельствовать лишь о ведущей роли Фризии в культурном мире северо-западной области германского ареала. Анализ топонимических данных (топонимов с элементом *-ing-*, а также с первым компонентом *Fris-*) позволил Бреммеру утверждать, что нет достаточных оснований для традиционного положения о многочисленности фризов-переселенцев.

Особое место в рассматриваемой системе доказательств занимают лингвистические аргументы. Исходя из гипотезы об англо-фризском языковом единстве, основанной на большом количестве (> 40) фонетических и морфологических параллелей между этими языками [7], многие ученые полагают, что английский и фризский — это две боковые

ветви общего языкового ствола [8, 6, 9]. Отсюда легко прийти к выводу об общности исторических судеб носителей данных языков. Бреммер, однако, разделяет современную точку зрения, согласно которой фризский являлся последним языком ингвеонской группы, противостоявшим инновациям, исходившим из франкских культурных центров. Если английский язык оказался не затронутым этими инновациями из-за своего островного положения, то фризский смог сохранить консервативные черты потому, что его носители были защищены от внутренних областей континента обширными болотистыми пространствами.

В целом Бреммер склоняется к выводу, что доля участия фризов в переселении германских племен на Британские острова была не большей, чем доля швабов и тюрингов. Свою концепцию он подкрепляет историческими соображениями. Известно, что после переселения германцев в Британию Фризия расширила сферу своего влияния на континенте, но это было бы невозможно при массовом исходе ее обитателей. Археологические раскопки показывают, что население Фризии в V—VI вв. оставалось стабильным, а возможно, и увеличилось. Последующая экспансия континентальных фризов привела к колонизации многих областей и, в частности, островов на севере, поэтому встречающиеся в литературе утверждения, что фризы пришли в Британию из северной Фризии, лишено основания.

Актуальность поднятого Э. Зебольдом вопроса об идентификации ютского и его связи с кентским не подлежит сомнению вследствие сложности и недостаточной разработанности проблемы взаимодействия древнеанглийских диалектов.

Согласно традиции, восходящей к "Церковной истории" Бэды, юты участвовали в завоевании Британии наряду с англами и саксами. Впоследствии англ-ы стали основными носителями нортумбрийского и мерсийского диалектов, саксы — уэссекского, а ютов обычно связывают с кентским диалектом. По мнению Зебольда, установление такой связи возможно лишь при допущении, что Кент был государством ютов, которое он, исходя из анализа письменных источников, считает ложным. Юты действительно составляли значительную племенную группу, обитали наряду с другими племенами в Кенте, Хэмпшире и на о. Уайт, но самостоятельного королевства у них не было (другую точку зрения см. [10—11]).

Языковые данные не позволяют также отождествить кентский с относительно самостоятельным ютским диалектом. Иденти-

фикация кентского в отличие от уэссекского и английских диалектов затруднена. Несмотря на обилие текстов из Кента они неоднородны по характеру представленных в них языковых форм — ранние тексты обнаруживают большое сходство с английскими источниками, поздние — с уэссекскими. Зебольд объясняет своеобразие кентского тем, что изначально он представлял собой мерсийский диалект, который использовал в значительной степени формы и лексику ютского, а позднее приспособился к уэссекскому узусу. Устойчивость исконной ютской лексики проявляется в том, что в кентских текстах можно найти слова и обороты, отклоняющиеся от уэссекской нормы. Данные особенности кентской лексики объясняются тем, что, согласно традиционной точке зрения, на континенте англы располагались между саксами и ютами. Ютский был, таким образом, самым северным западногерманским языком и в условиях диалектного континуума обладал тесными связями с северогерманским, оказавшим заметное влияние на его лексику.

Подводя итоги, Зебольд определяет ютский как исконный язык ютов на юге Англии, взаимодействие которого с мерсийским и уэссекским нашло отражение в специфических особенностях лексики кентских текстов. Вместе с тем чисто кентского диалекта, по его мнению, не было. Различались три диалектные разновидности: 1) кентский мерсийский, т.е. мерсийский, который употребляется в Кенте, 2) кентский уэссекский и 3) ютский кентский, который в наибольшей степени соответствует нашему представлению о кентском.

В статье А. Вольмана предметом исследования послужили слова латинского происхождения, которые, согласно традиции, восходящей к трудам А. Погатчера [12], были освоены германцами в V—VI вв. в Британии и составляет поэтому "островной" слой латинских заимствований.

В качестве основного критерия при выделении данных лексем Погатчер принял отражение в них фонетических изменений, характерных для вульгарной латыни: озвончение взрывных в интервокальной позиции, снижение /i/ > /e/ и /u/ > /o/. Однако при датировке указанных процессов он опирался не на показания латыни и романских языков, а увязывал эти изменения с культурно-историческими и лингвогеографическими факторами, имевшими отношение к развитию древнеанглийского языка. В частности, абсолютная хронология вхождения анализируемых слов в язык древних германцев определялась относительно двух исторических событий: начало заселения

Британии англосаксами (450 г. н.э.) и начало ее христианизации (кон. VI в.). Соответственно основанием для заключения о заимствовании слова до или после 450 г. служит наличие/отсутствие у него параллелей в других западноевропейских языках.

Таким образом, переселение англосаксов трактовалось не как длительный процесс, а как точечное событие (450 г.), которое сопровождалось разрывом связей с континентом и полной изоляцией Британии. Но в таком случае неизменным условием заимствования анализируемых слов должно было быть существование романизованных кельтов, с которыми англосаксы вступали в языковые контакты.

На основе самостоятельного исследования данной группы заимствованных слов Вольман подверг резкой критике концепцию Погатчера, особенно ее методологический аспект. Он показал несостоятельность разграничения латинских заимствований древнейшего периода в английском языке на "островной" и континентальный слой, поскольку границы между ними зыбки и местом заимствований многих из этих слов оказываются в конечном счете северо-западные области континента и Галлия. Некоторые древнеанглийские слова латинского происхождения, вошедшие в язык в V—VI вв., позволяют говорить о сохранении достаточно тесных связей Британии с континентом, поскольку северо-западные области континента сохраняли для германцев большое значение как в культурном, так и в экономическом отношении. Еще до принятия христианства, например, англосаксы усвоили многочисленные названия деревьев и растений, что было обусловлено развитием монастырского садоводства и медицины: др.-англ. *peru* "груша", *finugi* "фенхель", *rūde* "рута", *croh* "крокус". Широко представлена в древнеанглийском и северо-французская топонимика: *Bunne* "Бульон", *Sunne* "Сомма", *Sigen* "Сена".

В связи с критическим анализом концепции Погатчера и несостоятельностью выдвинутого им деления латинских заимствований в английском языке Вольман предложил использовать принятое А. Кэмпбеллом разграничение таких заимствований на ранние и поздние [13].

Вместе с тем очевидно, что плодотворное исследование данного разряда древнеанглийской лексики потребует изучения всего фонда ранних латинских заимствований в других западногерманских языках. Расширение круга языков, на материале которых были бы подвергнуты анализу эти заимствования, несомненно, способствовало бы освещению лингвогеографическим

аспектов проблемы их хронологии. В частности, можно было бы сделать выводы хронологического порядка, исходя из наличия слов латинского происхождения в маргинальных языках — кельтских, германских, баскском, албанском.

Проблемы англосаксонской рунической письменности затрагиваются в нескольких сообщениях. Остановившаяся на характеристике языка германских племен после завоевания Британии, Х. Эйхнер указывает на то значение, которое имеют ранние англосаксонские рунические надписи (до 650 г.) для изучения истории английского языка. Анализ немногочисленных надписей, взятых из работы Р. Пэйджа [14], показывает, что благодаря архаическим особенностям этих надписей при их фонологической интерпретации появляется реальная возможность дополнительной проверки положений исторической фонетики, полученных путем реконструкции. В целом, по мнению Х. Эйхнера, обращение к руническим источникам, изучение засвидетельствованных в них форм на уровне морфологии, словообразования и синтаксиса позволяет расширить временные границы при изучении английского языка, проследить некоторые черты в его развитии в период, не засвидетельствованный письменными памятниками на латинской основе.

Значительную научную ценность представляет проведенное Дж. Хайнсом описание всех найденных в последние годы в Англии рунических надписей, относящихся к V, VI и нач. VII в. Эти надписи публиковались в различных изданиях, но теперь благодаря усилиям Хайнса они стали доступны исследователям и вводятся таким образом в широкий научный оборот. Материал в статье распределен по трем категориям: 1) разборчивые (*legible*) надписи (общее их число — 11), 2) неразборчивые (*illegible*) надписи (4) и 3) отдельные руны или знаки, похожие на руны (6). Автор приводит все надписи, сопровождая их исчерпывающей библиографией и археологическими комментариями (состояние надписи, существующие разночтения и их обоснование, место находки, временная атрибуция, импортное или местное изделие).

Определенный вклад в изучение англосаксонской рунической письменности вносит А. Баммесбергер, предлагая свою интер-

претацию лингвистических проблем, связанных с идентификацией рун на золотой монете, попавшей в Британский музей из коллекции Георга III. Считая эту надпись именем собственным (в транслитерации *SKANOMODU*), автор подробно обсуждает три основные проблемы: 1) морфологический статус конечного *-u*, 2) идентификация гласного в первом компоненте слова и 3) интерпретация соединительного гласного.

Р. Дероле предпринял оригинальную и смелую попытку применить системный подход при интерпретации англосаксонских рунических надписей. На базе двух рядов англосаксонских рун, засвидетельствованных в разных источниках, был реконструирован прототип 28-значного футарка. Его сопоставление с древнейшим общегерманским 24-значным футарком продемонстрировало характер их преемственности. Неизменными остались 19 из первоначальных 24 рун, модификации остальных пяти не всегда были радикальными. Вслед за Л. Виммером [15] Дероле полагает, что реформа, которая привела к созданию специфических англосаксонских рун, была вызвана прежде всего фонологическими изменениями, затронувшими названия некоторых рун. Определенную роль сыграло здесь и графемное правило исходной системы, где долгие и краткие гласные фонемы обозначались одной руной. Рассматривая реформу как своего рода цепную реакцию, при которой каждый последующий шаг влечет за собой еще более глубокие изменения, Дероле дает свое объяснение механизма данного явления. На основе сопоставительного анализа новых англосаксонских рун в сохранившихся надписях исследователь приходит к заключению, что первая руническая реформа имела место до переселения англосаксов в Британию, а последняя, обусловленная фонемным напряжением между велярными и палатализованными заднеязычными фонемами, произошла уже на островах.

Подводя итоги, необходимо отметить, что публикация рецензируемого сборника, несомненно, является значительным событием для специалистов в области кельтских языков. Помещенные в сборнике исследования будут способствовать дальнейшему углубленному изучению поднятых в них проблем.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Королев А.А.* "Новое мышление" и кельтология // Язык и культура кельтов. М., 1988. С. 12.
2. *Jackson K.* Language and history in Early Britain. Edinburgh, 1953.
3. *Калыгин В.П., Королев А.А.* Введение в кельтскую филологию. М., 1989.
4. *Williams I.* The beginnings of Welsh poetry. Cardiff, 1980. P. 5.
5. *Martinet A.* Celtic lenition and Western Romance consonants // Language. 1952. V. 28.
6. *Thompson E.A.* Procopius on Britania and Britannia // Classical quarterly. 1980. V. 30.
7. *Nielsen H.F.* Old English, Old Frisian and Germanic // Philologia Frisia Anno 1984. Ljouwert, 1986. № 661. P. 173.
8. *Stenton F.* Anglo-Saxon England. Oxford, 1971.
9. *Bremmer R.H.Jr.* Old English — Old Frisian: The relationship reviewed // Philologia Frisia Anno 1981. Ljouwert, 1982. № 618. P. 79—81.
10. *Маковский М.М.* Этнонимика Англии в сравнительно-историческом освещении // Этнонимы. М., 1970.
11. *Маковский М.М.* Сравнительно-историческая диалектография англо-кельтской лексики: Дис. ... докт. филол. наук. Л., 1969.
12. *Pogatscher A.* Zur Lautlehre der griechischen, lateinischen und romanischen Lehnwörter im Altenglischen // Quellen und Forschungen zur Sprach- und Kulturgeschichte der germanischen Völker. 1888. Bd 64.
13. *Campbell A.* Old English grammar. Oxford, 1959. P. 200, 214.
14. *Page R.I.* Introduction to English runes. L., 1973. P. 26—27.
15. *Wimmer L.* Die Runenschrift. 2-te Aufl. B., 1887. S. 33, 194—200.

*Фалилеев А.И., Сизова И.А.*

**Кумыхов М.А.** Сравнительно-историческая грамматика адыгских (черкесских) языков. М.: Наука, 1989. 384 с.

Многолетняя работа М.А. Кумахова по сравнительно-историческому изучению адыгских языков увенчалась созданием двух обобщающих монографий — Сравнительно-исторической фонетики адыгских (черкесских) языков" (М., 1981) и "Сравнительно-исторической грамматики адыгских (черкесских) языков" (М., 1989). Эти труды представляют собой первый опыт реализации предложенной адыговедом программы внедрения в западнокавказское сравнительно-историческое языкознание принципа относительной хронологии, мыслимой как установление древности языковых явлений не через их вневременное и вневпространственное разграничение на архаизмы и инновации, а путем их отнесения к определенному праязыковому состоянию — общеадыгскому, адыгско-убыхскому, общеабхазскому, западнокавказскому. Такое понимание релятивной хронологии очень важно для сравнительно-исторического освоения западнокавказских языков, которые не имеют давних письменных традиций и поэтому не могут быть исследованы традиционным (филологическим) методом.

В рецензируемой монографии М.А. Кумахова анализируются грамматические особенности общеадыгского языка, их отношение к более ранним историческим перио-

дам, а также вопросы развития грамматики в период после распада общеадыгского языка. Реконструкция состояний общеадыгского языка и более древних его лингвистических предков дается в рамках относительной хронологии.

При разработке сравнительно-исторической морфологии в центре внимания исследователя оказались вопросы структуры общеадыгского корня и грамматической категории классов. Существуют разные теории общеадыгского корня, из которых наибольшее распространение получили а) теория Н.Ф. Яковлева о первичности односложных открытых корней и б) теория Г.В. Рогава о вторичности односложных открытых корней, возникших от более сложных образований типа "классный префикс + корень + детерминативный суффикс".

С точки зрения М.А. Кумахова, эти теории являются статическими, не учитывающими различий между разными хронологическими уровнями.

Касательно строения общеадыгского корня М.А. Кумахов исходит из динамической теории реконструкции, согласно которой корень или основа как единица онтологического уровня подвергается преобразованиям, что исключает существование только

одной модели корня. Исследователь постулирует для общеадыгского уровня не одну модель, а разные модели корня.

Господствующим стало в лингвистическом адыгovedении мнение о пронизанности исторической морфологии адыгских языков грамматической категорией классов и категорией детерминантов. В основе монографии М.А. Кумахова лежит положение об элиминировании этих категорий из общеадыгского состояния и соотнесении их с эпохой, предшествовавшей периоду западнокавказской языковой общности, что во многом определяет приемы реконструкции и исходные позиции компаративиста.

Работа М.А. Кумахова написана на исключительно богатом материале адыгских диалектов и говоров, сохранивших многие элементы общеадыгского языка и более ранних праязыковых состояний, а также демонстрирующих сложившиеся в них после распада общеадыгского состояния материальные и структурные явления. Надежной основой для сравнительно-исторического изучения автором грамматической системы адыгских языков послужили существующие диалектологические публикации.

М.А. Кумахов имеет предшественников в области компаративной разработки адыгской грамматики, к которым относятся: французский лингвист-кавказовед Ж. Дюмезиль, определивший еще в начале 30-х годов отдельные морфологические соотношения между адыгскими и другими западнокавказскими языками; грузинские компаративисты Г.В. Рогава и К.В. Ломтатидзе, внесшие большой вклад в становление и развитие западнокавказского сравнительно-исторического языкознания; Н.Ф. Яковлев и Д.А. Ашхамаф, немало сделавшие в плане диахронического рассмотрения некоторых грамматических явлений.

Заслуга М.А. Кумахова состоит прежде всего в том, что он впервые в западнокавказском языкознании предпринял опыт построения сравнительно-исторической грамматики адыгских языков.

На протяжении почти всей монографии в поле зрения компаративиста находятся структурные признаки (resp. грамматические категории) частей речи: именно они составляют основу грамматического строя языка. Рассмотрение грамматических явлений посредством их разложения по хронологическим полочкам делает анализ материала адекватным, осуществляемые реконструкции надежными, изложение убедительным.

Грамматическая категория определенности/неопределенности относится к числу самых древних структурных признаков слов

именной лексики. С точки зрения М.А. Кумахова, эта категория составляет принадлежность западнокавказского ареала. Образовавшиеся путем распада архетипа праабхазский язык и адыгско-убыхское единство унаследовали префиксальное выражение определенности/неопределенности. На более позднем хронологическом уровне — общеадыгском — сложилась категория определенности/неопределенности, выявляемая чередованием суф. *-р*, *-м* с нулем, а абазинский, абхазский и убыхский языки продолжали префиксально обозначать определенности/неопределенности (чередованием преф. *а-* с нулем).

Таким образом, в отношении способов передачи общей для западнокавказских языков определенности/неопределенности адыгские языки оказались зоной инновации, а абазинский, абхазский и убыхский языки — зоной консервации.

В период после распада западнокавказского единства в адыгско-убыхском ареале возникло именное склонение, которое не затронуло праабхазский язык. Для общеадыгского состояния постулируется наличие четырех падежей — именительного, эргативного, творительного и обстоятельного.

Адыгской инновацией следует считать также специально не рассматриваемое в книге различие систем падежных флексий и, следовательно, типов склонения. В основе разграничения систем индикаторов падежей лежит грамматическая (словоизменительная) категория определенности/неопределенности, вследствие чего в адыгских языках одно и то же слово в различных своих морфологических состояниях подходит под разные деklinационные рубрики. Имена в их морфологическом состоянии, выражающем грамматическое значение определенности, обладают своей системой падежных окончаний (*-р*, *-м*, *-у*, *-м-к/э*) и поэтому образуют отдельный тип склонения, но те же имена в их морфологическом оформлении, передающем грамматическое значение неопределенности, также имеют свою схему падежных флексий (*-ф*, *-ф//*-ы, *-у*, *-к/э*) и образуют другой тип склонения. Здесь адыгские языки обнаруживают типологическое сходство, например, с немецким языком, в котором сильное и слабое склонения качественных имен различаются на базе словоизменительных артиклей (в зависимости от наличия или отсутствия перед прилагательным артикля или от характера

артикля), в силу чего одно и то же слово может примыкать к разным типам склонения.

В монографии особое место занимает глагол, который автор считает обладающим "исключительно сложной структурой и высокой степенью синтеза" (с. 122). Скрупулезному рассмотрению подверглись полисинтетизм глагола и его относительная хронология. В итоге к общеадыгскому ареалу отнесены такие конкретные характеристики глагола, как строение слов этой части речи, их основные словоизменительные и словообразовательные категории, иерархия и аранжировка многочисленных основообразующих элементов, дистрибуция личных аффиксов в разных типах основ и др., а важнейшие материальные выразители словоизменительных и словообразовательных форм приписаны западнокавказскому состоянию. Показания материала позволили исследователю утвердиться во мнении, согласно которому по устойчивости общих для западнокавказских языков структурных иерархических особенностей глагол не имеет аналога среди других частей речи.

Очень важными для грамматической науки об адыгских языках представляются выявленные М.А. Кумаховым типы глагольных основ: 1) простые [адыг., каб. *хьы-(н)* "нести"], 2) производные [адыг., каб. *кIуз-тэ-(н)* "продвинуться"], 3) свободные [адыг., каб. *бэнэ-(н)* "бороться"], 4) несвободные [адыг. *йы-хьа-(н)*, каб. *йы-хьэ-(н)* "входить"], 5) прерывистые [адыг., каб. *дэ- — пьы-чы-(н)* "выглядывать откуда-либо"], 6) нейтральные (адыг., каб. *джэзу* "игра", *мэ-джэзу* "он играет").

Эти типы глагольных основ существуют во всех современных адыгских диалектах, что свидетельствует об их соотносимости с эпохой общеадыгского языкового единства.

Исследователь указывает на морфологические признаки, которыми общеадыгский динамический глагол в презентной форме отличается от статического глагола — преф. *уз-* и суф. *-р*, преф. 3 лица *мэ-* (*ма-*), ср.: общеадыг. *сы-уз-кIуз-р* "я иду", но *сы-шьысы* "я сижу"; *ма-кIуз-р* "он идет", но *шьысы* "он сидит". В период индивидуального развития адыгских языков произошли в строении динамических и статических глаголов изменения: общеадыг. преф. динамичности *уз-* в адыгейском изменился в *э-*, в кабардинском — в *о-*; суф. *-р* в адыгейском исчез, в кабардинском сохранился в качестве варианта. Статический глагол обрел в кабардинском суф. *-шь*. Ср. адыг. *с-э-кIуз*, каб. *с-о-кIуз-р* "я иду"; общеадыг. *сы-шьы-*

*ты* → адыг.

*сы-шьыт* → каб. *сы-шьыт-шь* "я стою".

В системе образований, традиционно именуемых глагольными, только презентные динамические формы располагают специфическими морфологическими признаками. Что касается динамических глаголов прош. и буд. времен и статических глаголов всех времен, то они по означенным основным показателям не различаются, ср.: адыг. *сы-кIуз-а-гъ* "я ходил" (динам. прош. вр.), *сы-кIуз-н* "я пойду" (динам. буд. вр.), *сы-шьыт-ы-гъ* "я стоял" (стат. прош. вр.), *сы-шьыт* "я стою" (стат. наст. вр.), *сы-шьыт-ы-н* "я постою" (стат. буд. вр.); каб. *сы-кIуз-а-шь* "я ходил" (динам. прош. вр.), *сы-кIуз-н шы* "я пойду" (динам. буд. вр.), *сы-шьыт-а-шь* "я стоял" (стат. прош. вр.), *сы-шьыт-шь* "я стою" (стат. наст. вр.), *сы-шьыт-ы-н-шь* "я постою" (стат. буд. вр.).

Хотя среди форм, подводимых под категорию глагола, особняком стоит "динамическая форма настоящего времени", пока не ставился в широком плане вопрос о переинтерпретации ее формального статуса, грамматической природы.

Сомнению не подлежит тот факт, что в адыгских языках отсутствуют классические наречия "индоевропейского типа", т.е. оценочные функции, заставшие в оценочно-процессных конструкциях в образе неизменяемых слов. В грамматических очерках по адыгским языкам специалисты возводят в ранг наречий формы слов, характеризующиеся сравнительно меньшей морфологической изменяемостью и выступающие в предложении преимущественно в функции его приглагольного члена с оценочным значением. О таких наречиях и идет речь в исследовании М.А. Кумахова.

Основные типы наречий современных адыгских языков — семантические, морфологические и словообразовательные — отнесены к эпохе общеадыгского единства. Вместе с тем такие сложные наречия, как *тыгъузснахьыпэ* "позавчера" (адыг.), *пшэ-деймышьчIэ* "послезавтра" (каб.) и др., признаны сложившимися в период индивидуального развития адыгских языков.

Реконструкция праязыкового морфологического уровня — дело сложное и трудное, но еще сложнее и труднее синтаксическая реконструкция. В области синтаксиса не всегда оказывается возможным объяснять анализируемые и реконструируемые явления состоянием их генетически исходных форм. Приходится иметь дело и с фактами, возникшими в результате контактирования языков или параллельного их развития. Специфическое положение синтаксиса в ком-

паративистике определяется также его особой ролью при ретроспективном объяснении морфологических реалий, являющихся застывшими синтаксическими объектами.

Состояние разработки синтаксиса адыгских языков оставляет желать много лучшего. Стало почти нормой уделять в грамматических штудиях меньше внимания синтаксической проблематике. Особенно не везет исследователям, посвященным историческому синтаксису адыгских языков.

В книге М.А. Кумахова также отведено более скромное место историческому синтаксису исследуемых языков. В ней автор "не ставит задачи всестороннего сравнительно-исторического анализа синтаксической системы адыгских языков" (с. 299). Эта часть работы ориентирована на исследование "лишь некоторых основных явлений синтаксиса словосочетания и предложения, характерных для общадыгского языка, а также их отношений к более ранним языковым состояниям — адыгско-убыхскому и западнокавказскому" (с. 300), но, несмотря на это, она в какой-то мере подготавливает теоретическую и методическую базу для построения в будущем сравнительно-исторического синтаксиса адыгских языков.

Данные внутренней и внешней (сравнительной) реконструкции позволили М.А. Кумахову постулировать для разных хронологических слоев различные типы словосочетаний, в числе которых атрибутивные словосочетания. К западнокавказскому единству адыговед справедливо относит конструкцию "количественное числительное + существительное". Эта исходная модель унаследована такими западнокавказскими языками, как абазинский (*пшь-сом-кI* "четыре рубль"), абхазский (*бжь-оуыкI* "семь человек") и убыхский (*мIкьIуакьIанIа* "две руки"). Для общадыгского ареала характерны вариативные типы атрибутивных словосочетаний. Например, ареал этот сохранил как реликтовое явление западнокавказскую модель "количественное числительное + существительное" (адыг. *зы чIалэ*, каб. *зы шIалэ* "один юноша") и вместе с тем приобрел новую модель "существительное + количественное числительное" (адыг. *пшьшъэ тIуэкI*, каб. *пшьшъэ тIуэшI* "двадцать девушек").

Что касается прамодели "качественное прилагательное + существительное", то она, как правильно отмечает М.А. Кумахов, преобразовалась в истории западнокавказских языков в модель "существительное + качественное прилагательное".

В рецензируемом исследовании затраги-

ваются отдельные вопросы теории и истории простого и сложного предложения. Из имеющихся в западнокавказских языках синтаксических конструкций предложения наибольший интерес для М.А. Кумахова представляют эргативная и аффективная (инверсивная) конструкции. При этом глагольный тип эргативной конструкции — единственное из коллекции эргативных предложений, характерное для абхазского и абазинского языков, — адыговед не без основания приписывает западнокавказскому ареалу, а возникновение глагольно-именного типа наряду с сохранением западнокавказского глагольного типа в системе эргативных синтаксических построений возводит к адыгско-убыхскому диалектному единству. Автор придерживается мнения об инновационном характере глагольного ядра аффективных предложений, оставляя в то же время открытым вопрос их относительной хронологии.

В монографии подтверждается адекватность в свое время выявленных в адыгских языках подчинительных сочетаний предложений с придаточными частями, вводимыми при помощи союзов *сыда пIуэмэ* (адыг.) // *сыту жьпIэмэ* (каб.) "потому что", *ац кьыхэчIычIэ* (адыг.) // *абы кьыхэчIычIэ* (каб.) "вследствие чего", *арышь* (адыг.) // *арышы* (каб.) "так что" и т.д.

Оценивая книгу М.А. Кумахова в целом положительно, можно было бы указать и на содержащиеся в ней отдельные спорные положения.

Говоря об особенностях эргатива субъекта при транзитивных глаголах, исследователь указывает на неразличение данным падежом понятий определенности и неопределенности (с. 11). Однако известные показания адыгейского языка позволяют, как кажется, ставить вопрос в иной плоскости, ср.: *Пшьяшьэ* (эрг.) *ац фэдиз ышхынэп* "Девушка (неопред.) столько не съест" и *Пшьяшьэм* (эрг.) *ац фэдиз ышхынэп* "Девушка (опред.) столько не съест".

По нашему мнению, мысль автора об элементе -э в "собственных именах с конечным согласным" бжедугского диалекта как флексии эргатива допускает и другую трактовку. Конечный гласный -э собственных имен субъекта в функции эргатива (*Мэджьдэ ыIуагэ* "Меджид сказал") трудно принять за эргативное окончание, потому что такое же оформление получают те же имена и в функции номинатива: *Мэджьдэ кьэкIуагэ* "Меджид пришел". Кроме того, разбираемые имена имеют согласный исход только в их предикативной синтаксической позиции: *КьэкIуагээр Мэджьд* букв. "При-

шедший — (это) Меджид (есть)”. Собственные имена анализируемого типа в их синтаксических функциях предметных членов предложения, как сказано выше, снабжаются конечным гласным -э. Поэтому чередование -э/-∅ можно определить как средство выражения разных грамматических состояний (форм) имени — субъектно-объектного (*Мэджыдэ* “Меджид”) и предикативного (*Мэджыд* букв. “Меджид (есть)”).

Оспаривая существующее мнение о наличии генетической общности у окончания твор. падежа -*чIэ* (-*джэ*, -*гьэ*, -*Iьэ*) и союза *ычIи* (*ыджы*, *ыгы*, *ыIы*) “и”, М.А. Кумахов пишет, что «формы *зычIи*, *зыджы*, *зыгы*, *зыIы* “нисколько, никак” включают не союзный показатель *чI*, *дж*, *гь*, *Iь*, а союзный показатель *и*» (с. 26). Не только *чI*, *дж*, *гь*, *Iь*, но даже их архетипы *кIь* и др. без современного союзного показателя *и* имели (и поныне имеют в шапсугском диалекте) союзное значение: *НэмазыкIь ымышIэу*, *зыкIь ымышIэу шыс* букв. “И намаз не делаю, и ничего не делаю, сидит”.

В рецензируемой работе разграничиваются инфинитив (глагольное образование) и масдар (отглагольное образование). Признавая за этим положением право на существование, можно в то же время указать на общность их лексической базы, словообразовательного механизма (оформление с помощью суф. -н), словоизменительной системы (“именное словоизменение” в синтаксической позиции предметных членов предложения и “глагольное словоизменение” в предикативной функции), синтаксических особенностей (выступление в одних и тех же членах предложения) и т.д., что, на наш взгляд, исключает возможность говорить здесь о разных грамматических объектах.

Особенно осторожен М.А. Кумахов при рассмотрении вопроса относительной хронологии предложений с инфинитивными конструкциями, именуемых Н.Ф. Яковлевым и др. “сложноподчиненными предложениями с сокращенными придаточными”, и подчинительных сочетаний предложений (госр. сложноподчиненных предложений “индоевропейского типа”).

Как показывает анализ материала, предложения с инфинитивными конструкциями наличествуют не только в адыгских языках,

но и в других западнокавказских языках — абазинском, абхазском и убыхском. Во всех этих языках инфинитивные конструкции образуются с помощью обстоятельственных форм типа: *дышчыауа* “(так), как он идет” (абаз., абх.), *данчыауа* “(тогда), когда он идет” (абаз., абх.), *дахьчыауа* (абх.) // *дыауауа* (абаз.) “(туда), куда он идет”, *дыуафэса* “когда ты съешь” (убых.), *адвайнаш’ах’а* “пока они умрут” (убых.), *кIуэмэ* (адыг., каб.) “когда он пойдет”, *узчыефэ* (адыг.) // *жэйыхучIэ* (каб.) “пока он спит”, *кэкIуагэмэ* (адыг.) // *кэкIуами* (каб.) “хотя он пришел” и т.д.

Эти данные внешней (сравнительной) реконструкции позволяют постулировать предложения с инфинитивными конструкциями для западнокавказского ареала.

Синтаксические показания западнокавказских языков дают основания также отнести к древнейшим периодам развития этих языков подчинительные сочетания предложений (госр. сложноподчиненные предложения “индоевропейского типа”): адыг. *Сэ сэкIуэ, сыда пIуэмэ ар кIуэшьтэп*, каб. *Сэ сокIуэ, сыту жыпIэмэ ар кIуэнккым*, абх. *Сара сцойт, избан акузар йара дцарым* букв. “Я иду, потому что он не пойдет”; адыг. *Сэ сэкIуэ, армырмэ мыр кIуэшьт*, каб. *Сэ сокIуэ, армышхумэ мыр кIуэшьт*, абх. *Сара сцойт, мамзар ари дцан* букв. “Я иду, а то этот пойдет” и т.д.

Указанные в рецензии частные замечания, разумеется, не умаляют достоинств насыщенного материалом и идеями капитального труда, которым обогатилась западнокавказская компаративистика.

Суммируя сказанное, следует подчеркнуть, что рецензируемая книга — итог долголетней и кропотливой работы академика Российской академии естественных наук М.А. Кумахова, с именем которого связана прежде всего постановка вопроса о понятии западнокавказского языка, его структурных признаках и периодизации его развития. В монографии на высоком профессиональном уровне разработаны многие узловые вопросы сравнительно-исторического изучения грамматики адыгских языков, что несомненно будет стимулировать дальнейшие исследования в этой области.

Зекох У.С.

М. Килани-Шох — швейцарский лингвист, ученица В.У. Дресслера, специалист по морфологии арабского и французского языков (ряд ее работ был посвящен также проблемам патологии речи); в настоящее время преподает в университете Лозанны.

Первая фраза рецензируемой книги гласит: "Естественная лингвистика достигла того уровня, когда о ней заговорили". С этим нельзя не согласиться: "естественное" направление — одно из самых своеобразных и современных направлений лингвистической мысли в Европе, и то, что его сторонники избегают шумной рекламы, не делает его менее заслуживающим внимания. Сам термин "естественный" в том его понимании, которое имеется в виду, первоначально возник в рамках "естественной фонологии" американца Д. Стэмпа [1, 2], но "естественная морфология" (ЕМ) как самостоятельная дисциплина сформировалась на территории немецкоязычных стран Европы в трудах, главным образом, В.У. Дресслера, а также В. Майерталера, В.У. Вурцеля, О. Панаглы и др. [3—6]. Книга М. Килани-Шох представляет собой прежде всего подробное изложение "стандартной теории" ЕМ в том виде, как она представлена в упомянутых выше и других работах; при этом автор специально обращает внимание на особую новизну положений ЕМ для франкоязычной аудитории, так как во Франции традиционно сильны позиции ортодоксального с'руктурализма ("функционализма"), во многом идущего вразрез с постулатами ЕМ. Однако автор не ограничивается задачей "просвещения" франкоязычных читателей: в последней главе книги ("Аспекты типологии французского языка") содержится попытка применить некоторые положения ЕМ к описанию истории развития французского языка.

Книга строится по следующему плану: в первой части вводится понятие естественности и поясняется его роль в концепции естественной лингвистики. Перечисляются общие принципы, лежащие в основе любых разновидностей этой концепции (гл. 1), и более подробно характеризуется воплощение этих принципов в модели Дресслера, наиболее разработанной и целостной в этом ряду (гл. 2). Далее излагаются теории, относящиеся непосредственно к области естественной морфологии, — это центральная часть книги. В гл. 3 рассматриваются общие проблемы ЕМ: ее соотношение с другими морфологическими теориями, ее эм-

пирическая основа и теоретические источники (такие, как понятие признака или семиотика Пирса); в приложении к этой главе дается определение ряда основных понятий морфологии. Далее рассматриваются конкретные модели ЕМ, предложенные разными исследователями: "универсальная" модель Майерталера в сопоставлении с "системной" моделью Вурцеля (гл. 4) и — наиболее подробно — "процессуальная" модель Дресслера (гл. 5), охарактеризованная ранее в общих чертах. В гл. 6, являющейся эмпирической частью работы, исследуются особенности морфологической типологии французского языка.

Не останавливаясь подробно на частностях, отметим наиболее существенные черты ЕМ как лингвистической теории. "Естественный" подход к языку основывается прежде всего на том, что язык — это инструмент, который человек использует для определенных целей (коммуникация, познавательная деятельность и т.п.); следовательно, различные аспекты устройства этого сложного инструмента должны иметь естественное, "природное" объяснение — с точки зрения того, для чего и как он используется. В частности, морфологические факты должны получать объяснение в рамках общей функционально-семиотической модели языка, которая претендует также на "психологическую адекватность" (т.е. на соответствие прототипу). Рассматриваемая теория исходит из того, что язык стремится к естественной организации, а естественный — это, в самом общем виде, наиболее простой и наиболее удобный для выполнения соответствующих функций.

Функционально-коммуникативная эмпфаза свойственна не только "естественному" подходу: в этом аспекте он близко смыкается с так называемым когнитивным подходом к языку, особенно с когнитивной типологией (Т. Гивон, Х. Зайлер и др.); из предшественников же естественная теория в наибольшей степени опирается на работы Р.О. Якобсона. Собственно говоря, ни одна из предшествующих лингвистических теорий не считала себя "неестественной"; отличие провозглашаемого подхода (особенно в морфологии) состоит прежде всего в том, что естественность объявляется главным объектом как описания, так и теоретического осмысления, а языковые факты (например, те или иные морфологические особенности конкретного языка)

получают объяснение в рамках функциональной модели, претендующей на соответствие реальности. Отличия достаточно явные, если вспомнить таксономическую морфологию классического структурализма или конвенционалистские модели классического генеративизма с их критериями "оптимальности", принципиальной "множественностью описаний" и т.п. Другой важной особенностью ЕМ является ее комплексный, синтетический взгляд на языковую систему: ведь наиболее естественные фрагменты системы должны быть наиболее распространенными в языках мира, наиболее частотными в данном языке, наиболее стабильными при диахронических изменениях и наиболее легко усваиваемыми, например, при овладении языком детьми (так, нелабиализованные гласные переднего ряда более естественны, чем лабиализованные, а из словоформ множественного числа наиболее естественны те, которые длиннее словоформ единственного числа).

Подробнее хотелось бы остановиться на определении основных понятий морфологии, которыми автор предваряет центральную часть книги. Среди этих понятий большая часть относится к так называемой формальной морфологии (корень, слово, морфема, клитика, операция и др.) и лишь одно (хотя и крайне важное) — к области морфологической семантики: это словоизменительная (флективная) vs. словообразовательная морфология. Наиболее глубокая и последовательная система определений для понятий формальной морфологии на сегодняшний день разработана, как это общепризнано, И.А. Мельчуком (последняя по времени версия изложена в [7]). Таким образом, не вызывает удивления, что в определении таких понятий, как словоформа, корень или супплетивизм, автор всецело следует Мельчуку. Более того, те модификации, которые предлагаются автором (самостоятельно или со ссылкой на других приверженцев ЕМ), явно неудачны. Так, трудно, в частности, объяснить отказ от дихотомии морф/морфема (как совокупность алломорфов) при определении минимальной морфологической единицы, равно как и возврат к понятию "внутренней флексии", объединяющему индоевропейские и семитские языки (с. 71, 133 и др.), после убедительных доказательств Мельчука как раз их различия, т.е. того, что в индоевропейских языках представлены чередования, а в семитских — аффиксация особого типа ([7], ср. также [8]). Не слишком ясен и раздел, посвященный противо-

поставлению словоизменения и словообразования: после "дежурных" рассуждений о градуальном характере этой оппозиции следует перечисление ряда "критериев", по которым "прототипическая флексия" отличается от "прототипической деривации". Первую, в частности, характеризует: меньшая "дефектность парадигм" (т.е. регулярность, или формальная стандартность), менее идиоматичный характер производных форм (т.е. семантическая стандартность), тенденция к сохранению синтаксической категории, наиболее маргинальная позиция в словоформе и т.п. Вряд ли апелляция к аппарату теории прототипов здесь удачна: если и нельзя сказать, что приведенные критерии всегда неверны, то достаточно очевидно, что они далеко не всегда верны (особенно в агглютинативных языках с развитым продуктивным словообразованием) и, что самое главное, не являются операционными, т.е. не работают в "пограничных ситуациях". Признак же, который для разграничения словоизменения и словообразования, по-видимому, все же является исходным — а именно, обязательность — автором, как ни странно (ведь ЕМ считает себя продолжающей традицию Якобсона!), вообще не упомянут.

Семантической основой ЕМ служит знаковая теория Ч. Пирса, в особенности тот ее фрагмент, где вводится понятие иконического знака, чрезвычайно важное для концепции ЕМ. Ее авторы полагают, что взамен сосюрковского принципа произвольности языкового знака должен быть принят более плодотворный принцип мотивированности языковых знаков; в частности, в морфологии преобладает использование иконических знаков (что в свое время отмечал еще Якобсон). Все естественное является мотивированным, функционально обусловленным, а поскольку естественное в языке статистически преобладает, то и мотивированные знаки в принципе более характерны для языка, чем немотивированные. Все случаи нарушения этих принципов должны иметь специфические объяснения (диахронические или системно обусловленные).

Особая глава книги посвящена сопоставлению двух моделей ЕМ — Майерталера и Вурцеля, в которых понятие естественности применяется к разным характеристикам языковой системы. Майертале [4] рассматривает понятие системно-независимой естественности в рамках универсально-морфологической модели. Ключевым для Майерталера является понятие маркированности: феномен тем более естествен, чем он менее маркирован, и наоборот. Соответственно, утверждается, что во всех язы-

как более распространены (диахронически устойчивы) более естественные и менее маркированные образования; их признаками являются: конструктивная иконичность (семантически производное слово является также морфологически производным), униформность (отсутствие алломорфизма) и морфотактическая и морфосемантическая "прозрачность".

В центре модели Вурцеля [5] лежит понятие системно-обусловленной естественности, служащее главным образом для объяснения тех внутренних законов, по которым происходят постоянные внутренние преобразования морфологических парадигм (в том числе и такие преобразования, которые утверждают "менее естественные" феномены вместо "более естественных" по Майерталеру). Согласно Вурцелю, господствующими принципами организации морфологической системы являются: наличие ярко выраженных "структурных свойств" системы (формальных признаков, по которым одни парадигмы или классы парадигм противопоставляются другим) и устойчивость словоизменятельных классов с "независимой мотивацией" (чем лучше мотивация класса в целом, тем он более устойчив к диахроническим изменениям, выше его продуктивность и т.п.). Принципы системно-обусловленной естественности, действующие в пределах словоизменятельных парадигм, являются более сильными, чем общие принципы Майерталера, и поэтому в большем числе случаев принципы системно-независимой естественности в языках не соблюдаются.

Наиболее подробная характеристика дается в книге модели Дресслера, которая, как и модель Майерталера, направлена на описание универсальной, системно-независимой естественности. При этом морфологическая естественность понимается как следствие общих когнитивно-семиотических принципов организации языка, и постулируется (в отличие от большинства других современных моделей) примат экстралингвистических причин над лингвистическими при объяснении особенностей функционирования морфологических систем. Естественность определяется как градуальный признак, который выражен тем сильнее, чем выше значения параметров на следующих шкалах: диаграмматичность парадигмы, морфотактическая прозрачность, взаимнооднозначность, индексальность (степень связи морфемы-означающего с морфемой-означаемым, например флексии с основой) и др. Разные морфологические типы языков в разной степени удовлетворяют требованиям

естественности: наиболее полно они выражаются в рамках агглютинативного типа, недостатком которого является лишь большая длина словоформ, ведущая к слабой индексальности; индексальность высока в языках флективного типа. Однако им свойственна слабая морфотактическая и морфосемантическая прозрачность, неоднозначность аффиксов и т.п. Большое место в модели Дресслера отводится также возможности предсказывать языковые изменения как тенденции развития системы в сторону устранения ее наименее естественных фрагментов.

В заключительной главе автор обсуждает как раз некоторые тенденции такого рода в развитии французского языка: с точки зрения автора, современный французский язык является формирующимся агглютинативным типом с сильными элементами изоляции; "новая агглютинация", развивающаяся на протяжении нескольких последних столетий, призвана усилить естественность сильно разрушенной французской морфологической системы. Одной из ключевых тенденций считается также интенсивное развитие во французском языке морфологической препозиции/преддетерминации — такова, в частности, элитивная префиксация. Рассматриваются также разнообразные тенденции преобразования частных морфологических парадигм глагола.

Оценивая книгу в целом, следует четко различать два аспекта: оценку труда автора по составлению информативного введения в проблематику ЕМ и оценку самой ЕМ как теоретического направления лингвистики. По поводу первого не может быть двух мнений: книга М. Килани-Шох очень хорошо соответствует своему жанру, лаконична, доступна и будет с большой пользой прочитана всеми, кто хотел бы получить начальное представление о ЕМ. Вторая проблема гораздо более сложна и, видимо, требует отдельного обсуждения. Здесь хотелось бы подчеркнуть лишь одно. ЕМ, бесспорно, опирается на весьма давние и плодотворные традиции; и каковы бы ни были ее возможные недостатки (а они есть — в первую очередь это известная расплывчатость исходных понятий), ЕМ существенно раздвинула тесные рамки классической морфологии, превратив ее из пыльного склада фактов в живую, центральную область лингвистической теории. Тот "морфологический ренессанс", который ныне признается многими лингвистами (ср., например [9]), в первую очередь связан именно с ЕМ, и каковы бы ни были последующие морфологические теории, они должны будут в той или иной степени учесть и ее опыт.

1. *Donegan P., Stampe D.* The study of natural phonology // Current approaches to phonological theory / Ed. by Dinnsen D. Bloomington, 1979.
2. *Кодзасов С.В., Кривнова О.Ф.* Современная американская фонология. М., 1981.
3. *Dressler W.U.* Morphology // Handbook of discourse analysis / Ed. by van Dijk T. V. II.
4. *Mayerthaler W.* Morphologische Natürlichkeit. Wiesbaden, 1981.
5. *Wurzel W.U.* Flexionsmorphologie und Natürlichkeit. B., 1984.
6. *Dressler W.U., Mayerthaler W., Panagl O., Wurzel W.U.* Leitmotifs in natural morphology. Amsterdam, 1987.
7. *Meřčuk I.A.* Towards a language of linguistics: A system of formal notions for theoretical morphology. München, 1982.
8. *Мельчук И.А.* О "внутренней флексии" в индоевропейских и семитских языках // ВЯ. 1963. № 4.
9. *Molino J.* Le retour de la morphologie // *Langages.* 1985. V. 78.

Плунгян В.А.

*Croatica. Slavica. Indoeuropaea.* Wien, 1990. 299 S. (Wiener slavistisches Jahrbuch. Ergänzungsband VIII).

Настоящий сборник посвящен юбилею Радослава Катичича, профессора Венского университета, широко известного своими трудами в разных областях славянского и индоевропейского языкознания. В названии сборника *Croatica. Slavica. Indoeuropaea* обозначены основные направления научной деятельности юбиляра, тематика статей, принадлежащих перу известных ученых из европейских стран и Америки. В сборнике 35 статей, они не сгруппированы по тематическому принципу, а расположены в порядке следования фамилий авторов. Статьи охватывают широкий круг проблем, актуальных для современной науки. Это — исследование вполне конкретных, частных вопросов, теоретические разработки, дающие более точные методологические подходы к решению тех или иных задач, славянские и индоевропейские этимологии, реконструкция фрагментов духовной культуры, анализ проблем индоевропейского и балканского языкознания и т.д. По существу каждая из статей, входящих в настоящий сборник, представляет собой вполне самостоятельное, законченное исследование со своей проблематикой, своим подходом и конкретным языковым материалом. Особую ценность, значимость и глубину этим работам придает то обстоятельство, что любая проблема рассматривается в широком контексте последних достижений науки с учетом новейшей методик. В пределах отведенного нам объема мы не сможем сколько-нибудь подробно остановиться на всех работах этого сборника, хотя многие из них заслуживают того, чтобы быть пред-

метом специального научного анализа. Свою задачу мы видим в том, чтобы в самом общем виде охарактеризовать проблематику статей. В соответствии с нашими интересами попытаемся более подробно охарактеризовать работы, в которых освещается праславянская проблематика.

В названии сборника на первое место вынесено *Croatica*. В этом — проявление уважения к юбиляру, родом из Загреба, в прошлом профессору Загребского университета. Значительная часть статей связана с хорватской и шире — сербохорватской проблематикой. В них освещаются самые разные вопросы из области современного функционирования языка, диалектологии, истории языка, акцентологии и т.п. С помощью новейших методов исследуется семантика предлога в выражениях типа *sedeti na suncu* // *sedeti u hladu* (М. Ивич), употребление притяжательного местоимения *svoj* (М. Михалевич), так называемые бессоюзные зависимые предложения (С. Бабич). В связи с теорией языковых контактов Р. Филипповичем рассмотрены виды морфологической и фонологической адаптации англицизмов в сербохорватском языке. Для лексикологов и лексикографов несомненный интерес представит анализ фразеологизмов в произведении Марулича "Юдита" (М. Могуш). Аорист в сербохорватском языке и его истории стали предметом исследования Н. Юрич-Каппел. По мнению автора, сохранению кратких претеритных форм в данном языковом пространстве способствовали два фактора — типологический (вхождение в Балканский языковой союз) и социолинг-

вистийский (сохранение некоторых архаичных контекстов). По наблюдениям автора, в современном языке аорист выполняет функцию стилемы, позволяющей воссоздать архетип эпической разговорной ситуации в условиях нашего времени.

Г. Невскловский, известными своими акцентологическими исследованиями, анализирует с этой точки зрения труды Б. Кашича (род. в 1575 г. на о. Паг). Грамматика, словарь, "Духовные песни" Б. Кашича рассматриваются как важный источник сведений по истории ударения в диалектах сербохорватского языка.

Новые данные, уточняющие картину распределения изоглосс *šć/št* и *more/može* на территории славянского диалекта, приведены в статье П. Ивича. В работе четырех авторов (А. Суйоджич, Б. Финка, Р. Рудан и П. Шимунович) предпринята попытка определить на основе количественной обработки 250 слов базового словаря по методу Хемминга степень сходства и различия бургенландско-хорватских диалектов на территории Австрии и характер отношений этих диалектов и диалектов, расположенных на хорватской территории. Результаты исследования представлены в виде таблиц и рисунков.

По урбариям, начиная с 1554 г., прослеживается языковая форма и состав личных имен в Зигендорфе на территории Бургенланда, смешанной в диалектном отношении (J. Vlasits).

Одно из традиционных направлений хорватистики связано с изучением старых текстов, поисками новых источников, позволяющих расширить материальную базу филологических исследований. Л. Хадрович предлагает анализ религиозного стихотворения с названием *Santio pulchra* (XVII в.), которое по содержанию принадлежит к жанру, определяемому как "temento moji". Это небольшое стихотворение (30 строк), написанное на хорватско-кайкавском диалекте, обнаружено автором в университетской библиотеке Будапешта. Найденные И. Ньюмаркаи в Государственном архиве Венгрии новые рукописи (16 купле-продажных договоров и обязательств 1661—1710 гг.), написанные на бургенландско-хорватском диалекте, существенно дополняют корпус материалов, введенных в научный обиход Г. Невскловским, Х. Кошат, Л. Хадровичем и другими исследователями.

К первому разделу могут быть отнесены еще некоторые статьи, в которых исследуются разные проблемы из истории науки, литературы, фольклора. В одной из них (С. Хафнер) дан обстоятельный анализ со-

держания понятий "сербы" и "хорваты" в работах Е. Копитара, в другой (И. Петрович) в систематизированном виде представлены материалы хорватской житийной литературы средневековья и, наконец, в третьей (З. Матишич) проведен сравнительный анализ вариантов сказки о змее-женехе из собрания Вука (№ 9, 10) в сербском, древнеиндийском и языках европейского ареала.

Вторая тема сборника — *Slavica* — объединяет статьи, посвященные разным проблемам старославянского и праславянского языков.

Р. Прейнерсторфер статьей "Древнецерковнославянский или..." подводит как бы итоги развернувшейся в последние годы дискуссии вокруг названия древнейшего языка славянской письменности. Вопрос о языке древней славянской письменности — это вопрос о генетических истоках и географическом происхождении славянских памятников. Ни один из используемых в науке терминов — "Altbulgarisch", "Altmaqedonisch", "Altkirchenslawisch" и др. — не дает точного, однозначного ответа на эти вопросы, напротив, в этногенетическом плане эти термины взаимно исключают друг друга. По мнению болгарских ученых, язык древних памятников был не только церковным, но и государственным языком. Но, как замечает автор, памятник IX—X вв. можно считать болгарским национальным наследием при условии существования светской литературы, подтверждающей этническую специфику болгарской культуры. Число этих памятников незначительно в сравнении с богатой церковно-религиозной литературой. Автор ставит под сомнение возможность связи языка древних славянских текстов с каким-то славянским народом. Можно согласиться с мнением автора о бесплодности терминологических споров, поскольку существующие термины отражают сложность самого предмета исследования и многообразие подходов к его изучению.

Опубликованные в недавнее время рукописи открывают новые возможности изучения древнейшего наследия старославянской письменности [1]. Большой интерес в связи с этим представляет предложенный Ф. Марешом анализ новонайденной части Синайской псалтыри (XI в.), содержащей самый старый известный старославянский текст *Gloria*.

Церковнославянской проблематике посвящена статья Й. Винтра, в которой затрагиваются вопросы лексического влияния пражских хорватско-глаголических памятников Эмаусского монастыря на древне-

чешскую Псалтырь, а также работа Д. Катичич, посвященная ударению греческих заимствований в церковнославянском языке русского извода.

Ключевые вопросы праславянской проблематики обсуждаются в статье Х. Бирнбаума. Концепция праславянского включает в себя разработку по меньшей мере трех основных проблем: 1) прародина славян, 2) временные границы и 3) периодизация праславянского языка. В небольшой статье, очень емкой по содержанию, в предельно сжатой форме, почти тезисно, автор обзрывает основную литературу, выделяет круг идей, определяющих движение научной мысли. Традиционные подходы и новые теории, основанные на последних достижениях сравнительно-исторического и теоретического языкознания, исторической науки, взаимно дополняют друг друга и углубляют понимание узловых вопросов праславянского языка. Х. Бирнбаум придерживается той точки зрения, что славяне изначально занимали территорию между Карпатами и средним течением Днестра и двигались отсюда через Карпаты, в обход гор на юг Балканского п-ова. В расселении славян отводится важная роль обратным волнам миграций в северо-восточном и соответственно в северо-западном направлении. Но предлагаемая автором теория расселения славян не объясняет всей сложности этногенетических процессов. Освоение Балкан, Восточных Альп и восточнославянской территории происходило более сложно, во всяком случае не сводилось к разовому, массированному освоению новых территорий [2]. Исходя из этой теории, трудно понять, какие этногенетические процессы определили различия между западными и восточными диалектами южных славян. Освещая разные, порой противоречивые подходы к определению временных границ праславянского и основных этапов его развития, автор попутными замечаниями и пояснениями помогает глубже понять некоторые положения, постулируемые наукой о праславянском. В освещении балто-славянской проблематики автор придерживается традиционных взглядов. К сожалению, в работе остались незатронутыми новые подходы к решению проблемы этногенетических отношений балтов и славян [3].

В разные периоды своей истории праславяне контактировали с другими народами. Изучение языковых контактов способствует совершенствованию методики исследования. Г. Хольцер, обращаясь к проблеме германских заимствований в праславянском, формулирует некоторые методологически важные принципы изучения заимствований.

Принцип В. Кипарского о предпочтительности объяснения из исконного материала явно недостаточен. Реальные взаимоотношения между языками сложнее и многообразнее, методика их изучения не может строиться без учета теории вероятности. Автор формулирует критерии, позволяющие преодолеть в этимологии изолированный подход к языковым фактам и наметить в более глубокой и широкой перспективе пути изучения заимствований. Повышают надежность выводов следующие критерии: 1) если определенное слово языка А объясняется как заимствование из языка В, то из этого следует, что в принципе возможны заимствования из языка В в А, любое другое слово языка А может рассматриваться как заимствование из языка В; 2) чем больше слоев заимствований в языке А, тем больше языков, которые могут быть источниками заимствованных слов, тем больше вероятность чистой случайности. И наоборот, чем меньше слоев заимствований, тем меньше оснований для случайного выбора. С помощью названных критериев, опираясь на принципы фонетической и семантической соотнесенности слов, автор обосновывает несостоятельность вывода об исконном происхождении слав. \**mǎltā* "солод", \**mǎst* "мост", \**čedǎ* "чадо", \**plakati* "плакать", \**glumъ* "шутка, насмешка" и др. Но, доказывая происхождение этих слов из германских языков, автор в ряде случаев ограничивается в выборе решений, так как не учитывает другие возможные объяснения слова на славянской почве. Вопрос стоит шире, чем просто выбор между двумя альтернативами — германской версией и какой-то одной славянской. Так, вывод о германском происхождении слав. \**mostъ* выглядит убедительным при сравнении с той версией исконно славянского происхождения, которая базируется на идее родства с глаголами \**mesti*, \**metati*. Но существует другое, на наш взгляд, более вероятное объяснение слав. \**mostъ* как первоначального причастия прош. вр. \**mozg-to-* "плетенка", родственного литов. *mezgù*, *mėgztì* "завязывать, вязать", *māzgas* "узел", далее нем. *Masche* "петля" [4]. Точно так же не учитываются другие этимологии при толковании слав. \**glumъ* [5].

Наука о праславянском решает задачу реконструкции общей картины духовной и материальной жизни древних славян. В этой связи существенное значение приобретает изучение и реконструкция лексической семантики. В методологическом отношении очень важны работы И. Немца, ориентированные на восстановление концептуального ядра лексического значения слова.

Специфика исторической лексикологии заключается в том, что при восстановлении семантических связей нельзя не считаться с особенностями мышления древнего человека, с особенностями отражения окружающей действительности в сознании древнего человека. Многие древние слова и выражения семантически связаны с магией. Автор напоминает, что магическое мышление основывается на двух принципах: первый из них может быть назван законом подобия, а второй — законом соприкосновения или контакта. На большом конкретном материале в работе показано, как реализуются принципы магического мышления в архаичной семантике славянских слов. Знание принципов магического мышления помогает понять, почему одним и тем же словом обозначаются *дери* и *проклятие*, почему в древних языках существует одно слово для обозначения злых духов и оврага (ср. др.-русс. *врагъ*, *ворогъ* и *врагъ* "овраг"), души и бабочки (слав. *dušica* "душа" и "бабочка"). С учетом особенностей магического мышления можно восстановить мотивирующие связи, взаимосвязь значений. Так, сохраняются еще такие архаичные контексты, которые дают основание думать, что у слав. \**kletva* значение "клятва", являющееся основным, развилось из древнего "проклятие", а не наоборот, как это принято в словарях [6].

Статья В.Н. Топорова «О „лняном” мифе в ареальной перспективе» является продолжением исследований этого автора, посвященных этнолингвистическим и культурно-историческим, в частности мифоритуальным и мифопоэтическим фактам, которые характеризуют структуру ареала, связывающего Балтику со Средиземноморьем. Всем ходом исследования автор показывает, что в разных языковых традициях (славянской, германской, балтийской) слово *лен* обозначает важную реалию не только земледельческой культуры, но и особый мифопоэтический и ритуальный комплекс, который отражает результаты переработки отдаленных во времени и пространстве идей и образов древней средиземноморской цивилизации.

Очень важная проблема типологии внут-

риславянских и славянонеславянских языковых контактов получает освещение в статье Д. Брозовича. З. Тополинская выявляет сходные синтаксические конструкции с полифункциональными операторами типа франц. *que* и макед. *што*. Общие тенденции, параллелизм конструкций, неизвестный другим славянским языкам, она склонна объяснять влиянием латинского и романских языков на языки Балканского п-ова еще с эпохи средневековья.

Индоевропейская проблематика представлена интересными статьями С. Курцовой ("Диатеза в индоевропейских языках"), М. Крижмана ("Дороманские антропонимические связи в северо-восточной части Адриатического побережья").

В сборнике три этимологических статьи. Одна из них посвящена ведийскому гидрониму *Kuliśī* (В. Шмидт). Й. Рейнхарт приводит веские аргументы в пользу версии заимствования древнехорватского *tanac* из средневерхненемецкого. К этимологически трудному слову — этнониму *Hrvat* обращается Х. Шустер-Шевц. Предлагая новую этимологию, основанную на сближении *Hrvat* со слав. \**svьrna* "серна", он исходит из предположения, что слав. *ch* развилось не из \*(*s*)*k*, а из \*(*s*)*k'*. Но это допущение не получает надежного обоснования, что делает этимологическую версию Шустер-Шевца весьма проблематичной.

В некоторых работах этого сборника на передний план вынесены вопросы методики изучения языковых явлений. Так, новая методика контрастивного сравнения языков на синтаксическом уровне (на материале переводов Кантемира с французского) предложена Г. Хюттль-Фолтер.

И, наконец, нельзя не упомянуть обстоятельный филологический анализ 20-й главы "Поэтики" Аристотеля (Д. Шкилян), разбор проповедей К. Кузmani (1806—1866 гг.) в контексте политической и духовной жизни славян (Г. Витшенс).

Рецензируемая книга, богатая идеями, подходами, материалами, существенно продвинет вперед осмысление узловых проблем славянского и индоевропейского языкознания.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Tarnanidis J.* The Slavonic manuscripts discovered in 1975 at S'Catherine's monastery on mount Sinai. Thessaloniki, 1988.
2. *Трубачев О.Н.* Ранние славянские этнонимы — свидетели миграции славян // ВЯ. 1974. № 6.
3. *Топоров В.Н.* К реконструкции древнейшего состояния праславянского // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. М., 1988.
4. *Трубачев О.Н.* Ремесленная терминология в славянских языках. М., 1966. С. 251.
5. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 6. М., 1979. С. 147—148.
6. *Slovník jazyka staroslověnského.* Praha, 1973. Seš. 15. 32.

Куркина Л.В.

Книга молодого венского слависта Г. Хольцера посвящена довольно редкой (хотя и отнюдь не безызвестной в славистике и балтистике) теме — выявлению заимствований из некоего исчезнувшего индоевропейского языка. Этимологический словарь этих заимствований (с. 47—163) составляет наиболее пространную и, видимо, наиболее значимую часть книги. Исследование балто-славянского материала является для автора не только целью, но и средством, с помощью которого устанавливается существование этого языка, фрагменты его строя и истории. Следует сразу сказать, что автор проявил смелость, изобретательность, разностороннюю эрудицию и умение свести свои разработки в логически непротиворечивую и трудно поддающуюся критике теорию. Его труд отличается продуманностью, а также обзорностью обширного материала (ср. в этой связи суммарный список этимологий на с. 50). Подобная общая оценка не означает, однако, безоговорочного принятия нами далеко идущих результатов исследования Г. Хольцера, обоснованность (resp. необоснованность) которых выявится, вероятно, лишь со временем.

Рецензируемая книга заставляет вспомнить известную в славистике тенденцию к решению этимологических задач на "непрямых путях" [1]. Разница заключается в том, что если в предпринимавшихся ранее попытках обращения к субстрату или адстрату в той или иной степени присутствовал момент отказа от установленных компаративистикой фонетических соответствий (ср. прежде всего работы В. Махека), то у Г. Хольцера аналогичный опыт — существенно модернизированный и изощренный — сопровождается постулированием для определенного круга балто-славянской лексики особой и притом достаточно строгой системы таких соответствий.

Реконструируемый в монографии индоевропейский язык автор называет "темематическим" ("Temematisch"), идентифицируя его в заключительной главе (с. 177—221) с киммерийским. Название "темематический" (т.м.) включает в себе указание на два важнейших "закона", отражающих звуковой строй гипотетического языка (с. 13): 1) индоевропейские глухие (tenues) переходят в звонкие (mediae):  $p > b$ ,  $t > d$ ,  $k' > g'$ ,  $k > g$ ,  $q^h > g^h$ ; 2) индоевропейские звонкие придыхательные (mediae aspiratae) переходят

в глухие (tenues):  $bh > p$ ,  $dh > t$ ,  $gh > k$ ,  $g^h > g$ ,  $g^h > k'$ . Всего же для исторической фонетики "темематического" языка постулируются шесть "законов" (с. 13—14; ср. еще № 3 — переход и.-е.  $t$ ,  $f$  соответственно в т.м.  $ro$ ,  $lo$ ); в "киммерийской" главе к ним добавляются еще два (с. 179).

В книге осуществляется этимологизация десятков славянских и балтийских слов (а также нескольких киммерийских), относящихся к основным разделам словаря (земледелие, скотоводство, пчеловодство, заготовка припасов, социальное устройство и др.). Независимо от предлагаемых Г. Хольцером конкретных этимологий его критика существующих объяснений анализируемых слов (в разделах "Ältere Etymologie", завершающих каждый этюд) в ряде случаев выглядит справедливой, и уже это обеспечивает его словарю заимствований полезность. Приводимый ниже материал охватывает лишь около трети сопоставлений Г. Хольцера — из числа наиболее "весомых" (для краткости указывается, притом в самом сжатом виде, только славянская часть соответствующих этимологий): \**borzda* "борозда" < т.м. \**borg-dā* < и.-е. \**pork-tā* (ср. лат. *porca* "грядка", нем. *Furche* "борозда" и др., с. 50—53); \**proso* "просо" < т.м. \**proso* < и.-е. \**bhṛso* (лат. *far* "хлеб на корню или в зерне, мука", др.-исл. *barr* "ячмень", ср. слав. \**boržьno*, др.-русск. *borošьno* "мучное кушанье", с. 54—56); \**bьrь* "просо" < т.м. \**buuro* т.ж. < и.-е. \**pūro* (греч. *πῦρός* "пшеница, пшеничное зерно", литов. *pūrai* "озимая пшеница", ср. слав. \**pyro*, \**pyrežь* и др. "полба, пырей", с. 56—57); \**smьrdь* "крестьянин" < т.м. \**k'mir-do* < и.-е. \**g'hmer-to*, \**sebrь* "крестьянин" < т.м. \**k'em-ro* < и.-е. \**g'hēm-ro* (литов. *žemė* "земля", ср. русск. *земля*, с. 64—72), \**těsto* "тесто" < т.м. \**toik'-to* < и.-е. \**dhoig'h-dho* (нем. *Teig* "тесто", ср. слав. \**deža* "кадка", с. 73—75), \**teleḡ* "теленок" < т.м. \**tel* < и.-е. \**dhēl* (др.-инд. *dhāru* "сосудный", греч. *Θηλή* "сосок", с. 101—102), \**drevь* "древний" < т.м. \**dreḡo* < и.-е. \**trēḡo* (авест. *θraošti* "зрелость, совершение, конец", др.-в.-нем. *trōwen* "созревать, расти", с. 102—103), \**ēdro* "грудь, лоно" < т.м. \**ēdro* < и.-е. \**ētro* (греч. *ἦτρον* "сердце", *ἦτρον* "живот, брюшная полость", с. 107—109), \**zobьr* "зубр" < т.м. \**g'om-ro* < и.-е. \**k'ḡm-ro* (др.-инд. *sāma* "безрогий", греч. *κνράς* "молодой олень", с. 109—111), \**svepeḡь* "медовые соты" < т.м. \**syep* < и.-е. \*(*s*)*uebh-* (др.-в.-нем. *weban*

"ткать, плести, прясть", *waba, wabo* "медовые соты", с. 118—121), \**trōt* "трутень" < тм. \**tron-* < и.-е. \**dhrōn-* (греч. Θρόναξ "трутень", нем. *Drohne* тж., с. 121—122), \**svobodъ* "свободный" < тм. \**ꙋpo-bodī-* < и.-е. \**ꙋpo-poti-* (др.-инд. *svāpati-* "господин над самим собой, тот, кем никто не повелевает", ср. лат. *sui potens* "независимый", с. 129—132), \**mьsta, \*mьstъ* "месть" < тм. \**mistā-, \*misti-* < и.-е. \**misdhā-* (др.-инд. *mīdhā-* "приз", греч. μισθός "плата, награда", ср. слав. \**mьzda* "мзда", с. 139—140), \**ръtati/\*pytati* "обращать внимание, спрашивать" < тм. \**putā-* и.-е. \**bhuidhā-* (греч. πειθομαι "узнаю, спрашиваю", литов. *budrūs* "бодрый", ср. слав. \**bьděti* "бодрствовать, бдеть", с. 140—142), \**не-рѣtja, \*не-рѣtъjъ* "предлог, подозрение, предположение" < тм. \**pitjā-, \*pitji-* < и.-е. \**bhidh-jā* (греч. πειθω "уговариваю, убеждаю", лат. *fīdō* "верю, доверяю, полагаюсь", ср. слав. \**bьditi* "принуждать, губить, убеждать", с. 142—144), \**porкъ* "стенбитное орудие, праща" < тм. \**porko-* < и.-е. \**bhorgo-* (гот. *baúrǝs* "замок, башня", др.-в.-нем. *burg* "замок", ср. слав. \**berg'ti* "беречь", с. 147—150), \**ędro* "ядро" < тм. \**entro-* < и.-е. \**entro-* (др.-инд. *ántara-* "внутренний", греч. ἔντερα "внутренности", ср. слав. \**ętro* "нутро", с. 159—160), \**golqъb* "голубь" < тм. \**golumbo-* < и.-е. \**kolumbo-* (лат. *columbus* "голубь", с. 161—162).

Удивительно, что автор полностью обошел молчанием развиваемую рядом ученых с начала 70-х годов "глоттальную" теорию индоевропейского консонантизма, обосновывающую, в частности, новое понимание диахронической выводимости германской и армянской систем [2] (в последних традиционно видели инновацию, результат передвижения индоевропейских смычных). Впрочем, и в терминах "глоттальной" теории, и в терминах "классического" варианта индоевропейской реконструкции предложенные Г. Хольцером правила выведения, а по существу — передвижения "тематических" смычных в принципе не содержат в себе ничего невероятного. Но постулируемое в книге передвижение и сам консонантизм "до сих пор неизвестного" языка (сохраняющего палатальный ряд гуттуральных, но, может быть, и лабиовелярных, с. 14), несомненно, нуждаются в типологической верификации, отсутствие которой представляется серьезным упущением.

Реконструкции Г. Хольцера не добавляет убедительности тезис о сохранении чистых звонких (с. 14), обосновывающийся, кажется, всего на трех примерах, один из которых — название голубя (с и.-е. \**-b-* > тм. \**-b-*). Два других затрагивают и.-е. \**d*. Слав. \**bedro*

"бедро" объясняется из тм. \**bed-ro-* тж., далее к и.-е. \**ped-ro-*, деривату \**pēd-/pōd-* "нога", что противоречит широко известному семантическому противопоставлению "Vein" : "Fuß". При этом наряду с тм. \**bedro-* "бедро" реконструируется не более правдоподобное тм. \**bedro-* "перо, крыло" (откуда некое слав. \**bedro-* тж., фундированность которого с позиций славянских данных отнюдь не очевидна, ср. [3]), рассматриваемое как рефлекс и.-е. \**petro-*, ср. др.-инд. *patra-* "перо, крыло" и т.п. (с. 111—117). К упомянутому и.-е. \**pēd-/pōd-* "нога" апеллирует и второй пример с и.-е. \**d*, содержащий объяснение русск. *лебеда* и аналогичных славянских названий того же растения (с. 60—64), этимологизируемых из тм. \**elbedā-/elbōdā-, \*olbdā-, lobedā-/lobodā-* "лебеда" и, далее, из индоевропейского сложения типа \**l-pedā-* "лебеда", собственно "гусиная лапка". Но подобное сложение за пределами реконструируемого Г. Хольцером языка все-таки не встречается.

Стремясь сделать свой подход к материалу максимально объективным, что, конечно, можно только приветствовать, Г. Хольцер в главе "Критерии оценки этимологии" (с. 21—49) дает весьма своеобразное изложение принципов этимологического анализа. "Правильная" этимология (в отличие от "корректной", т.е. в принципе возможной, с. 13), согласно критериям Г. Хольцера, которые, впрочем, в той или иной степени были известны и ранее, предполагает для этимона, во-первых, большую длину корня (так, слав. \**pqto* "путо, узы" лучше объяснять из тм. \**ponto-* "тж." < и.-е. \**bhondho-* "тж.", нежели относить, как обычно, к слав. \**pe-ti, \*pъ-nq*, см. с. 23—24, 84—86); во-вторых, большую "четкость" корня (литов. *tvėrti, tverti* "охватывать, огораживать" лучше сравнивать не с греч. σβρός "урна, гроб", как обычно, так как греческое слово теоретически может восходить к и.-е. \**tyor-, \*tjor-* или \**dhjor-*, но к "однозначному" тм. \**tyerje-*, деривату \**tyer-* "ворота, дверь" < и.-е. \**dhyēr-* и т.п. "затвор, дверь", см. с. 26, 81—84); в-третьих, большую подтвержденность (продолжения и.-е. \**dhyēr-* и соответствующих апофонических вариантов засвидетельствованы во многих языках, а сближение с греч. σβρός изолированно). Для плана содержания "правильного" этимона выдвигаются критерии: большей близости значений сопоставляемых слов; меньшего объема значения (объяснение упомянутого литов. *tvėrti*, как и слав. \**za-tvoriti* "закрывать" из тм. \**tyer-/tjor-* привлекательно для Г. Хольцера и конкретностью, определенностью исходной семантики типа "за-

дверить", с. 37); меньшего количества синонимов (например, в силу того, что для индоевропейского иногда выделяют более 30 корней со значением "бить", этимон, выбранный из их числа, вызывает сомнения, с. 39).

Если формулируемые Г. Хольцером критерии в целом могут быть оценены положительно, то их авторское использование представляется спорным. Между тем, осуществляемый в книге этимологический анализ полностью основан на этих критериях и зависит от специфики их авторского применения. Используемые Г. Хольцером критерии, при всей их важности, относительно и не обеспечивают подлинного решения задач этимологии, которые в свое время были сформулированы как "определение координат разных систем (фонологической, лексической, семантической, поэтической и т.п.), пересечение которых порождает данное слово..." [1, с. 49]. Критерии Г. Хольцера, по особенностям их авторского применения, — скорее все-таки средство оправдания "темематических" этимологий, но не свидетельство правильности последних. Характерное для рецензируемого исследования внимание к плану содержания, выражающееся, в частности, в приоритете семантических критериев, целиком основывается на статическом (а иногда и несколько произвольном) подходе к семантике, когда расчет строится лишь на сравнении слов с идентичными или близкими значениями. Это вновь напоминает В. Махека, сопоставления которого использует Г. Хольцер.

Согласно автору, "темематический" этимон слав. \**prto* (ср. у В. Махека сближение этой лексемы с нем. *binden* "связывать", предвосхищающее версию Г. Хольцера [4]) способен объяснить все это слово целиком, включая *-t-*, в то время как "обычная" этимология в связи со слав. \**peiti* объясняет лишь \**pq-* < \**pon-*), причем *-t-* приходится считать суффиксом, как и в тех воображаемых случаях, если бы "путы" обозначались в славянском лексемами вроде \**pq-ko*, \**pq-do* и т.п. (с. 23). Обращаясь к примеру с \**prto* при обсуждении критерия "четкости" корня (с. 31—32), автор исчисляет логически возможные индоевропейские этимоны, допустимые при "обычном" и "темематическом" подходах, снова приходя к выводу о преимуществе последнего. При подобной логике, грозящей превратить критерии длины и "четкости" в орудия парадоксальной разновидности корневой этимологии, не остается места для того, чтобы учесть вхождение \**prto* в соответствующий словообразова-

тельный ряд, чему удовлетворяет отвергаемая Г. Хольцером общепринятая этимология [5], ср. соотношение \**pq-to* "путь": \**delb-to* "долото", \**plu-to* "поплавок", \**si-to* "сито" и др. [6, 7].

К сожалению, Г. Хольцер никак не комментирует принимаемое им заимствованное происхождение целых "пучков" фактов (случай с \**prto* как раз не очень показателен, ср. выше пример с названием лебеды или еще реконструкцию тм. \**tuer-/\*tur-*, \**turo*, \**turoto* "ворота, дверь", с. 81, тм. \**tejk'ā-*, \**tojk'o-* "нечто давящее, пресс", \**tojk'to-* "тесто", \**tojk'no-* "тесный", с. 73—75), отношения между которыми с большим или меньшим успехом объяснимы в терминах славянской и балтийской семантической эволюции, апофонии, суффиксального или флексийного варьирования и т.п. Тм. \**ponio-* и \**poniā-* "путь", как и тм. \**poni-* "тж." (из которого Г. Хольцер выводит литов. *pántis* тж., обычно сближаемое с литов. *pinti* "плести", ср. слав. \**peiti* в этом смысле тавтологичны по отношению к соответствующим славянским и балтийским реконструкциям.

Сказанное в той или иной степени касается всех этимологий Г. Хольцера (что само по себе, разумеется, еще не является доказательством их неправильности), подробное обсуждение которых здесь затруднительно. Можно было бы остановиться, например, на весьма спорной трактовке лексической семантики при попытках (с. 57—58) отделить друг от друга рефлексы слав. \**krotiti* "кастрировать" от \**krotiti* "укрощать" (последнее выводится из тм. \**kroto-* "укрошенный" < и.-е. \**ghr̥dho-* и др. "охваченный, огороженный", с. 77), \**zvon* "колокол" от \**zvon-* в фитонимах типа болг. *звоница* "растение *Hypericum perforatum*" (< тм. \**g̥non-* "собака" < и.-е. \**k̥udn-* тж., с. 86—90), литов. *taisyti* "приготовлять", лтш. *tāšīt* "делать, готовить", от слав. \**tē-šiti* "тешить, успокаивать" (слав. < тм. \**tej-/toj-* "сосать, кормить грудью", с. 96), слав. \**bolna* "белое пятно на коже рога" от \**bolna* "щура, кожица" (< тм. \**bolnā* "тж." < и.-е. \**polnā-* "тж.", с. 103—104), \**gol* "голый" от \**golēn*, \**golēno* "голень" (< тм. \**gol-* "голень" < и.-е. \**kōl-*, ср. рус. *колéно*, с. 105), \**gьmь* "печь" от \**gьmь* "горшок" (< тм. \**q'irno-* "горшок" < и.-е. \**q'erno-* "горшок, котел", с. 126—127).

Для тестирования "темематических" этимологий на реальность более существенны, однако, не эти и им подобные возражения (которые сами могут быть оспарены). Нельзя исключить, что среди предлагаемых Г. Хольцером сравнений может быть какое-то число правильных. Сюда относится,

во всяком случае, сравнение слав. \**golq̄bь* и и.-е. \**kolumbo-* (многократно обсуждавшееся — в частности, в связи с проблемой посредства неизвестного языка, ср. [3, вып. 6, с. 216—217]). Возникает, однако, вопрос, в какой степени правомерна (и правомерна ли вообще) процедура экстраполяции на балто-славянский материал устанавливаемого в данном случае соотношения и.-е. \**k* ~ слав. \**g* и предполагаемой на его основе цепочки и.-е. \**k* > тм. \**g* > слав. \**g* с применением упомянутых выше критериев анализа, ср. характерное объяснение слав. \**gojь* "покой, мир" < тм. \**g<sup>h</sup>ojo-* и.-е. \**q<sup>h</sup>ojo-* "покой" (обычное сближение \**gojь* с \**gojiti* "лечить, холить, давать приют" отклоняется, потому что оно "семантически хуже, чем тм. этимология", с. 138). Несмотря на то, что Г. Хольцер, судя по всему, основательно проверил на "темематическое" происхождение балто-славянскую лексику, мощный пласт "темематических" заимствований при последовательном применении открытых им "законов" и критериев анализа может расширяться все дальше и дальше, в частности, при обращении к диалектным данным. Здесь, видимо, не очень диагностичны сопоставления, опирающиеся на соответствия и.-е. \**b*, \**d*, \**g* > тм. \**b*, \**d*, \**g*, хотя ничто не мешает, как будто, очень многочисленным этимологиям вроде слав. \**zab-ot-a* "забота" < тм. \**g<sup>h</sup>āb-* < и.-е. \**g<sup>h</sup>āb-* "смотреть, искать глазами" (ср. [8]). Можно, однако, в порядке эксперимента отыскать и примеры другого рода, обратившись хотя бы к русскому материалу (диалектные данные приводятся по [9]): диал. *bázgatzь* "пробивать шурф" < тм. \**bāg<sup>h</sup>gā-* (< и.-е. \**pāg<sup>h</sup>-* или \**pāk<sup>h</sup>-* "закреплять вбиванием, вколачиванием") (тм. \**bāg<sup>h</sup>gā-* хорошо подстраивается к описываемому Г. Хольцером ряду производных на \**-go-/-ga-*: \**borg<sup>h</sup>go-* или \**borg<sup>h</sup>gā-* "борозда" > серб.-хорв. *brázgati* "проводить борозды" и т.п., с. 172); диалектн. *bodvá*, *bodovъ* "нижний венец, прогон, основа сруба" < тм. \**bod-* < и.-е. \**pod-* "земля под ногой" (ср. слав. \**podь* "пол, низ", русск. *под*, *подовъ*); диалектн. *блик* "блестящая лысына" < тм. \**bliko-* < и.-е. \**plēi-*, \**plī-* "голый, лысый" (ср. литов. *plėikė* "лысына"); *póle* < тм. \**pol-jo-* < и.-е. \**bhel-* "белый" (к семантике ср. литов. *laikas* "поле" = "белое"); пол "Fußboden" < тм. \**pol-* < и.-е. \**bhel-* "доска, брус, пластина"; *chetá* "ровня, пара" < тм. \**ketā* < и.-е. \**ghedh-* "соединять,

подходить" (ср. нем. *Gatte* "супруг" и др.); диалектн. *куп* "черт" < тм. \**koq-ro-* < и.-е. \**ghoq-ro-* "страшный"; диалектн. *gábatъся* "бороться" < тм. \**gāb-* < и.-е. \**kap-* "хватать". Данные сопоставления, при всей их очевидной надуманности, едва ли намного хуже, чем многие сопоставления Г. Хольцера, — в частности, для русск. диалектн. *зеномáтъ* "сидеть без дела, бездельничать", *зѣнька* "разиня", *зендель* "ленивый, неповоротливый человек" < тм. \**g<sup>h</sup>eno-* "пустой", *збна* "головня" < тм. \**g<sup>h</sup>onā-* "пустые колосья" (< и.-е. \**k<sup>h</sup>en-* "пустой, ничтожный", с. 59) или для др.-русск. сверъпый "дикорастущий, злой, яростный" < т.м. \**k<sup>h</sup>yer-* < и.-е. \**g<sup>h</sup>h<sup>h</sup>ēr-* "зверь" (с. 78—81), русск. *пугáтъ* < тм. \**roug-* < и.-е. \**bheug-* "тж".

Очень спорной представляется идентификация "темематического" с киммерийским — языком, данные о котором настолько скудны (ср. довольно богатые сведения о самих киммерийцах — в античных и ассирионавиловских клинописных текстах), что об этнониме "киммерийцы" (греч. Κιμμερίοι) приходится говорить как о едва ли не единственном относительно надежном факте этого языка. Г. Хольцер реконструирует для данного этнонима тм. \**k<sup>h</sup>mera-* < и.-е. \**k<sup>h</sup>hmero-*, далее к и.-е. \**dhg<sup>h</sup>hem-* "земля" (с. 180—187), к которому он возводит и тм. \**k<sup>h</sup>mirdo-* > слав. \**smьrdь* "крестьянин, мужик" (с. 64—68). Последнее часто сближают со \**smьrděti* "вонять" [10], хотя это и проблематично. Что касается сближения \**smьrdь* с названием киммерийцев, то с ним трудно согласиться уже в силу того, что исходную форму этого этнонима восстанавливают прежде всего на основе ассирийских данных, в виде \**gimē(t)ir-* (см. подробнее [11]). Гидроним *Távaiç* "Дон" Г. Шрамм объяснял из иран. \**danaqi-* [12], и это все-таки правдоподобнее, нежели исходить из тм. \**tanā-* < и.-е. \**dhono-* "течение" от \**dhen-* "течь", как это делает Г. Хольцер (с. 190—192).

Исследование Г. Хольцера вполне могло бы быть названо революционным для славянской и балтийской этимологии. Однако поспешное принятие результатов этого исследования (с. [13]) едва ли оправдано. "Темематические" этимологии (оставляющие общее впечатление искусственных конструкций) скорее не распуывают, а разрубают "гордиев узел" этимологических проблем. Работа Г. Хольцера вместе с тем ставит этимологов перед необходимостью еще раз серьезно задуматься над доказательностью исследовательской аргументации, и одно это кажется достаточным для положительной оценки рецензируемой книги.

<sup>1</sup> Вопрос о подлинной этимологии указываемых ниже слов (достаточно хорошо известной) мы за недостатком места не касаемся.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Топоров В.Н.* О некоторых теоретических основаниях этимологического анализа // ВЯ. 1960. № 3. С. 45.
2. *Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Ч. I. Тбилиси, 1984. С. 35—44.
3. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. I. М., 1974. С. 179—180.
4. *Machek V.* Etymologický slovník jazyka českého. Druhé, opravené a doplněné vydání. Praha, 1971. S. 476.
5. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. 2-е изд. Т. III. М., 1987. С. 292.
6. *Slawski F.* Zarys słowotwórstwa prasłowiańskiego // Słownik prasłowiański. Т. II. Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1976. S. 38—40.
7. *Варбот Ж.Ж.* Древнерусское именное словообразование. М., 1969. С. 117, 137.
8. *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Bern, 1959. S. 349.
9. Словарь русских народных говоров. Вып. 1—25. М.; Л., 1965—1990.
10. Słownik starożytności słowiańskich. Т. V. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1975. S. 312—316.
11. *Ivančik A.I.* L'éthnonyme "les Cimmériens" // Балканско езиковзнание. 1989. № 1.
12. *Schramm G.* Nordpontische Ströme. Namenphilologische Zugänge zur Frühzeit des europäischen Ostens. Göttingen, 1973. S. 197.
13. *Мартынов В.В.* Презумпция генетической соотнесенности и верификации в компаративистике // Сравнительно-историческое языковедение на современном этапе: Тез. докл. конференции памяти В.М. Иллича-Свитыча. М., 1990. С. 41.

Аникин А.Е.

Modern Icelandic syntax. San Diego; New York; Boston; London; Sydney; Tokyo; Toronto: Academic Press, 1990. 443 p.

Рецензируемая коллективная монография отражает новейшие результаты работы лингвистов Исландии, США и Австралии в области генеративной грамматики современного исландского синтаксиса. Генеративная грамматика, описывающая прежде всего компетенцию говорящего, содержит, как правило, три основных компонента — синтаксический, семантический и фонологический [1], из которых два последних выполняют интерпретирующие функции по отношению к первому. При этом не существует иного аспекта лингвистического исследования, более нуждающегося в ясной и тщательной формулировке, нежели проблема связи между синтаксисом и семантикой. В связи с этим возникает вопрос: «каким образом синтаксические механизмы, наличествующие в данном языке, "работают" при фактическом употреблении этого языка?» [2, с. 504]. В генеративную грамматику вводятся два уровня синтаксического представления: *глубинный* и *поверхностный*. Целью синтаксического описания является исчисление всех *глубинных* и *поверхностных* структур, а также установление между ними строгого соответствия. Общая схема формирования речевого высказывания, предложенная генеративистами, состоит в том, что созданию предложения предшествует появление *якобы* *глубинной* структуры, для пре-

вращения которой в *поверхностную* требуется серия мыслительных операций, определяемых как трансформации [3].

Рецензируемая монография состоит из Предисловия и шести частей. Авторы первой части ("Порядок слов") — Х. Траинссон, Х.А. Сигурдссон и Дж. Мэйлинг, второй ("Глаголы и их аргументы") — А. Ээнзи, Дж. Мэйлинг, Х. Траинссон, А. Ээндрюз, С. Андерссон, третьей ("Возвратные местоимения") — Дж. Мэйлинг, Х. Траинссон, Х.А. Сигурдссон, четвертой ("Координация") — Е. Рёгнвальдссон, Дж. Брезнан, Х. Траинссон, пятая часть ("Дистантные зависимости") написана Дж. Мэйлингом и А. Ээнзи, шестая часть, содержащая библиографию, была составлена Х. Траинссон и Е. Рёгнвальдссон. Библиография включает работы по исландскому синтаксису, в частности диахроническому.

Несмотря на то, что в последнее время термин "порождение речи" может связываться с исследованием реального протекания речевой деятельности, т.е. приобретения нового смысла [4], в рецензируемой монографии данное понятие непосредственно взаимодействует с теорией генеративной грамматики.

Следует подчеркнуть, что одной из причин выбора исландского языка в качестве основного объекта исследования явилось наличие в этом языке богатой падежной системы

(в исландском и фарерском языках четыре падежа: им., род., дат., вин., падежная флексия одновременно выражает значение числа: ед. или мн.), т.е. исландский язык в большей мере, чем другие скандинавские языки, сохранил древнюю систему словоизменения (флективные формы). В этой системе тем не менее порядок слов детерминируется в значительной мере синтаксическими факторами, что типологически встречается довольно редко. В области синтаксиса различия между скандинавскими языками не столь велики, как в области морфологии. К числу этих различий относятся следующие: более свободные (менее строгие) правила порядка слов в исландском и фарерском языках, где, в частности, допускается в повествовательном предложении начальное положение глагола, постановка генитива и притяжательного местоимения после определяемого слова.

В монографии дается описание таких аспектов синтаксиса, как порядок слов, падежная система, страдательный и средний залог, неаккузативные падежи, рефлексивизация, опущение и изменение позиции вопросительного слова и т.д. Только проблема перестановки вопросительного слова (WH-movement) не исследована подробно. Известно, что в генеративной грамматике языковые явления анализируются не только в чисто дескриптивном плане, но и с целью проведения углубленного теоретического анализа. Ввиду этого авторы сочли важным детально рассмотреть в процессе теоретического исследования существенную часть языкового материала. Цель создания монографии, по мнению самих авторов, заключалась в написании книги, которая могла бы быть использована, во-первых, как введение для всех интересующихся изучением основных синтаксических структур языка, и, во-вторых, как источник, иллюстрирующий некоторые понятия генеративной грамматики на базе примеров из языка, структурно отличающегося от английского (авторами прежде всего проводится сопоставительный анализ исландского и английского языков).

Первая часть — "Порядок слов" — содержит три исследования, посвященных различным аспектам порядка слов, обсуждаемого в основном в пределах развитых парадигм с позиций распространенных стандартных, доминирующих и связующих теорий. Обсуждение концентрируется вокруг того, что может встречаться в начальной и последующей позициях в различных типах предложения. Глава "Еще раз о порядке слов в исландском языке", написанная

Е. Рёгнвальдссоном и Х. Транссоном, является одновременно и новейшим введением в современную литературу, посвященную данной проблеме, и разработкой особого вида синтаксического анализа. При обсуждении основных типов предложений, позиций глаголов в повествовательных предложениях, специальных вопросов с вопросительным словом (WH-questions) и конструкций с глаголами в начальной позиции сопоставляются два различных вида анализа фактов локализации глаголов на втором месте. Авторы утверждают, что позиция глагола на втором месте является результатом передвижения глагола в личной форме скорее к глагольной флексии, чем к расширителям, что характерно для других германских языков. Х. Сигурдссон дает детальное описание начального положения глагола в повествовательных предложениях, например: *Kom Olafur seint heim* "Came Olaf late home" и "Olaf came home late". Автор объясняет это с позиций нарративной инверсии (narrative inversion), которая является причиной данного явления. В главе доказывається, что так называемая нарративная инверсия — это субъектно-глагольная инверсионная конструкция основного германского типа. Это объясняет тот факт, что нарративная инверсия является основной, тогда как другие начальные позиции глаголов в повествовательных предложениях могут встречаться как в придаточном предложении, так и в главном. Автор останавливается также на сопоставлении синтаксических фактов современного языка с фактами древних периодов развития грамматики исландского языка. Статья Дж. Мэйлинга "Инверсия в предложениях-вставках" посвящена проблемам стилистической инверсии ("stylistic fronting" или "stylistic inversion"), т.е. явлению вытеснения в предложении причастий прошедшего времени, имен прилагательных, некоторых наречий, частиц и т.д., на первое место, например: *Guðmundur hefur Jón barið* "Guðmundur has John hit" и "John has hit Guðmundur". Данное явление исследуется на материале предложений-вставок. Эта конструкция, являясь общим для исландского и фарерского языков, не присуща другим современным скандинавским языкам. Например: *Honum metti standa á sama, hvað* "him (DAT) might stand on same what" и "It might be all the same to him what"; *sagt veri um hann* "said was about him" и "was said about him". Автор утверждает, что эта стилистическая инверсия (передвижение на первое место небольших парцелляций) отличается от топикализации (topi-

calization), т.е. от вынесения ударных элементов предиката по разным параметрам в начальную позицию предложения.

В общей сложности все три главы в этой части рассматривают проблему порядка слов, которая была представлена более рельефно в публикациях последних лет. Материал, приведенный в этой части, убеждает в том, что обобщение, характеризующее тенденцией к закреплению позиции глагола на втором месте, является для исландского языка, как и для других германских языков, слишком большим упрощением. Последнее слово в решении этой проблемы еще не сказано. И это относится прежде всего к аспекту взаимодействия между синтаксическим и прагматическим факторами, на которые ссылаются в своей главе Е. Рёгнвальдссон и Х. Траинссон.

Вторая часть — "Глаголы и их аргументы" — посвящена различным аспектам проблемы глагольной валентности. В первой главе этой части — "Падеж и грамматические функции: исландский страдательный залог", написанной с учетом лексико-функциональной грамматики А. Зэнэн, Дж. Мэйлингом и Х. Траинссоном, рассматриваются падежная система и глагольные аргументы в грамматическом контексте пассивных конструкций. Авторы используют факты исландского языка для доказательства того, что определенные и довольно широко распространенные идеи по поводу взаимодействия падежной системы и страдательного залога не могут рассматриваться как универсалии. Весьма важна в этой части разработка А. Зэнэн и Дж. Мэйлингом системы различий между двумя феноменами, которые часто трактуются как регулируемые механизмами а) неаккузативной динамики, б) динамики от объекта к субъекту в пассивных конструкциях. Авторы обсуждают тот факт, что аккузативность никогда не сохраняется в категории пассива, но сохраняется в определенных глагольных парах, означающих переходность. Этот контраст, принимая во внимание сохранение падежа, противодействует разрушению обеих конструкций при наличии одного правила динамики именной группы. В главе "Цепочка предлогов и пассивность" Дж. Мэйлинг и А. Зэнэн уделяют внимание тому факту, что ряд предлогов в определенной последовательности невозможен в пассивных конструкциях исландского языка. Данное утверждение противоречит общему положению, согласно которому в исландском языке обычно сосуществуют два вида последовательности. Темой следующей главы (автор — А. Эндрюс) является complemen-

тарный анализ инфинитивных дополнений. Ср.: *Tröllíð vonast til að sjá hana* "The-troll hopes to see (Inf.) her" и "The troll hopes to see her". Данная глава является одним из первых исследований, в котором уделяется внимание так называемым неноминативным субъектам и дается их лингвистическое обоснование. В следующей главе, написанной тем же автором, предлагается описание некоторых идентичных явлений на базе лексико-функциональной грамматики. Обе главы представляют интересное направление исследования в области генеративной грамматики с особым учетом трансформационного анализа, прежде всего падежной системы глагольных аргументов. В заключительной главе второй части — "Грамматика исландских глаголов с суффиксом *-st*" С. Андерссон разрабатывает новую проблематику, исследуя явления, находящиеся на границе синтаксиса и морфологии, — так называемый страдательный залог, или средний залог. Например: *Ég vonast til að verð a ekki bjargað* "I hope toward to be not rescued"; *einum/einn/\*eins/\*einan frá fjallinu* "alone (DAT/NOM/\*GEN/\*ACC) from the-mountain" и "I hope not to be the only one rescued from the mountain". Автор подчеркивает, что класс глаголов с суф. *-st* вычленяется чисто формально, по внешним признакам. Глаголы этого класса демонстрируют те же синтаксические и семантические свойства, что и другие глаголы исландского языка.

Третья часть рецензируемой книги посвящена исландским возвратным местоимениям в дистантной позиции со слабой «внутренней» связью. Следует отметить, что исследование слабо связанных возвратных местоимений важно для изучения субъекта. В главе "Слабо связанные возвратные местоимения" Дж. Мэйлинг утверждает, что понятие предикативности является существенным фактором регулирования дистрибуции *sig* и *sjálfan sig* в исландском языке. Существует два различных случая так называемой слабо связанной рефлексивизации. Рефлексивизация обязательна при движении субъекта в пределах предложения с глаголом в личной форме и в предикативных дополнениях всех типов. Рефлексивизация факультативна при движении объекта в пределах минимальной единицы предикации и невозможна в предикативных дополнениях, не образующих предиката от этого объекта. Обсуждение вопроса о возвратных местоимениях, значительно удаленных друг от друга, приводит исследователя к таким языковым ситуациям, в которых синтаксис сам по себе не способен дать в достаточной степе-

ни полного понимания поставленной проблемы. Глава "Семантика возвратного местоимения в исландском языке", написанная Х. Траинссоном еще в 1976 г., содержит анализ базовой семантической интуиции, и о ней можно говорить в связи с решением проблемы так называемых логофорических возвратных местоимений. Так, например, автор утверждает, что в предложении в исландском языке функционирует правило рефлексивизации при незначительной дистантной позиции. Согласно этому правилу, в зоне воздействия оказываются обособленные группы, коррелирующие с определенными сослагательными категориями. Релевантный тип сослагательности может быть обнаружен при наличии дополнения к некоторым активным глаголам и в тех случаях, когда сослагательность и изъявительность находятся в комплементарной дистрибуции. В следующей главе "Значительно удаленные друг от друга возвратные местоимения и наклонения" Х. Сигурдссон развивает дальше этот подход и защищает его от современных попыток дать точные структурные оценки логофорическим возвратным местоимениям.

В четвертой части "Координация" авторы обращаются к областям синтаксиса, которые изучены менее глубоко, чем те, которые рассматривались в трех предыдущих частях. В первой главе четвертой части "О некотором правиле соединительной редукции", написанной Е. Рёгнвальдссоном, утверждается, что необходим анализ определенных бесспорных случаев VP-координации, которая может быть рассмотрена как ослабление грамматической связи. В следующей

главе "Заметка по поводу исландской координации" Дж. Брезнан и Х. Траинссон анализируют факты, представленные Е. Рёгнвальдссоном в терминах нетрансформационной грамматики, и предлагают дополнительные доказательства в пользу основной гипотезы Е. Рёгнвальдссона, согласно которой необходима S-координация. Е. Рёгнвальдссон заканчивает четвертую часть главы "Нулевые объекты в исландском языке". Прагматически обусловленные виды опущения объекта до недавнего времени мало привлекали внимание синтаксистов. Благодаря рецензируемому исследованию стало очевидным, что это явление распространено намного шире, чем предполагалось ранее в работах, разрабатываемых в данном направлении.

Пятая часть "Дистантные зависимости при большой степени удаленности" включает единственную главу, посвященную дистантным зависимостям со значительной степенью удаленности. Авторы отмечают, что имеющиеся исследования на эту тему устарели как в теоретическом отношении, так и по своему материалу.

Шестая часть включает библиографию современного и древнеисландского языка, составленную Х. Траинссоном и Е. Рёгнвальдссоном.

Оценивая монографию в целом, можно сказать, что она выполняет задачу, поставленную в предисловии. Публикация этой книги, безусловно, способствует лучшему пониманию предмета и развитию соответствующих научных исследований в области генеративной грамматики германских языков.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Kohler K.J.* Segmental reduction in connected speech in German: phonological facts and phonetic explanations // *Speech production and speech modelling.* Dordrecht; Boston; London, 1990. V. 55.
2. *Хомский Н.* Синтаксические структуры // Новое в лингвистике. Вып. II. М., 1962.
3. *Хомский Н.* Язык и мышление. М., 1972.
4. Человеческий фактор в языке. Язык и порождение речи. М., 1991.

*Потанов В.В.*

Теория фразеологии вступила в новый этап развития. Если в предыдущие десятилетия основное внимание фразеологов было сконцентрировано на описании и систематизации фразеологического материала различных языков (ср. известные работы В.П. Жукова, А.В. Кунина, И.И. Чернышевой, А.Г. Назаряна, В.М. Мокиенко, Т.З. Черданцевой и др.), то в настоящее время идет интенсивный поиск новых методов анализа фразеологии. В последние годы появились работы, ставящие своей целью ввести фразеологию в более широкий научный контекст и наметить ее связи с различными парадигмами современной лингвистики, в том числе с семиотической [1], типологической [2], компьютерной [3], когнитивной [4] и т.п.

В рецензируемой книге предпринимается попытка описания фразеологических систем русского и словацкого языков в терминах лингвистической статистики. Анализируемый материал рассматривается с трех точек зрения: 1) с дидактической, 2) с коммуникативно-функциональной и 3) с семантической (с. 210). Отличительной особенностью концепции автора является рассмотрение фразеологизмов не столько в аспекте их так называемого "целостного значения", сколько в аспекте их "речевого происхождения". Такой подход имеет, при всей своей необычности и нетрадиционности, определенные преимущества, поскольку традиционные исследования по фразеологии опирались, как правило, на функционально-номинативные параметры, определяя фразеологизм как единицу лексикона, рядоположенную слову, и мало внимания уделяли тому факту, что основной парадокс фразеологии состоит в том, что фразеологизм — это одновременно и сочетание слов (причем не только этимологически, но и в наивном языковом сознании). С этой точки зрения подход, предлагаемый автором, в известной степени компенсирует недостатки односторонней "целостно-номинативной" интерпретации. "В отличие от предыдущего, синтетического исследования функции фразеологизма как целостной единицы, наши наблюдения мы ориентировали на функциональный характер слов, составляющих фразеологизм, т.е. на исследование меры образности, оценки и экспрессии отдельных слов фразеологизма" (с. 211). Как видно из приведенного высказывания, в основе концепции автора лежит не только "аналитический" подход к изучению природы фра-

зеологизма, но и последовательное разграничение основных семантических параметров фразеологии: образности, оценки и экспрессивности. Каждый из этих семантических параметров оценивался с точки зрения их интенсивности и может принимать значения 0, 1, 2 (для образности и оценки) и 0, 1, 2, 3 (для экспрессивности). Таким образом, каждому слову-компоненту фразеологизма приписывался трехместный индекс от 000 (для нейтральных компонентов) до 223. "По меняющейся интенсивности отдельных функций можно было определить следующее общее правило валентности функциональных критериев: если образность нулевая или совсем незначительная, т.е. если она не превышает степень 1 и если одновременно или независимо от этого такой же степени достигает и критерий оценки, то критерий экспрессии не может достичь высшей степени, или же это встречается весьма редко. Было выявлено, что экспрессия при отсутствии или слабой степени проявления критерия образности и оценки слабеет, т.е. она представляет собой зависимый функциональный критерий" (с. 214).

По данным параметрам словацкая и русская фразеологические системы обнаруживают значительное сходство, как, впрочем, и по параметру фразеологической активности отдельных слов. Наблюдения над частотностью тех или иных фразеологических компонентов подтвердили известный семантический закон: чем шире объем значения слова, тем выше его частотность, и наоборот.

Что касается исследования фразеологической активности компонентов, то полученные результаты представляют значительную самостоятельную ценность. Так, например, выявлено, что в качестве наиболее частотных фразеологических компонентов в русском языке выступают следующие: *глаза, голова, рука, дело, душа, нога, сердце, дорога, нос, день, слово, жизнь, ухо, свет, палец, кровь, язык, дух* (с. 163—164), глаголы: *дать/давать, быть, жить, идти, держать, знать, (с)делать, выйти, брать, пойти, поставить, стоять, ходить, войти, попасть, находиться, глядеть, показывать, смотреть* (с. 192), прилагательные: *последний, живой, чужой, белый, открытый, добрый, пьяный, старый, большой, золотой, черный, горячий, полный, собственный, малый, небесный, пустой, святой, хороший, целый* и т.д. (с. 201).

Русский и словацкий языки обнаружи-

вают значительное сходство не только относительно набора наиболее частотных компонентов, но и относительно рангового порядка представляемых ими понятийных таксонов. Ср., например, для существительных: части человеческого тела; географические, метеорологические, световые, временные, пространственные явления и явления природы; конкретные проявления и результаты физиологической, психологической и речевой деятельности человека; предметы, инструменты, орудия и их части, явления отвлеченного характера; конкретная деятельность человека и ее результаты, мифические сущности; номинации лиц по различным основаниям; жилые районы, отдельные здания, их части и оборудование; вещества, материалы, ископаемые; одежда и ее части (см. с. 216).

В глагольной сфере между словацким и русским языками наблюдаются заметные различия. Так, глаголы *byť* и *mať* значительно более частотны, чем русские *быть* и *иметь*. Это, однако, не является собственно фразеологическим феноменом, а связано с различными способами выражения предикации и посессивности в русском и словацком языках, что вновь подтверждает тезис об отражении во фразеологии типологически существенных характеристик строя соответствующего языка (см. [2]).

К недостаткам работы можно отнести

некоторую произвольность в определении степени образности, оценочности и экспрессивности. Поскольку эти семантические параметры являются не только словарными, но и в первую очередь текстовыми категориями, зависят от интенции и эмпатии говорящего, то приписывание им определенных значений, обладающих числовым выражением, представляется спорным. Также и само понимание категорий образности, оценочности и экспрессивности нуждается в некотором уточнении. Их интерпретация в рецензируемой книге представляется (в особенности на фоне работ [5, 6], кстати, не учтенных автором) несколько однозначной и прямолинейной.

Хотя, как мы уже сказали, рассмотрение фразеологизмов с "аналитических" позиций кажется вполне оправданным, сомнения вызывает попытка определить коннотативный потенциал отдельных компонентов. Разложение фразеологизма на составные части возможно на структурном уровне и даже, в известной степени, на уровне пропозитивного значения, однако модальная рамка конституируется лишь фразеологическим знаком как целым.

Оценивая книгу М. Сотака в целом, необходимо подчеркнуть, что она представляет несомненный интерес как для фразеологов, так и для специалистов в области лингвистической статистики.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Stalm A.* Semiotik und Phraseologie: Zur Theorie fester Wortverbindungen im Russischen. Bern etc., 1987.
2. *Dobrovolskij D.* Phraseologie als Objekt der Universalienlinguistik. Leipzig, 1988.
3. Фразеография в Машинном фонде русского языка. М., 1990.
4. *Баранов А.Н., Добровольский Д.О.* Структуры знаний и их языковая онтологизация в значении идиомы // Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. 1990. Вып. 720: Труды по искусственному интеллекту.
5. *Телия В.Н.* Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М., 1986.
6. *Караулов Ю.Н.* Русский язык и языковая личность. М., 1987.

*Добровольский Д.О.*

## НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

### ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

20—23 мая 1991 г. Институт русского языка и Научный совет Отделения литературы и языка РАН "Русский язык: история и современное состояние" совместно с Академией педагогических наук проводили в Москве Всесоюзную конференцию "Русский язык и современность: проблемы и перспективы развития русистики".

В конференции приняли участие свыше 300 исследователей из разных городов страны. Работа на двух пленарных и шести тематических заседаниях строилась в соответствии с основной задачей — по возможности полнее представить различные исследовательские подходы, имеющиеся на сегодняшний день в русистике.

Доклады, прозвучавшие на первом пленарном заседании, имели методологическую направленность, поскольку в них затрагивались наиболее общие вопросы науки о русском языке. Академик-секретарь Отделения литературы и языка РАН Е. П. Челышев во вступительном слове охарактеризовал положение русистики в свете общих перспектив развития филологических исследований.

Всесторонний анализ концепта "состояние русского языка современности" был осуществлен в докладе Ю. Н. Караулова (Москва), построенном на материалах почтовой дискуссии, в которой крупнейшим лингвистам, и не только русистам, предлагалось высказать мнение о языковой ситуации в обществе. Автор доклада присоединился к тем исследователям, которые выразили беспокойство современным состоянием русского языка. Он предложил новый подход к вопросу о бытовании русского языка, выделив три способа репрезентации последнего (текстовый, системный, представленный в лингвистических описаниях, и сетевой, воплощенный ассоциативно-вербальной сетью в сознании носителей языка) и восемь сфер существования (мертвый язык старых памятников письменности, устный диалектный язык, письменный язык лите-

ратуры, прессы и государственной документации, разговорный язык и просторечие, научно-технический и профессиональный язык, русский язык в машинной среде, русский как неродной, язык русского зарубежья).

Д. Н. Шмелев (Москва) остановился на некоторых важнейших задачах, стоящих перед различными разделами русистики. Он подчеркнул актуальность изучения русского языка в сопоставлении с другими, отметил важность фиксации при анализе современного состояния языка не только лексических новшеств, но и процессов, происходящих на более глубинных уровнях, наметил различные направления работы по созданию исторического комментария к современной русской лексике. Докладчик указал на необходимость продолжения исследований функционирования языка в различных ситуациях и условиях общения, дальнейшего развития исследований языка художественной литературы, а также на необходимость создания истории русского литературного языка, свободной от ложнопатриотических предрассудков, не позволяющих верно видеть проблему соотношения древнерусского и старославянского языков.

О. Д. Митрофанова (Москва) посвятила доклад, подготовленный ею совместно с В. Г. Костомаровым, проблематике интенсивно развивающегося на границе интралингвистики и интерлингвистики изучения русского языка в иноязычной среде. Русский язык как член "клуба мировых языков" рассматривался докладчиком с точки зрения функционирования, состояния, задач описания и преподавания его лицам, для которых данный язык является неродным.

Проанализировав различные подходы к выявлению системности лексики, Н. Ю. Шведова (Москва) в своем докладе обратила внимание на высокую продуктивность представления лексики через ряд семантических классов и подклассов, обоб-

вала это положение, дав характеристику взаимодействию классов и проявлению в нем грамматических закономерностей.

Н. И. Толстой (Москва), после краткого обзора традиции исследования проблемы "язык и культура", заметил, что сопоставление языка и культуры позволяет увидеть изоморфизм их структур в функциональном и внутриерархическом планах. Последний при этом проявляется в соотношениях литературного языка и элитарной культуры, просторечия и "третьей культуры", говоров и народной культуры, арго и профессиональной культуры.

О. Н. Трубачев (Москва) показал, что прогресс этимологической лексикографии важен для многих дисциплин и имеет прямое отношение к проблеме этногенеза славян. Констатируя, что узкоэтимологический корневой подход уступает место интересу к целному древнему слову, автор отметил: "Этимологически фундированная праславянская лексикография у нас оказывается наиболее разработанным направлением в рамках международной науки о языках..."

Аспекты взаимодействия языка и культуры на примере коммуникативных тактик говорящих были рассмотрены Е. М. Верещагиным (Москва), который, проанализировав тактику "вызова на откровенность", подчеркнул ее социальность и наметил типологию соотношения тактик в различных культурах. В. К. Журавлев (Москва), исходя из представления о языке как среде обитания всякого народа, указал на недопустимость обрыва цепи передачи культурного достояния. А. Е. Супрун (Минск) обратился к взаимодействию лексики и культуры, которые преобразуются под влиянием друг друга. Проблематику культуры речи как научной дисциплины и ее отношение к сложившейся речевой практике общества охарактеризовал Е. Н. Ширяев (Москва). Он предложил широкий спектр мероприятий, направленных на повышение речевой культуры общества: от создания специальных групп лиц, оценивающих инновации, до массовой пропаганды позитивных фактов и научных достижений в этой области. Конкретные программы работы в области культуры речи были предложены также в докладах Н. А. Купиной и Т. В. Матвеевой (Екатеринбург), М. А. Шкатовой (Челябинск). Ценностные ориентиры языковой политики были в центре внимания доклада Л. К. Граудиной и Б. С. Шварцкопфа (Москва). Авторы отметили, что колебание нормы органически связано с языковой системой и

диктуется асимметрией языкового знака. В докладе также шла речь о различных типах лингвистических прогнозов. О. В. Сиротинина (Саратов) обратилась к соотношению культуры речи и возраста говорящего/пишущего, выделив три возрастных среза и указав на их специфические особенности. А. А. Брагина (Москва) на материале слова *рать* и выражения *иду на вы* проиллюстрировала подвижность нормы для сленга, а затем коснулась вопроса о молодежном жаргоне.

Заседание по истории языка и диалектологии было тематически разделено на две части, посвященные соответственно исторической и диалектологической проблематике. В нескольких докладах "исторического" направления подчеркивалась мысль о разграничении таких объектов исторического исследования, как книжно-письменный и народно-литературный язык в Древней Руси. Эта мысль была основополагающей в докладе покойного Г. А. Хабургаева, текст которого прочла С. И. Иорданиди (Москва). Речь шла о необходимости четко разделить два исследовательских подхода — так называемую "историческую грамматику" и историю русского литературного языка, с учетом того, что объектом первой является письменный язык как орудие цивилизации и результат сознательной творческой деятельности людей, а объектом второй — звучащий язык (выражение Г. А. Хабургаева), как средство повседневного общения. И. С. Улуханов (Москва) в рамках обзора общих перспектив исторического изучения русского языка, в частности, в связи с выходом в свет первых томов "Словаря древнерусского языка XI—XIV вв.", говорил о разделении двух объектов исследования более осторожно, отметив, что до исчерпывающего анализа, в том числе и статистического, всех контекстов употребления русизмов и славянизмов, предоставляемых памятниками письменности, преждевременно делать заключение о том, имеют ли ученые дело с различными языками (древнерусским и церковнославянским) или лишь с двумя разновидностями (типами, стилями) — книжной и разговорной — одного языка. В. В. Иванов (Москва) рассказал об опыте исследования одного синхронного среза в истории русского языка, нашедшем выражение в подготовленной Институтом русского языка "Древнерусской грамматике XII—XIII вв.", которая опирается исключительно на данные письменного языка памятников строго определенного хронологического периода. Культурологическая ориентация исследований проявилась

в указаниях на необходимость учета картины мира древних славян при исследовании деривационной системы древнерусского языка — эта мысль звучала в докладе С. П. Лопушанской (Волгоград), на важность совместного изучения деривационной и семасиологической системы древнерусского языка, с акцентом на том, что главной особенностью последней была синкретичность семантики, нерасчлененность смысловых категорий — этому был посвящен доклад Г. А. Николаева (Казань). Закономерности порядка слов в истории русского литературного языка и влияние на коммуникативную перспективу предложения порядка слов в других языках (старославянском, греческом, немецком, латинском) подверг тщательному рассмотрению А. С. Мельничук (Киев). Задачам вузовской подготовки специалистов по истории языка и анализу кризисных явлений, наблюдаемых в системе историко-филологического образования, посвятила доклад К. В. Горшкова (Москва).

Обсуждение на заседании по диалектологии касалось, прежде всего, вопроса о диалектологических атласах. Шла речь о созданном в Институте русского языка при участии большой группы вузов страны "Диалектологическом атласе русского языка" (ДАРЯ), о создании автоматического варианта ДАРЯ на базе Машинного фонда русского языка (Н. Н. Пшеничнинова, Москва) и проблемах, порождаемых анализом данных в ДАРЯ (Л. И. Бараникова, Саратов). Обоснованию необходимости создания лексического диалектологического атласа, с учетом того, что ДАРЯ включает не более одного процента диалектной лексики, известной по областным словарям, был посвящен доклад И. А. Попова и А. С. Герда (Ленинград). В. И. Трубинский (Ленинград) охарактеризовал новый статус диалектного синтаксиса с трех точек зрения — сопоставительной, типологической и собственно диалектологической. Среди общих вопросов диалектологии, рассматривавшихся на заседании, — взаимоотношение структурной, функционально-структурной и коммуникативной парадигм диалектологического знания и проблемы языковой личности (доклад В. Е. Гольдина, Саратов).

На заседании, объединенном темой "Словари и развитие русистики", докладчики обратились к насущным задачам современной лексикографии в ее соотношении с иными разделами науки о языке. В ряде докладов были подведены итоги проделанной в этой области работы. П. Н. Дени-

сов (Москва), отметив, что на среднем уровне национального языка достигается максимум связей с культурой, подчеркнул, что теория лексикографии — двигатель теоретического языкознания. Принципы нового академического словаря русского языка, который должен учитывать процессы, оказывающие наибольшее влияние на развитие лексической системы, были в центре доклада Г. Н. Склярёвской (Ленинград). Е. С. Копорская и А. С. Белоусова (Москва) говорили о принципах и результатах работы над толковым словарем русского языка, систематизированным по лексико-семантическим классам слов Л. И. Скворцов (Москва) показал, что отсутствие единообразия толкований в различных словарях подрывает их авторитет, и предложил путь к преодолению этого состояния, на первом этапе которого должен быть составлен общий свод различно толкуемых фактов. Аналогичная проблема, но на материале недостаточной грамматической информации в словарях русского языка, была рассмотрена Н. А. Еськовой (Москва). Значение областных словарей для развития лексикологии и проблемы перспективных диалектологических исследований стали предметом доклада Т. С. Коготковой (Москва). Ряд докладов был посвящен проблемам составления исторических словарей и достижениям в этой области. Г. А. Богатова (Москва), подчеркнув значение исторических словарей, рассказала о работе над словарем русского языка с большой глубиной диахронии и о вытекающих отсюда задачах исторической лексикографии русского языка. Принципам составления словаря древнерусского языка XI—XVI вв. (источники, состав словника, способы определения значений) был посвящен доклад И. В. Адриановой, Л. В. Вялкиной, Г. Н. Лукиной, Т. А. Сумниковой, И. С. Улуханова, Н. В. Чурмаевой (Москва). З. М. Петрова (Ленинград) остановилась на отличиях "Словаря русского языка XVIII в." от других словарей, определив характеризуемый словарь, как синхронно-диахронический.

На заседании под названием "Современные исследовательские методы" обсуждалась семантическая проблематика в самом широком аспекте, рассматривались возможности, перспективы и демонстрировался опыт применения семантических методов к изучению различных уровней языковой системы, а также явлений межуровневого порядка. В докладе Ю. Д. Апресяна (Москва), прочитанном М. Я. Гловинской (Москва), говорилось о создании русского

словаря синонимов на новых основаниях. Это должен быть словарь активного типа, строящийся в рамках идеологии интегрального лингвистического описания, т.е. по возможности наиболее полной характеристики сходств и различий между синонимами в области семантики, прагматики, энциклопедических особенностей, коннотаций, коммуникативных свойств, просодии, стиля, сочетаемости, грамматических форм и синтаксических конструкций. Сфера семантического синтаксиса была затронута в докладе Е. В. Падучевой (Москва), посвященном анализу семантики генитивного субъекта, употребляемого с глаголом *быть*. А. В. Бондарко (Ленинград) проанализировал используемый в системном анализе и ранее не попадавший в поле зрения русистики концепт "среды", подробно охарактеризовав различные стороны взаимодействия системы и среды для лингвистических объектов. Л. П. Крысин (Москва) выделил три группы фактов языка, показательных в смысле отражения в них социально-статусных отношений: неявные семантические компоненты в значении слов, указывающие на неравенство субъекта и адресата. Семантике наречий был посвящен доклад А. В. Пеньковского (Владимир). Среди других проблем, рассмотренных на заседании, — способы создания "социолингвистического портрета" представителей различных групп говорящих на русском языке, преимущественно горожан, основанные на изучении субъективных предпочтений как в употреблении, так и в неупотреблении различных форм (доклад Т. М. Николаевой, Москва), необходимость исследования фонетических изменений на более широком материале, в частности, в заимствованных

словах, общеупотребительных и индивидуально-авторских неологизмах, для более точной характеристики перестройки фонологической системы в диахронии (доклад Л. Л. Касаткина, Москва).

Работа направления, объединенного темой "Русский язык в учебном процессе", была связана с обсуждением вопросов преподавания русского языка в средней школе — повышения роли предмета в интегральном духовном развитии личности школьника, важности систематизации школьного курса русского языка, ложности до сих пор бытующего в кругу преподавателей представления о том, что теория русского языка и, соответственно, системный взгляд на него учащимся недоступны, а грамотности можно добиться, лишь выполняя многократно иллюстрирующие определенное правило упражнения.

Заключительное пленарное заседание было посвящено подведению итогов конференции. Выступавшие председатели секций подчеркнули ее актуальность и наметили перспективы развития исследований по различным направлениям. Ю. Н. Караулов в заключительном слове, суммируя высказанные пожелания, предложил проводить аналогичные конференции периодически, создать всесоюзную ассоциацию русистов и журнал "Русский язык и современность". Тексты докладов конференции опубликованы в двух томах (Русский язык и современность: Проблемы и перспективы развития русистики. Всесоюзная научная конференция. Москва, 20—23 мая 1991 г. Доклады. Ч. 1 и 2. — М., 1991).

*Иванов Л. Ю., Шунейко А. А. (Москва)*

10—12 октября 1991 г. в Уральском университете им. А. М. Горького [г. Свердловск (ныне Екатеринбург)] состоялась научная конференция по проблемам русской диалектной этимологии. Конференция была организована кафедрой русского языка и общего языкознания университета и явилась шестой по счету в ряду этимологических конференций и симпозиумов, проводившихся на базе академических институтов (первый симпозиум по этимологии — Москва, 1967 г.; второй — Лейпциг, 1972; третий — Лейпциг, 1977; Международный симпозиум по проблемам этимологии, исторической лексикологии и лексикографии — Москва, 1984; Международный симпозиум по проблемам славянской эти-

мологии, посвященный 100-летию со дня смерти Франца Миклошича, — Вена, 1991).

Уральский университет продолжил достойную традицию, собрав в своих стенах ведущих специалистов-этимологов Института русского языка АН СССР и вузовских преподавателей, научные интересы которых лежат в области этимологии русских диалектных слов. Кафедра русского языка и общего языкознания университета, возглавляемая проф. А. К. Матвеевым, выступила с инициативой организации такой конференции не случайно. Уральские лингвисты ведут большую работу по этимологической интерпретации апеллятивной и ономастической лексики, как исконной, так и заимствованной. В течение 30 лет дейст-

вует Топонимическая экспедиция, ведущая сбор диалектной лексики и местной топонимии на обширных территориях русского Севера и Урала. Материалы лексической картотеки кафедры насчитывают свыше полумиллиона карточек, а общий объем кафедральных картотек — более 2 млн карточек. Обладая ценнейшими полевыми материалами, кафедра стала практически единственным вузовским центром в стране, занимающимся в настоящее время этимологическими исследованиями. Свидетельство тому — издаваемые кафедрой с 1978 г. этимологические сборники, ставшие своеобразной лабораторией этимологических исследований по ономастике и диалектной лексике.

Русская диалектная лексика с точки зрения ее происхождения до сих пор не описана на в одном регионе. Нет ни одного специального лексикографического издания, обращенного к этому материалу. "Этимологический словарь русского языка" М. Фасмера при всей его значимости представляет диалектную лексику недостаточно полно, далеко не все включенные в словарь диалектные лексемы получили достоверные этимологии, немало слов с пометой "темное". "Этимологический словарь русского языка" под ред. Н.М. Шанского интерпретирует только лексику литературного языка. Современные словари русских народных говоров и полевые материалы представляют в руки исследователей многие новые факты, требующие серьезного этимологического осмысления, с одной стороны, и дающие почву для уточнения известных этимологий слов литературного языка, с другой.

Предметом обсуждения на данной конференции стали актуальные проблемы этимологии и лексикографии, этимологии исконной и заимствованной лексики, этимологии и семантики, этимологии и ономастики. Заслушано 30 докладов и сообщений, сделанных сотрудниками сектора этимологии Института русского языка и преподавателями вузов Москвы, Свердловска, Томска, Перми, Тюмени, Барнаула, Челябинска, Андижана, Пскова.

А.Е. Аникин (Москва) рассказал о работе над "Этимологическим словарем русских говоров Сибири", который задуман автором как обширное дополнение к этимологическому словарю русского языка М. Фасмера, представляющее заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков в сибирских русских говорах.

А.К. Матвеев (Свердловск) отметил необходимость создания словаря финно-

угро-самодийских заимствований в говорах русского Севера на базе богатейшей лексической картотеки Топонимической экспедиции Уральского университета и привел убедительные примеры этимологии ранее не известных севернорусских лексем, заимствованных из коми языка: *kéras* "высокий берег, покрытый лесом" (<коми *кердс* "возвышенность, гора, иногда покрытая лесом"), *нёрса* "лыжное крепление" (<коми *нёрис* "тж.", *нёрта* "осиновые сани-челнок для перевозки груза охотником" (<коми *норт* "нарта") и др.

Ж.Ж. Варбот (Москва) в докладе "О специфике диалектной этимологии" обратила внимание на затруднительность проверки надежности диалектного слова и в связи с этим на специфику использования гапаксов в этимологических построениях, поскольку обстоятельства фиксации диалектной речи обуславливают значительный вес гапаксов в диалектных словарях, а условия функционирования диалектов способствуют возможности сохранения в гапаксах реликтов древних форм и значений или факультативных заимствований. В докладе рассмотрены краснор. *наскрязь* "наискось, криво, неровно" (возможно, из гнезда правслав. \**kręg-* "сгибать"), перм. *верешли́вой* "слишком разборчивый, прихотливый" (производное от \**veršiti* "молотить", существенное для реконструкции его исходной семантики) и др. Автор подчеркивает недопустимость избавления от гапаксов путем изменения формы или значения слова в связи с этимологическими представлениями составителя диалектного словаря.

И.Г. Добродомов (Москва) обратился к проблеме этимологизации "призрачных" диалектных слов — лексем, ошибочно зафиксированных в полевых условиях или появившихся в результате неверного прочтения неразборчивых записей (*корбна* "царство, престол" вм. *корона* в "Словаре русских говоров Забайкалья" Л.Е. Элиасова (М., 1980), *керола́ки* "старообрядцы" и *керопа́к* "старообрядец" вм. *кержакі*, *кержак* в сводно-академическом "Словаре русских народных говоров"). Отмечается обязательность конструктивного подхода к оценке "призрачных" слов, которые уже успели попасть в словари и могут представлять серьезные помехи при изучении русской диалектной лексики в этимологическом аспекте.

И.П. Петлева (Москва) в докладе "Архаические префиксы в русских говорах" говорила о важности выявления в говорах лексем с архаическими непродуктивными префиксами *мо-*, *ма-*, *му-*; *ко-*, *ку-*, *ка-*;

ча-, че-, чи-, чу- и др. (ср. влгд. *ма-жѡра* "человек с плохим аппетитом" ярсл. *монѡгий* "человек с большими ногами" и др.), об исключительной ценности этого материала, в ряде случаев помогающего правильно определить структуру слова и установить его этимологию.

В. А. Меркулова (Москва) в докладе "Диалектная влексика и этимология" на конкретных примерах показала значение диалектного лексического материала при этимологизации исконной лексики русского языка. В области диалектного словообразования очень важно выявление не осложненных аффиксацией форм, установление отличных от литературного языка словообразовательных моделей, нахождение древних глагольных форм (типа \**čati*, \**rekti* и др.). В области семантики представляет интерес сохранение древних значений. Особую ценность имеет лексика, дающая основания для установления новых этимологических гнезд в русском языке.

Л. В. Куркина (Москва) рассматривала лексические архаизмы "Словаря русских говоров Среднего Урала". Это, в частности: а) лексемы, принадлежащие к древней части праславянского словаря (например, *узга* "концы губ, уголок рта", *узгу* "концы платка", производное с суф. -*g* от \**qza*); б) образования, построенные по актуальным праславянским моделям с архаическими префиксами (\**sq* — *субѡй*; \**ko-/sko-* — *коржавой* "заржавленный" и т.п.); в) отдельные этимологические гнезда с полным набором ступеней чередований и с большим числом производных образований (например, слова с корнем \**xab-*); г) слова, сохранившие значения, близкие к исходному, реконструируемому для праславянского состояния (*стень* "спина лошади", *игла* "жердь или брус, скрепляющий части чего-л." и т.п.).

В ряде сообщений были предложены новые этимологии или уточнения уже существующих этимологических толкований отдельных слов, как исконных, так и заимствованных.

Л. И. Шелепова (Барнаул) этимологизировала слово *будоражить*, Г. М. Шатов (Томск) — русск. диалектн. (томск.) *пѣдик* "правник", Е. С. Павлова (Москва) — сев.-русск. *ничело* "горшок для замачивания зерна перед посевом или ниток на веретене"; Л. П. Дронова (Томск) нашла новые этимологические связи для глагола *метать*; О. В. Востриков (Свердловск) интерпретировал ср.-уральск. *бѣшики* "игра в пятнашки".

М. Т. Муминов (Андижан) сделал ряд дополнений и уточнений к этимологии из-

вестных на Среднем Урале тюркизмов (*абѡз*, *бахтарма*, *гамазом* и др.); И. Н. Суспицына (Свердловск) дала этимологию нескольких севернорусских географических терминов; Г. К. Валеевым (Челябинск) выяснялись пути освоения русск. диалектн. *мѣнда* в башкирских говорах и развитие его дериватов на башкирской почве; Г. Н. Дмитриева (Свердловск) предложила обско-угорскую этимологию русск. диалектн. (тюменск.) *вартѣпка* "кедровка, сойка"; М. Л. Гусельникова (Свердловск) обосновала недостаточность финно-угорской и славянской версий этимологии севернорусского географического термина *цѣлье*, *цѣлья*, подчеркнув, что в данном случае речь идет не об однонаправленном процессе заимствования, а о результате языкового взаимодействия.

Несколько докладов и сообщений были посвящены проблемам этимологии и семантики.

Е. Н. Полякова (Пермь) продемонстрировала роль этимологического анализа в установлении семантики диалектных слов в памятниках письменности. Широко привлекая материалы русских и нерусских говоров Прикамья, автор восстанавливает значения ряда географических терминов, извлеченных из пермских памятников XVI—XIX вв.

В сообщении Т. А. Гридиной и Н. П. Коноваловой (Свердловск) "Об ассоциативных "реакциях" языка на деэтимологизацию слова (на материале названий растений)" рассматривались случаи этимологической рефлексии, отражающие наличие в языковом сознании говорящих своеобразных реликтов исходного мотивационного значения слов с утраченной внутренней формой; с другой стороны, обращается внимание на факты ложной этимологизации, фиксирующие синхронно значимые ассоциативные отношения, возможные на основе случайного созвучия неродственных лексем.

Л. Я. Костючук (Псков), решая проблему этимологического анализа диалектных фразеологизмов, показала, как этимологизация компонентов устойчивых фразеологических выражений помогает понять содержание, смысл фразеологической единицы, установить связь русской фразеологической системы с фразеологическими системами других языков.

Л. А. Захарова (Томск) исследовала историю семантики диалектного тюркизма *сакма* в сибирских говорах. О. Г. Щитова (Томск) обратилась к семантическому аспекту этимологии полонизма *шлях*. В сооб-

шении С. А. Ереминой (Свердловск) рассмотрено развитие семантики двух однокоренных слов литовского происхождения — *ковиш* и *кувшин*. М. Э. Рут (Свердловск) предложила два варианта расшифровки внутренней формы слова *полубельый* "сумасшедший, ненормальный". С. М. Белякова (Тюмень) предприняла попытку внести уточнения в вопрос о происхождении и развитии семантики слов с корнями *срам-/сором-*.

Рассмотрению проблем топонимической этимологии также было уделено внимание на конференции.

Е. Л. Березович (Свердловск) на материале топонимической картотеки кафедры русского языка и общего языкознания Уральского университета обратилась к вопросам методики семантической интерпретации топонимов и показала важность и необходимость учета системных отношений между топонимами, составляющими семантические микросистемы, при реконструкции семантики слов, функционирующих в составе топонимов и не зафиксированных диалектными словарями.

И. С. Просвирнина (Свердловск) проанализировала семантику компонентов топонима *Железные Ворота*, рассматривая на этом примере вопрос о возникновении и функционировании особых номинативных единиц — онома-фразеологизмов.

М. Н. Нечай (Тюмень) в сообщении "Этимологический анализ топонимов и выявление устаревшей лексики говора" на основе анализа топонимов Среднего Прииртышья выделила группу слов, севернорусских по происхождению или заимствованных из местных сибирских языков, — главным образом географических терминов, неизвестных в апеллятивной лексике современных русских говоров исследуемой территории.

О. В. Смирнов (Свердловск) рассмот-

рел орографические термины метафорического происхождения в славянских и тюркских языках. Автору удалось выявить наиболее древние и характерные для данного народа модели метафорического переноса, определить типологически сходные черты и существенные различия семантических моделей в тюркской и славянской географической терминологии.

В программу конференции входило также обсуждение сборников по этимологии, изданных в Уральском университете ("Этимология русских диалектных слов" — Свердловск, 1978; "Этимологические исследования" — Свердловск, 1981, 1984, 1988). Они получили высокую оценку. Особо отмечена широта проблематики и историко-этимологический характер сборников. Выказаны предложения о сохранении регулярности их издания, о возможности включения в них рецензий и обзоров этимологических публикаций, о возможности распространения сборников за рубежом.

Отмечая важность и органичность связей этимологии и диалектологии, научная конференция "Русская диалектная этимология" предлагает:

— признать необходимым дальнейшее обсуждение проблем изучения русской диалектной лексики с точки зрения ее происхождения и сделать конференции по русской диалектной этимологии регулярными; — начать подготовку к изданию серии "Материалов по русской диалектной этимологии", которые будут включать словарные статьи разных авторов, оформленные по единым требованиям.

Тезисы докладов конференции опубликованы [см.: Русская диалектная этимология: Тез. докл. межвузовской научн. конф. (10—12 октября 1991 г.). Свердловск, 1991].

Дмитриева Т. Н. (Свердловск)

23—25 октября 1991 г. в Ужгороде состоялась Всесоюзная научная конференция "Соотношение синхронии и диахронии в языковой эволюции". Организаторами конференции выступили Научный совет "Русский язык: история и современное состояние" при ОЛЯ РАН, Отдел истории русского языка Института русского языка РАН и кафедра русского языка Ужгородского государственного университета. В работе конференции приняли участие более 150 филологов из

разных республик<sup>1</sup>. Данная встреча стала очередной в ряду проводящихся Институтом русского языка ежегодных научно-теоретических совещаний по проблемам истории и современного состояния русского языка.

<sup>1</sup> К началу конференции были изданы тезисы планировавшихся 223 докладов; см.: Соотношение синхронии и диахронии в языковой эволюции: Тез. докл. Всесоюзной научной конференции (Ужгород, 23—25 октября 1991 г.). Москва; Ужгород, 1991.

После приветственного слова ректора УжГУ В.Г. Сливки, открывшего конференцию, и лекции об истории и культуре Закарпатья В.В. Палюка (Ужгород) были заслушаны пленарные доклады. Доклад И.С. Улуханова (Москва) "Синхрония и диахрония в словообразовании и словообразовательной терминологии" был посвящен актуальным проблемам взаимодействия явлений, относящихся к статике и динамике языковой системы. Отметив необходимость разграничения терминов, обозначающих исторические процессы и синхронные связи, И.С. Улуханов подчеркнул, что все более важным в то же время становится синхронно-диахроническое описание языковых явлений, предполагающее обращение к синхронным связям между существующими явлениями в той степени, в которой они отражают процесс развития одного явления из другого. В докладе также была представлена типология отношений между производностью как показателем диахронических свойств слова и мотивированностью как отражением его синхронных свойств.

Ю.С. Азарх (Москва) рассмотрела новые возможности изучения словообразования лингвогеографическим методом, где противоречие между описательным словообразованием, оперирующим словообразовательными типами, и методами картографирования данных диалектологии снималось бы созданием карты, отражающей словообразовательную структуру членов определенной ЛСГ. Такое изучение словообразовательных явлений одновременно в пространственной и временной проекциях позволило автору сделать ряд интересных выводов о действии словопроизводственных моделей в пределах ЛСГ. Нетрадиционные методы изучения эволюции древнерусского глагола были предложены в докладе С.П. Лопушанской (Волгоград). Отметив привычный стереотип описания эволюции системы языка в отрыве от языкового мышления, она обосновала новые принципы формальной классификации древнерусского глагола, имеющей семантическую мотивацию, а также продемонстрировала, насколько плодотворным может быть исследование эволюции функционирования языковых единиц с учетом достижений математической лингвистики. В выступлении В.В. Волкова (Ужгород) говорилось об антиномиях системы русского словообразования, таких, как антиномия деривации и универбации, производимости и воспроизводимости, закономерности и случайности, синхронии и диахронии. Доклад Ю.Л.

Бурмистровича (Абакан) и В.К. Журавлева (Москва) был посвящен механизму саморазвития и самосохранения эволюционирующей системы, процессам дивергенции и конвергенции, протекающим взаимосвязанно. Л.Л. Касаткин (Москва) ознакомил присутствующих с фактами, свидетельствующими об изменениях в корреляции согласных по твердости-мягкости в современном русском языке. Э.П. Кадькалова (Саратов) подчеркнула, что еще в недостаточной мере обращается внимание на семантическую обусловленность словообразовательных процессов, между тем как семантическая ситуация является важным фактором всех видов словообразовательных изменений. Ею были выделены два типа семантических изменений (изменения в мотивационных связях производных и изменения, выходящие за их рамки), которые могут стать причиной словообразовательных новаций. В качестве исходной единицы предлагается выбрать не тип, а словообразовательное поле. Сравнения заслужили также сообщение П.Н. Лизанца (Ужгород), руководителя Всесоюзного центра хунгарологии при УжГУ, о перспективах работы этого недавно созданного объединения. Доклад В.Б. Крысько (Москва) был полемически направлен против традиционной трактовки одушевленности-неодушевленности в древнерусском языке. Согласно его данным, полученным на основе картотеки Института русского языка, форма  $V=P$  от названий животных была распространена в значительной степени уже в XI—XIV вв., а формирование категории одушевленности следует отнести к длительному периоду от праславянской эпохи до XIII—XIV вв., причем животные изначально осознавались как живые существа и противопоставлялись неживым предметам наряду с людьми. Доклад Л.М. Грановской (Баку), завершивший пленарное заседание, был посвящен литературному языку русского зарубежья в послеоктябрьский период, развитие которого, по мнению докладчика, отличалось искусственным возрождением архаики в ряде жанров, отрицательным отношением к модернизму, зауми в поэзии первого поколения, а также известной устойчивостью и замкнутостью литературного языка.

Далее работа конференции проходила в пяти секциях. Тематика первой секции объединила следующие аспекты исследования языка: "История и методы изучения языковой эволюции. Взаимодействие языковых уровней в синхронии и диахронии. Развитие фонетической системы русского

языка". Докладчики говорили о тенденциях в развитии разных уровней русского языка: Л. В. Рычкова (Гродно) выделила переходные явления, свидетельствующие о продолжающемся движении к аналитизму, Н. В. Сапрыгина (Одесса) связала тенденцию к унификации словаря с общей унификацией мышления. Синхронный и диахронный подходы к языку было предложено применять и при анализе коммуникативного акта (М. Д. Феллер, Дрогобыч), а также дополнить так называемым "триахроническим" подходом, рассматривающим потенциально возможные факты языка (Е. Н. Левинтова, Москва). Тематика остальных докладов была очень разнообразной: архифонема с точки зрения синхронии и диахронии (Ю. Я. Бурмистрович, Абакан), употребление независимого инфинитива в древнерусских текстах (Н. А. Тупилова, Волгоград), способы выражения тождества в диалектной речи и научном стиле языка начала XIX в. (И. А. Марфунина, Москва).

Заседание второй секции было посвящено закономерностям эволюции русских говоров. В выступлениях говорилось о ценности диалектологии как для прогнозирования многих процессов современного развития языка, так и для выявления древних явлений (О. Г. Гецова, Москва), о необходимости реабилитации говоров и подготовке в связи с этим в Институте русского языка школьного диалектологического атласа "Язык русской деревни" (О. Е. Кармакова, Москва), а также о перспективности повторных исследований одного и того же говора (Т. Г. Паникарская, Вологда), что и было продемонстрировано С. К. Пожарицкой и С. В. Князевым (Москва), доклад которых содержал наблюдения над фонетической системой говоров Верхней Пинеги, исследованных 60 лет назад П. С. Кузнецовым. Были также представлены результаты анализа диалектных явлений разных уровней: происхождения окончаний им. мн. на -а (И. А. Букринская, Москва), отражения праславянской акцентной парадигмы *a* ("смешанной") в некоторых севернорусских говорах (А. В. Тер-Аванесова, Москва), концентрации параметров многокомпонентного фонетического признака "напряженность—ненапряженность" в говорах Мезени и Пинеги (Р. Ф. Касаткина, Москва), проблемы вторичной синонимии (Е. А. Нефедова, Москва), графико-орфографических особенностей писем Агафьи Лыковой (В. С. Маркелов, Казань), речевого этикета вологодского говора (Л. Ю. Зорина) и обрядо-

вой лексики воронежских говоров (В. Ф. Филатова, Борисоглебск).

Темой третьей секции было развитие лексики и фразеологии русского языка. Вопросы применения синхронического и диахронического подходов в изучении научной терминологии затронули И. В. Сабадош (Ужгород) и О. В. Борхвальдт (Красноярск), о значении анализа толковых словарей для изучения эволюции лексико-семантической системы говорили М. А. Карпенко (Киев) и М. А. Оськина (Одесса). Лексика в историческом аспекте была объектом исследования Р. Г. Гатаулиной (Казань), В. Ю. Франчук (Киев) и Е. Н. Муссуровой (Тирасполь). Анализ семантической структуры различных ЛСГ были посвящены выступления А. Д. Зяерева (Черновцы), А. Д. Васильева (Красноярск), С. М. Антоновой (Гродно), А. П. Чудинов (Свердловск) ознакомил присутствующих с моделями регулярной многозначности русского глагола. Отдельные вопросы фразеологии затронули И. А. Еременко (Львов) и Ж. В. Кулиш (Львов), о современных антропонимических процессах говорил В. Д. Бондалетов (Пенза).

Четвертая секция объединяла исследования в области развития русского словообразования. Возможности описания эволюции словообразовательной системы через призму семантической организации словообразовательных типов были показаны Л. А. Араевой (Кемерово), о факторах эволюции поэтического словотворчества говорила В. Н. Виноградова (Москва), проблемы языкового онтогенеза ребенка были затронуты Г. Р. Добровой (Санкт-Петербург). Различные факты из истории словообразовательной системы языка нашли отражение в докладах В. М. Грязновой (Ставрополь), Ю. Г. Кадькалова (Саратов) — на материале различных суффиксов имен существительных, Н. А. Кипиани (Тбилиси) — на материале словообразовательных гнезд с полногласием и неполногласием, Е. Н. Малыгиной (Москва), исследовавшей формирование словообразовательно выраженного значения начинательности у древнерусских глаголов. Были заслушаны также доклады об отнаечной транспозиции (И. В. Дьячук, Рига) и об одной группе микропотамонимов (В. В. Лучик, Кировоград).

На пятой секции обсуждались проблемы русской морфологии и синтаксиса. Доклады историков языка здесь также составляли значительную часть: в выступлении С. И. Иор-

даниди (Москва) были освещены диалектные морфологические различия в языке XII—XIII вв., динамику реализации рефлексов \*dj в глаголах 1 л. исследовала Е. И. Бекасова (Тирасполь), о формах имен существительных в период, предшествовавший становлению общерусской литературной нормы, говорилось в докладе Л. И. Андрш (Тирасполь). М. В. Шульга (Москва) привела убедительные доказательства движения грамматических отношений между формами числа в сторону словообразования, а Л. Г. Мошенская (Минск) проанализировала варианты формы существительных в условиях белорусско-рус-

ского двуязычия. Л. В. Пузанко и Е. Н. Сидоренко (Симферополь) избрали темой доклада трансформацию местоимений в служебные части речи, выступление И. Д. Степановой (Кировоград) касалось диалого-монологических единств в языке художественной литературы XIX в.

Итак, все направления изучения развития языка были представлены достаточно полно. Дискуссии, возникшие на пленарном заседании и в ходе обсуждения докладов на секциях, свидетельствуют как об актуальности, так и о нерешенности ряда поднятых в них вопросов.

Малыгина Е. Н. (Москва)

17—18 декабря 1991 г. в Лейпцигском университете (ФРГ) состоялась первая рабочая конференция по проблемам славянской антропониматики. Местная школа ономастики известна своими традициями. Здесь регулярно выходят в свет монографии, книги, сборники научных трудов, посвященные исследованию имен собственных, в том числе около тридцати лет — периодическое издание "Namenskundliche Informationen" [1]. Неоднократно проходили в Лейпциге ономастические конференции, симпозиумы, заседания рабочих групп.

Антропонимическая конференция стала в определенном смысле итоговой встречей лейпцигских славистов и небольшого круга их ближайших соратников из других стран. Объединение Германии, социально-политические изменения в восточноевропейских государствах отразились на составе активно работающих ономастологов, вызвало некоторую перестройку их рядов, продолжает сказываться на возможностях участия ученых в научных встречах.

Главным организатором конференции антропонимастов, ее "движителем", приведшим встречу единомышленников к результативному завершению, стал проф. Лейпцигского ун-та В. Венцель. Его труды по серболужицкой антропонимии являются основополагающими не только для сорабистики, но и для славистики в целом (см. [2—4]). В 1988 г. на Софийском конгрессе славистов он был избран председателем антропонимической секции международной комиссии по славянской ономастике при Международном комитете славистов (см. [5]).

По предложению В. Венцеля, основное внимание на первой славянской антропонимической конференции уделялось анализу двусосновных личных имен. С приветствен-

ным словом выступил директор секции теоретического и прикладного языкознания Лейпцигского ун-та проф. В. Шпербер. Доклад главного редактора периодического издания "Österreichische Namenforschung" [6] проф. Клагенфуртского ун-та (Австрия) Х. Д. Поля был посвящен рассмотрению славянских композитных личных имен на индоевропейском фоне. Типологический анализ выявил восемь типов двусосновных имен. Особо были рассмотрены входящие в композиты корни *-мирь* (первоначальное значение "слава") и *-богь* ("богатый").

Затем последовала серия докладов польских ученых, объединенных основной проблематикой конференции. К. Рымут рассмотрел методы реконструкции праславянских композитных имен. М. Малец провела анализ допустимой семантической сочетаемости элементов в сложных антропонимах. А. Чешьликова проанализировала роль парадигматической деривации в создании праславянских имен-композитов.

Словообразовательные средства славянской гипокористики, в том числе образованной от двусосновных имен, рассмотрены в докладе В. Супруна (РФ). М. Кнаппова (ЧСФР) посвятила свое выступление вкладу замечательного ученого Я. Свободы в изучение сложных славянских имен. Ею приведены примеры из книги чешского ономастолога "Старочешские личные имена и наши фамилии" и из рукописи словаря старочешских личных имен. Словообразовательную типологию чешских композитных имен рассмотрела Н. Байерова (ЧСФР).

Двусосновными бывают не только личные имена, но и другие составные элементы антропонимической системы, на что обратили внимание в своих докладах польские ученые. Ст. Вархола рассмотрел композитные прозвища жителей Люблина XVII в.

М. Бучыньски проанализировал современные польские двойные фамилии.

Следующая серия докладов была посвящена обзору состояния антропонимических исследований в различных славянских регионах. Обстоятельно была рассмотрена деятельность антропономастов в Польше (Э. Бреза), Беларуси (Л. Шакун), перспективы серболужицкой антропономастики (В. Венцель).

Немецкой ономастической наукой тщательно проанализирован топонимический материал, отражающий язык предшествующего славянского населения на территории нынешней Германии. На конференции рассматривались примеры личных имен, извлеченных из германизированных топонимов. Вступительным к этой серии исследований был доклад В. Шпербера "Антропонимы и названия географических объектов". Антропонимы извлекались авторами докладов из топонимического материала Саксонии (Х. Науманн), Гольштейна (А. Шмитц), серболужицкой территории (Э. Засс). К этой группе исследований примыкал доклад чешского ономатолога Я. Матушовой (зачитан Э. Маленицкой) об отражении личных имен в микротопонимии чешско-немецкого языкового пограничья. О связи между славянским антропонимиком и топонимиком и видами их анализа говорил в докладе "Антропонимическая часть славянского ономастического атласа" Р. Шрамека (ЧСФР).

Конференция отличалась многообразием, широтой использования методов и приемов анализа славянской антропонимии. О применении компьютеров в работе ономатологов

ЧСФР сообщила Д. Кремзерова. Социолингвистические проблемы выбора имени в Польше рассмотрела Э. Якус-Боркова. Контрастивный анализ антропонимических систем лемковских говоров украинского языка и контактирующих с ними польского и словацкого языков провела Э. Вольнич-Павловска. Дериационную структуру польских личных имен и фамилий различного происхождения и образование от них апеллятивов рассмотрели в своих докладах К. Новик, Г. Сурма, Б. Крея.

Итоги конференции подвел ее организатор и руководитель В. Венцель. К. Рымут определил наиболее важные задачи, стоящие в настоящее время перед славянской антропономастикой. Во время работы конференции состоялась встреча составителей Славянского ономастического атласа (под руководством Р. Шрамека) и открытое заседание секции славянской антропономастики, которое проводил В. Венцель.

Конференция была прекрасно организована. Участники могли подробно обсудить каждый доклад. Ряд выступавших снабдили слушателей своими тезисами или эксерпциями из материала. На выставке литературы можно было ознакомиться с последними изданиями по ономастике из многих стран мира.

Публикация материалов встречи антропономастов в Лейпциге будет способствовать более обстоятельному знакомству специалистов с ее результатами. Хочется надеяться, что в скором времени состоится вторая рабочая конференция по проблемам славянской антропонимики.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Informationen der Leipziger namenkundlichen Arbeitsgruppe an der Karl-Marx-Universität. Hf. 1—14. Leipzig, 1964—1968; Namenkundliche Informationen. Hf. 15—58. Leipzig, 1969—1990.
2. Wenzel W. Studien zu sorbischen Personennamen. T. I: Systematische Darstellung. Bautzen, 1987.
3. Венцель В. Реликты славянских языков на территории ГДР и их значение для преподавания русского языка // Linguistische Arbeitsberichte. 1989. Bd 71.
4. Венцель В. Словообразование серболужицких антропонимов // Словообразование, стилистика, текст. Казань, 1990.
5. Wenzel W. Ziele und Aufgaben der slawischen Anthroponomastik // Namenkundliche Informationen. Hf. 57. Leipzig, 1990, S. 59—61.
6. Österreichische Namenforschung. Jg. 1—18. Klagenfurt, 1973—1990 (1991).

Супрун В.И. (Волгоград)

Технический редактор *Беллева Н.Н.*

Сдано в набор 29.06.92

Подписано к печати 24.08.92

Формат бумаги 79×100<sup>1</sup>/<sub>16</sub>

Офсетная печать

Усл. печ. л. 15,6

Усл. кр. отт. 55,0 тыс

Уч.-изд. л. 19,0

Бум. л. 6,0

Тираж 3474 экз.

Заказ 3022

Цена 2 р. 30 к.

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, телефон 203-00-78

2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

# КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОПИСАНИЯ ЯЗЫКОВ

(языки мира, страны, региона)

## P O L Y L I N G

Автоматизированная информационная система, включающая лингво-типологическое описание сотен языков - на Вашем письменном столе.

Система работает на базе персонального компьютера, совместимого с IBM PC/AT и PC/XT. В состав системы входят прикладная программа и банк описания языков страны, региона, мира. Программа обеспечивает возможность оперативно решать лингвистические задачи не только справочного, но прежде всего исследовательского характера: поиск закономерностей, проверка гипотез.

В новую, информационно-технологическую эпоху рабочая гипотеза является тем реальным и эффективным инструментом, который помогает ориентироваться и продвигаться в постоянно расширяющемся Пространстве Лингвистической Информации.

Предлагаемая информационная система дает уникальную возможность специалистам в области сравнительно-исторического и типологического языкознания, а также в области социолингвистики осуществить глобальную проверку гипотез, лежащих в основе как существующих теоретических представлений, так и зарождающихся новых концепций, будущих теоретических построений.

Эта система активизирует эвристическую деятельность исследователя, является его эффективным и компетентным помощником.

На одной дискете (360 кб) размещается, например, лингво-типологическое описание основных языков Евразии (более 350 языков).

**В**

На жестком диске (винчестере) может быть размещено лингво-типологическое описание языков мира.

На сегодняшний день эта система не имеет аналогов.

Реализация проекта по созданию многоаспектной информационной системы стала возможной в результате интеграции опыта различных школ и направлений в лингвистике. Была проделана широкомасштабная работа по сбору и анализу конкретных материалов по языкам мира, найдены единые принципы описания языков различного типа - ключ к решению проблемы их сопоставимости. Для программной реализации разработанных алгоритмов был создан универсальный терминологический аппарат описания различных языковых явлений.

Ядром информационной системы является база лингвистических данных которая формируется из главных строевых единиц - компактных описаний конкретных языков. Описания различных языков строятся по единой модели. Эта модель, в свою очередь, дополняется и развивается с пополнением базы данных каждым новым описанием. То есть описание каждого нового языка обеспечивает саморазвитие модели и расширяет, тем самым, наши знания о языке вообще.

Фактически модель представляет собой конструктивный объект, несущий в себе потенциал нового знания о Языке.

Высокая эффективность системы обеспечивается:

- масштабностью и полнотой охвата информации по языкам региона, страны, мира;
- глубиной теоретических проработок различных аспектов описания языков;
- унифицированным характером описания языков в сочетании с отражением специфических особенностей каждого конкретного языка;
- оптимизацией структуры лингвистической базы данных: возможностью постоянного пополнения системы новой информацией без нарушения ее общей структуры; существенной экономией памяти; тщательной проработкой сервисных функций.

С помощью информационной лингвистической системы Вы можете:

- автоматически получить сведения по разным областям лингвистики;
- выявить общие черты и специфику каждого отдельного языка в сравнении с другими интересующими Вас языками;
- использовать базу данных как полигон для масштабных лингвистических исследований;
- осуществить автоматизированный перевод базы данных на любой иностранный язык;
- оперативно получить ответы в диалоговом режиме на вопросы по всем интересующим Вас лингвистическим явлениям и их взаимосвязям, а также по вопросам социального статуса языка, его географического распространения, количества говорящих и т.п.;
- получить необходимые сведения для проведения грамотной языковой политики;
- существенно сократить затраты времени, а также трудовые затраты при формировании машинных фондов по отдельным группам языков.

Прикладная программа обеспечивает пользователю квалифицированное содействие в решении его задач:

- выдает на экран образцы формулировок для различных языковых явлений, помогая тем самым в формировании конкретного описания языка или в пополнении общей модели;
- проводит контроль за ошибками пользователя при работе с системой: выдает предупреждения, переспрашивает или возвращает пользователя к исходному пункту меню;
- осуществляет "подсказку" пользователю с помощью специально разработанного меню с цветовыми и графическими решениями;
- обеспечивает "дружественный" интерфейс, который создает психологический комфорт для человека при работе с машиной.

Если Вас заинтересовала предлагаемая информационная лингвистическая система Вы можете обратиться к нам и получить необходимую дополнительную информацию.

Наш адрес: 103009 Москва, ул. Семашко 1, Институт Языкознания Российской Академии Наук. FAX: 290-05-28, Тел. 290-35-85

Российская Академия  
Наук  
**Институт  
Языкознания**

Москва 103009 ул. Семашко 1 FAX: 290-05-28 Тел: 290-35-85

В Институте Языкознания Российской Академии Наук создана компьютерная лингвистическая система "POLYLING", которая по полноте, по составу информации и по структуре ее организации в настоящее время не имеет аналогов

Мы надеемся, что информационно-технологический продукт внесет свой вклад в общее развитие гуманитарных наук.

Если Вас заинтересует какой-либо аспект нашей разработки, напишите нам, и мы вышлем более подробную информацию и условия приобретения пакета прикладных программ и/или информационных материалов. Будем рады Вашему ответу.

Ученый секретарь Института Языкознания РАН

д.ф.н.

/А.М.Шахнарович/

Уважаемые коллеги !

Если Вас заинтересовала наша система, заполните пожалуйста ответную карточку и вышлите ее по адресу:

г.Москва, ул.Семашко, 1/12, Институт Языкознания РАН  
комната 20, НИЦ "СЛОГ" Ясинской Татьяне Борисовне

-----  
**о т в е т н а я   к а р т о ч к а**

Мы хотим заказать (нужное отметить):

базу данных с описаниями следующих языков (группы языков)

\_\_\_\_\_

(общим количеством \_\_\_\_\_);

базу данных на \_\_\_\_\_ языке;  
название языка \_\_\_\_\_

модель-образец описания языка (на любом языке);

информационно-поисковую систему, отвечающую на вопросы (запросы) по базе данных в диалоговом режиме.

Мы хотели бы получать постоянно обновляющийся перечень языковых категорий.

Кроме того \_\_\_\_\_

Организация: \_\_\_\_\_

Телефон для связи: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Имя и фамилия: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_